

Сергей
ЯСЕНСКИЙ

ИЗБРАННОЕ



ИЗБРАННОЕ

Сергей Ясенский

Сергей ЯСЕНСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

**Санкт-Петербург
2012**

Ясенский Сергей. Избранное – СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2012.– 262 с.

Составитель: доктор филологических наук Б.В. Аверин

Вступительная статья: доктор филологических наук В.Н. Быстров

Послесловие: доктор филологических наук С.А.Кибальник

ISBN 978-5-9676-0501-7

© Ясенский С.Ю., 2012 г.

© ООО ИД «Петрополис», 2012 г.

МЕЖДУ ФАНТАЗИЕЙ И ТРАГЕДИЕЙ

(О Сергее Ясенском и его прозе)

Творчество Сергея Юрьевича Ясенского хорошо известно профессионалам. Писатель и филолог, что называется, от Бога...

В год кончины (он по своей воле ушел из жизни в 1996 году) ему не исполнилось и 39. Как это нередко бывает, трагедии не предчувствовали все мы – близкие ему, но далекие от смерти; никто не догадывался, что в череде будней в душе его обрывались какие-то светлые нити, мutilsались источники веры в житейские ценности, неумолимо слабела воля к жизни. В.В. Розанов писал: «История, “судьба” начинается с разлома, крушения, болезни, страдания». Жизнь С. Ясенского стала судьбой, а это далеко не со всяким происходит. Вот только досталось это непомерно дорогой ценой, поскольку трудно долго нести бремя «разлома, крушения, болезни, страдания». В «Репетиции» писатель, хотя и опосредованно, но откровенно, признавался: «Беда, однако, заключалась в том, что, будучи сочинителем, Иван Артурович имел душевный строй подвижный и хрупкий, доставлявший ему изрядные мучения, выражавшиеся как в причудливых снах, так и в не менее причудливых бдениях». Иногда сетовали: вот если бы С. Ясенский не был таким впечатлительным, таким ранимым, чутким, стихийным, неуравновешенным. Но тогда, возможно, он не написал бы многих своих пронзительных, проникновенных строк. С. Ясенский глубоко чувствовал, что искусство есть «искус трагического мирозерцания», что «художник страстен, одинок и обречен на непонимание» («Роман, написанный от руки»). Он как огонь свечи, колеблемый ветрами... Этот символический образ привлекал его. Но ведь был иногда и страх: вдруг задует со всем...

Добровольный уход человека из мира – всегда тайна... «...Ну разве можно делать такие бесповоротные дела?..» – вопрошал герой «Классической музыки из оперетт». Но не

будем касаться этой тайны, внимая словам Сергея Юрьевича, звучащим в его последней повести-завещании «Репетиция»: «Осторожнее с мертвыми, господа!».

Сергей Ясенский родился в 1957 году в Красноярске. Родители, Юрий Александрович и Елена Викторовна, преподавали в Красноярском политехническом институте и строительном техникуме. В 1974 году С. Ясенский окончил среднюю школу с золотой медалью. В том же году легко поступил на филологический факультет Ленинградского университета. Так сбылась мечта его юности: жить и учиться в Петербурге-Ленинграде, с которым были связаны еще судьбы его предков. Как отметил С. Носов, «в Ленинграде-Петербурге Сергей Ясенский чувствовал себя и “человеком со стороны” (сказалось сибирское детство, причувившее к жизни более простой и открытой, чем та, что характерна для нашего города), и одновременно все-таки духовно “своим”, знающим изнутри или, если угодно, генетически величие, трагизм и тайны отставной столицы России.

Но не градом Петра Великого, а городом духовного подполья считал он Петербург, будучи, при всей многогранности своего творчества и личности, человеком одной трагической мечты, одной идеи и вовсе не бесстрастно объективистского мировосприятия» (Новый журнал. 1996. № 4. С. 56).

Успешно завершив в 1979 году учебу в Университете, он поступил в заочную аспирантуру Института русской литературы, а вскоре начал преподавать английский язык в одном из ПТУ города. В конце 1982 года С. Ясенский стал сотрудником Блоковской группы Института русской литературы (Пушкинский Дом). В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию («Леонид Андреев-новеллист. 1907–1917 гг.»), которая получила высокую оценку ученых. Он был специалистом в области литературы «серебряного века», которую тонко чувствовал, видел внутренним взором художника конца XX века. Диапазон творче-

ских возможностей С. Ясенского-филолога был велик: он мог написать точный, сжатый комментарий любого типа, аналитическое исследование, словарную, концептуальную статью, литературоведческое эссе. О том, что его понастоящему волновало, Сергей даже в сугубо научной статье умел сказать ярко и вдохновенно. Круг интересов и изысканий С. Ясенского был весьма широк. Но особенно он почитал Пушкина, Достоевского, Л. Андреева, Блока, Бунина. Творчеству именно этих художников слова он посвятил свои лучшие работы: «Особенности психологизма в прозе Л. Андреева 1907–1911 годов», «Искусство психологического анализа в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Андреева», «Реминисценции и аллюзии в поэме А. Блока “Ночная Фиалка”», «Пассеизм Бунина как эстетическая проблема», «Границы искусства (Пушкин и Блок)» и др. В своих последних филологических работах С. Ясенский обрел мастерство и подлинную зрелость. Жаль, что это совпало с внутренней драмой...

С. Ясенскому был по душе постулат Ницше из «Так говорил Заратустра»: «...Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Сам он носил в себе гармонию стихийного мыслителя. Поэтому в нем свободно сосуществовали одаренный ученый-филолог и художник...

Есть так называемая «проза поэта», а есть «проза филолога». У С. Ясенского они сливаются, перетекают одна в другую. «...Беспокойное вдохновение и трезвая ясность творческого рассудка чередовались между собой», – так писал он о текстах одного из своих героев («Роман, написанный от руки»). Неслучайно в статье «Проблема фантазии в творчестве Ф.М. Достоевского» С. Ясенский размышлял о «единстве фантазмагорического и аналитического начал» у любимого им русского классика (см. т. 2 наст. изд.).

Проза С. Ясенского нередко изысканно импрессионистична, порой почти вызывающе эксцентрична, полна фантазмагорий и мистификаций. Иногда он буквально «захлебывается метафорами и образами», и за яркой метафорической «вязью» читателю иногда нелегко доискать-

ся глубинного смысла. Это косвенно о себе С. Ясенский писал от лица героя «этюда» «Классическая музыка из оперетт»: «Да, единственное, что всегда владело мной безраздельно, была фантазия, и та свобода, с какой я плодотворил в саду интуиции и воображения...». «Фантастический реализм», «мистика в повседневности» в духе Достоевского и молодого Блока органично близки ему, они проглядывают как в изощренных образах, мотивах, идеях, так и в сюжетах. С. Ясенскому неотразимо нравилась блоковская строка из раннего стихотворения: «Глухая странность бытия...». С. Носов верно заметил: «Сергей Ясенский был бесконечно предан фантазии, верил в ее духовную ценность – его художественные произведения выглядят порой чередой печальных грез, исполненных поэтического обаяния и одновременно буквально дышащих трагизмом, как бы зеркально отражающих неизбывную печаль земного бытия» (Новый журнал. 1996. № 4. С. 56).

Он был одним из зачинателей прозы петербургского постмодернизма конца 1980-х – начала 1990-х годов, эпохи, в которой, говоря языком С. Ясенского, «простое стало грубым и примитивным, сложное – привлекательным, и только непонятное – истинно художественным» («Репетиция»). «Зигзагообразная», если можно так выразиться, проза С. Ясенского – в хорошем смысле интеллектуальная проза, насыщенная явными и скрытыми реминисценциями, аллюзиями, прямыми цитатами; поэтому, в частности, смысловой контекст ее резко возрастает. В ней немало фрагментов эзотерического, закодированного, зашифрованного текста. Писатель словно заново переосмыслил, пропускал через себя судьбы художников и шедевры мировой классики. Его буйное воображение как бы «подстегивалось» воображением других творцов. Весьма обширны и значимы историко-литературный и культурный пласты. Такого рода повествования требуют комментария и истолкования для широкого, особенно неискушенного, читателя. Во многом автобиографичны, конечно, полшутливые строки в «Классической музыке из оперетт», когда герой вспоминает свои студенческие годы: «“Эта голова... э-э-э... эта голова, знаете ли, устроена не совсем

обычным образом, она сама не ведает, что творит, к ней нужен специальный академический комментарий”, – сказал как-то, указывая на меня пальцем с остро отточенным ногтем, профессор Чалый, и этого было довольно, чтобы за мной утвердилась вздорная слава интеллектуального бродяги, шатуна и пустоболта, в речах которого мелькает иррациональная, а значит, единственная суть». Безусловно намеренно С. Ясенский, предваряя «Роман, написанный от руки», счел нужным уведомить: «Публикуя извлечения из журнала Тапмэна, мы считаем необходимым подчеркнуть, что преследуем исключительно научные цели, отвечающие в какой-то мере запросам знатоков и любителей историко-литературных изысканий». В повести «Репетиция» о современной литературе, «искушенной и отягощенной познанием», между прочим, сказано: «Теперь концы прячут заподлицо. Нужен подвох, культурный слой, глубина текста. <...> Простое стало грубым и примитивным, сложное – привлекательным, и только непонятное – истинно художественным».

Герои С. Ясенского часто мыслят и действуют на некоей пограничной черте, в иллюзорном мире, в лихорадочных состояниях полубреда, чреватых прозрениями. И это – сознательная установка автора. В свое время Д.С. Мережковский в начале очерка «Зимние радуги» (1908), несколько эпатуруя, писал: «У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. <...> И если всё чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреду окажется крупица смысла...» (*Мережковский Дмитрий*. Большая Россия. Л., 1991. С. 113). Да, в искусстве «есть дерзание, безумие, магия» («Роман, написанный от руки»). При этом, однако, С. Ясенский трезво сознавал: «Вот она, опасность воображения, восторга мозгового бреда» («Репетиция»); «Или призраки так сильно владеют нашими сердцами, что мы не хотим доверять действительности? Нет конечно» («Желания, произнесенные вслух...»); «А кто пишет или играет – тот еще и вывихивает душу сознательно, фантазируя, воображая, предаваясь игре с самим собой и с другими» («Роман, написанный от руки»). И помнил, наверное, завет

Лермонтова: «Как язвы, бойся вдохновенья... // Оно – тяжёлый бред души твоей больной // Иль пленной мысли раздраженья» («Не верь, не верь себе, мечтатель молодой...», 1839). С. Ясенский был не из тех азартных «плясунов, которые танцуют на фразе» (О. Барбье), но жил и творил на зыбкой грани, где не так просто разделить словесность, иллюзии, фантазии и реальность.

В самом начале «Репетиции» С. Ясенский предсказывал: «Несомненно (рано или поздно) автора разъясят...». Подразумевались и тексты, и личность писателя. Однако сделать это нелегко. В непростой для понимания прозе С. Ясенского то тут, то там возникают разного рода и порядка «энигмы» <загадки – *греч.*> («Сие энигма», кстати, было одним из излюбленных его изречений). Прозаика и филолога волновали загадки и тайны творчества, лицедейства, преступления и наказания, любви, смерти, России, русской души, царственного, «пытающего» города Петербурга и многие другие...

«Классическую музыку из оперетт», «Роман, написанный от руки» и «Репетицию» можно условно рассматривать как «трилогию». Некоторые недвусмысленные намеки на это встречаются в текстах. Во-первых, отметим «миграции» героев (к примеру, актер Виктор Ополченцев – и в «Романе, написанном от руки», и в «Репетиции»; два разных персонажа под одной фамилией – Волин, Лебязьев, Ренатов, Разецкий и т.д.). Во-вторых, явная переключка тем, мотивов и образов. В частности, в «Репетиции» содержится очевидная автоцитата: «Потом включили классическую музыку из оперетт». Помимо этого, для всех трех произведений характерна особенность, которую следует считать одним из принципов поэтики прозы С. Ясенского и которую кратко можно выразить словами из раннего стихотворения А. Блока: «Сплетались времена, сплетались страны...». Таким же отличительным, знаковым признаком его поэтики является «фрагментарность», «мозаичность», когда сюжеты дробятся, сохраняя целостность за счет внутренних, ассоциативных, подчас скрытых, связей. Наконец, во всех трех вещах множество страниц, посвященных литературе, театру и кино. С. Ясенский был

уверен: «...литература и наука о литературе <...> это храм» («Роман, написанный от руки»), кинотеатр – «храм, монастырь Великой Иллюзии» (ср. о ленинградском кинотеатре «Спартак»: «... еще много неприкаянных молодых людей зайдут в бывшую церковь, где вместо службы идет кино...»; «Классическая музыка из оперетт»). И вряд ли он оспаривал бы выстраданное Шекспиром умозаключение о том, что «весь мир – театр, а люди в нем – актеры, и каждый не одну играет роль». Миражи кино, театра, мир литературы и реальность причудливо смешивались в душе и сознании писателя и дали в его прозе необычный «сплав» (к слову сказать, российские актеры, перед которыми он неизменно преклонялся, – О. Даль и В. Высоцкий).

К традиционному жанру повести эти произведения трудно отнести. Первое – действительно скорее своеобразный «пространный художественный этюд», второе – «маленький роман» со сквозным циклом новелл о Шекспире и Кристофере Марло, третье – какая-то сложная гибридная форма, включающая в себя вставные новеллы (например, «Хрупкий рассказ») и небольшую повесть («Подлинная история Ивана Ильича Пани»).

«Классическая музыка из оперетт (Этюд времен перестройки)» повествует, наряду с прочим, о том, как мистически преломилась в нашей современности русская литература и история. Мифический Институт свободы и воли, прообразом которого послужил Институт русской литературы (Пушкинский Дом) в Петербурге, должен был поддерживать в обществе, согласно фантазии автора, «бессознательную тоску по свободе и пробуждать волю к ней у тех, у кого она была выпарена на медленном огне насилия и рабства», напоминать о бунтах, «зреющих в недрах тоталитарного общества, о том, что горстка интеллектуалов ведет отважную борьбу с деспотизмом». Возглавлял Институт академик Свободин – некая бесплотная эманация воли. Сотрудники необычного учреждения – своеобразные «анархисты духа», которые отстаивали в своих трудах свободу, улавливая ее многообразные «импульсы» в творчестве русских писателей. Когда свобода почти в одноча-

сье «была разрешена», странный Институт, полностью легализованный и призванный насаждать идеи свободологии, потребовал, чтобы его оставили в «келейном» покое; попросил только «пару ставок для пополнения штатных мест». Обещанная либерализация, однако, оказалась мнимой. Парадоксы переустройства обернулись тем, что по указанию сверху надзор за Институтом был усилен и ему было указано «на его место в жизни державы». Это подтвердила и защита докторской диссертации одним из ученых-анархистов на тему «Федор Достоевский. Оправдание свободы и эксцессы воли». Время заседания было назначено на полночь. Среди присутствующих на защите — «сверхъестественные» люди из другого мира, ушедшей жизни: Пушкин, Лермонтов с Печориным, Лев Толстой с Болконским и Пьером Безуховым, Достоевский, Гоголь, Чехов с «тремя сестрами» и даже Маргарита из булгаковского романа... В ход заседания решительно вмешался член «межрайонного лекарского комитета» Бескудников. Природу этого «комитета» распознать не трудно, если вспомнить, что «лекарями» Достоевский называл социалистов, полагавших, что при определенном устройстве общества можно совершенно избежать зла и трагедий. Но оппонент пошел еще дальше, усомнившись даже в реальном существовании писателя Достоевского, как сомневался в существовании Христа Берлиоз в «Мастере и Маргарите» Булгакова. И тот, и другой за это жестоко поплатились...

Однако там, где безграничные свобода и воля, там преступление» (Волин). Герой-анархист совершает кражу картины у своей двоюродной бабушки тети Али, бывшей балерины, любовницы одного из великих князей, которая за коньяком, шампанским и ликером вспоминала о романтических, невозвратных временах «Серебряного века»; она чудом не угодила «ни в эмиграцию, ни в лагерь». Бабушка после обильных возлияний внезапно умирает. Герой от чувства вины, мук совести становится психически больным и попадает в клинику для душевнобольных. Там он превращается в ясновидящего «юродивого», который раскрывает всю подноготную врачей. Примечательно, что

обитатели клиники профессора Семирадского – тоже своего рода анархисты, которых трудно удержать в каких-то рамках: им дозволено полное волеизъявление и свобода высказываний. Среди них завязывается дискуссия о том, как много позволено гению-художнику, как далеко простираются границы его внутренней и внешней свободы, не согласованной порой с общечеловеческой моралью; быть может, он сам себе закон и «право имеет»? Мнения якобы умалишенных разделились, но герой пришел к успокоительному выводу: «...Дар есть дар, и в чьи руки он попадает – сие, как говорится, энигма, человек – такая хитрая bestия, что может отлично примирять идеал и низость... <...> Что бы там ни было, я люблю Пушкина просто, не вопреки всему дурному, что было в нем, а вместе с этим дурным. Да, он не был святым, но на чистом мраморе не растут цветы». Позднее, вернувшись в Свободный Институт, герой неслучайно выписал дерзкую заповедь Ницше из «Так говорил Заратустра» – «Евангелия без Бога», Евангелия свободного человека: «Посмотрите на добрых и праведных! Кого больше всего ненавидят они? Того, кто разбивает скрижали их ценностей, разрушителя и преступника – но это и есть созидатель». С. Ясенскому это было близко, внятно, как он любил выражаться. Здесь ему мерещились залогов свободы, воли, дерзания, вдохновенного творчества. Но и сомнения возникали, поскольку он чувствовал границы, хоть нередко и размытые, личного и общего бытия, губительные последствия циничного релятивизма, ненормальность такого миропорядка, когда разрушители ценностей оборачиваются созидателями. Писатель, между прочим, упоминает о «созидателе» нового строя Сталине, «при котором всё было – и пытки, и икра, и колбаса, и лагеря», при котором сгинул на Соловках отец тети Али...

В финале произведения раскаявшийся герой, испытывая «жажду благого деяния», возвращает на место украденное им полотно, чтобы оставила его наконец «нечистая сила», которая иногда овладевает человеком, незаметно вобравшим в себя «дьявольское начало». Круг, казалось бы, замкнулся. Но впереди ждал роман, «в котором точку

ставим не мы», – «Роман, написанный от руки»... По мнению С. Кибальника, это «произведение уже вполне зрелое и вполне “романное”. Написанный в довольно прозрачной классической манере (и в самом деле от руки), он незамысловато сочетает два разных плана изображения: совр<еменный>, в котором героиня, новая русская, дана в окружении других шести героев, представляющих университетскую, театральную и криминально-деловую среду, – и средневековый, в центре которого дружба драматурга Кристофера Марло с Шекспиром. Роман Я<сенского> отличается роскошной метафорикой и мощной культурологической разработкой на совр<еменном> материале проблематики Достоевского и русских модернистов» (Литературный Санкт-Петербург. XX век. Прозаики, поэты, драматурги, переводчики. Энциклопедический словарь. В 2 томах. Том. 2. СПб., 2011. С. 599).

В конце XX века, как и в конце XIX-го–начале XX-го, «Россия вышла из берегов и не вернулась в них». Вновь какая-то смута, кардинальные перемены, сотрясение основ, власть людей с «двоящимися мыслями» и «двойной моралью» и обезличивающая, бездушная власть денег; вновь развернулась, по словам писателя, «война всех против всех». В России никак не может прижиться Великая Эволюция. Студент-историк Иван Ильин, «существо с поврежденными нервами», видел в этой неизбывной повторяемости некую «тайну российской истории», которую собирался во что бы то ни стало разгадать. Он писал роман о преступлении и очутился, как и герой «Классической музыки из оперетт» (как, заметим, и Мастер у Булгакова), в психиатрической клинике...

Тема и проблема преступления, пожалуй, – основные в «Романе, написанном от руки». «...Потенциальная готовность к преступлению, – размышлял, несколько утрируя, один из главных персонажей Лебяжьев, – отличительная черта современного человека». Черта эта, по мнению Лебяжьева, унаследована от прошлых времен и засела довольно глубоко. Преимственность выражалась в том чайании, с каким соотечественники (к примеру, русские символисты начала века) ожидали чудесных событий, пе-

ремен, обновления, преобразования, не боясь даже бед и катастроф: «“Хоть больно, да интересно” <...> эта формула распространяется на всё наше существование в качестве одного из его законов. <...> В сущности, Лебяжьев жил ощущением апокалипсиса, который миновал. Люди, преобразенные громом и пламенем, выжегшим насквозь все внутренности и душу, с удивлением замечают, что Царство Божие не наступило, нет ни Новой Земли, ни Нового Неба, Земля устояла... <...> Стало быть, апокалипсис может наступать и дважды, и трижды – всё это только Репетиция – Мистерии мы еще не заслужили». Какой-то причудливый апокалипсис, растянутый во времени... Истоки его – в катаклизмах истории: «Любая система – и человек, и общество – должна саморегулироваться. Способность к этому есть, быть может, единственный признак жизнеспособности. <...> Все мы теперь знаем, что происходит с обществом, лишенным способности извлекать уроки из происшедшего».

Сам детективный сюжет «Романа...», кража у героини шекспировского «плохого квартета», носит – перед лицом Высшего Суда – символично-аллегорический характер: мог быть и другой сюжет, более, скажем, трагический... С. Ясенского, помимо грехов и грешков разного рода «рыцарей наживы» (Ренатов, Разецкий, Петражицкая) интересуется главным образом тяга к преступлению через черту стигматических творческих натур, которые «редко бывают нормальны», «страдают маниями». «Преступления, вообще говоря, – полагал его герой Костя Висконти, – вещь всегда ненормальная, граничащая с болезнью, плавно перетекающая в нее»; творческие натуры «преступны по природе, живут на черте и – часто оказываются за чертой». Так, Иван Ильин, приступая к роману, должен был сделать моральный выбор: «...чтобы написать героя-преступника, надо было совершить преступление самому, перешагнуть ментальную грань, разделяющую добро и зло, в самом себе. Именно так обстояло дело, если хватало сил оставаться интеллектуально честным перед самим собой. И вот Ильин стоял на границе: или – или». Ильин должен был стать «преступником метафизическим». Одна из тайн творчест-

ва состояла в том, что нужно было приобрести не только житейский, но и внутренний опыт, пропустить через себя, насколько это возможно, жизнь необузданных людей и окружающего, погрязшего в грехах мира. Раскольников у Достоевского, по мысли С. Ясенского, реальный и в то же время «метафизический» преступник: деньги для него – не главное, «ему в действительности потребны радость ножа и загадки Сфинкса». Примечателен мотив «ножа», навеянный, в частности, романами Достоевского, в дневниковой записи А. Блока от 27 декабря 1901 года; в этот день было создано стихотворение «Двойнику» («Ты совершил над нею подвиг трудный...»): «...убийца-двойник – совершит и отпадет, а созерцателю-то, который не принимал участия в убийстве, – вся награда. Мысль-то сумасшедшая, да ведь и награда – сумасшествие, которое застынет в сладостном созерцании совершенного другим. Память о ноже будет идеальна, ибо нож был хоть и реален, но в мечтах – вот она, великая тайна...» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 19).

Однако не остался без внимания автора и другой «комплекс Раскольникова»: за преступление ему пришлось заплатить муками совести, отчуждением, одиночеством живой, чуткой души. Ильин хоть кражи и не совершал, но одиночество всё-таки ощутил. «Быть одному и оставаться счастливым, – утверждал Лебяжьев, – вот философия преступления, вот его мораль». Можно сказать и по-другому: быть свободным от людей и оставаться счастливым... «В конечном счете всё упирается в вопрос о свободе. <...> Является своеволие частью свободы или это ее противоположность...» (Костя Висконти). Между тем, «одиночество оказывается не условным и не ручным, оно становится реальным. Преступник, разрывая круг, выходит за черту добра и зла, и человеческие связи рвутся для него слишком болезненно и грубо».

Возможно, какой-то особенный смысл «Романа, написанного от руки», заключается в том, что полубессознательное преступление совершает, допустим, не прожженный интриган и циник Разецкий, а гуманный интеллеktуал, интеллигент Александр Сергеевич Лебяжьев...

Не исключено, что название третьей вещи – «Репетиция» – как-то связано с упомянутой выше мыслью С. Ясенского о ддящемся апокалипсисе, череде актов невеселой, неизбывной драмы, которая из столетия в столетие никак не перерастет в Мистерию Преображения жизни.

Вновь возникает фигура студента Ивана Ильина, который намеревался постичь загадку российской истории («Роман, написанный от руки»). Он, по метафорическому выражению автора, стремился проникнуть в «пружинающую пустоту прошлого, загнанного груженым товарняком в тупик, и будущего, свистящего миражным экспрессом на дальних подступах»: «Он познавал историю России, прикасался к ее тайнам, влагал персты в ее раны. <...> “Чем всё это кончится?” – вот с каким вопросом стоял Ильин над свитком истории. Он искал ту пружину, которая приводит в движение механизм. Он хотел понять главное и ждал открытия, как взаимности». К «главному» он подходил скорее интуитивно, эмоционально: «Два чистых музыкальных тона – жестокость и жалость – слышал Ильин сквозь гул истории»; «Странное противоречие сквозило в том, что история хоронила будущее». Взыскующему студенту могли припоминаться блоковские строки из «Скифов» об отношении России к «старому миру»:

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..

Разгадать загадки Сфинкса «недоучившемуся историку» Ильину не под силу. Неслучайно своего рода «сокровенный человек» инвалид Разецкий называл его мечту «секретом Полишинеля»: «Старик советовал Ивану не играть с прошлым, откуда, как из первобытной чаши, может высунуться воплощенная дикость. Юному следопыту надо бы понять, – твердил Разецкий терпеливо, – что он родился в пору общей неопределенности и частных, но шокирующих происшествий. <...> Касательно надежды, разыскиваемой в прошлом, Разецкий был особенно непримирим. Он говорил, что это чувство внушено литературой, переврано и обожествлено».

Отличие «Репетиции» от прежних вещей состоит в том, что ее структура полна сюжетных «сдвигов», обрывов, смещений повествования, неожиданных, порой немотивированных, переходов. Выражаясь языком того же Раецкого, «мы вступаем в область подвижных границ, и наш рассудок потрясается, мысль – дрожит». Нередки внезапные появления новых персонажей с их историями (Митя Румянцев, Боб Кеннеди, Иван Артурович). Такая мозаичная картина, вероятно, и не призвана вызывать впечатление целостности и завершенности. Законченность обозначена лишь тем, что в финале гибнет один из героев – актер Витя Ополченцев, ярко сыгравший однуединственную роль...

В самом финале пьесы С. Ясенского «Оркестровая яма» (написана в соавторстве с В. Котовым; под машинописным текстом дата: «16 февраля 1996 года») один из героев говорит: «Вероятно, я должен объясниться, но, увы, что бы я ни сказал, вы примете это либо за многозначительную банальность, либо за назойливый совет. Между тем, было произнесено много слов, быть может, излишне. Итак, прощайте. И да помилует всех нас Святое Провидение Господне...». Таким было последнее напутствие всем нам Сергея Ясенского перед уходом из этого «прекрасного и яростного мира».

В.Н. Быстров

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИЗ ОПЕРЕТТ

(Этюд времен перестройки)

В Институт свободы и воли я попал по нелепой случайности. Учился я скверно и разве что не изведал много скорби, избежав многих познаний... Обладая счастливой памятьливостью и легкомыслием незаурядным, я не столько образовывал себя, сколько школярничал – излагал обрывки случайно зароненных мыслей, ворохи снятых вместе с пеною идей и – фантазий. Да, единственное, что всегда владело мной безраздельно, была фантазия, и та свобода, с какой я плодоносил в саду интуиции и воображения, зажигала тусклый оловянный огонек любопытства в глазах благосклонных моих учителей. «Эта голова... э-э-э... эта голова, знаете ли, устроена не совсем обычным образом, она сама не ведает, что творит, к ней нужен специальный академический комментарий»,— сказал как-то, указывая на меня пальцем с остро отточенным ногтем, профессор Чалый, и этого было довольно, чтобы за мной утвердилась вздорная слава интеллектуального бродяги, шатуна и пустоболта, в речах которого мелькает иррациональная, а значит, единственная суть. В России не любят истины, добытой тяжелым, размеренным и напряженным трудом, напротив – схваченное с лету, с пылу с жару, праздничное из-ничего, поперченное жестокой ухмылкой скандала, — о, это способно потешить нас до потрохов... Так завещал нам Пушкин, и кто из нас не расстреливал козьявкой, наковыренной в носу, пергаментного от желчи Сальери во славу пьяненькому Моцарту. Я спорил о книгах, которых просто не читал, с приятелями, которые их не прочтут никогда; я утверждал, что Достоевский страдал болезнью ментальности; что Гоголь был переодетой женщиной, необыкновенно пронизательной из-за вечно неудовлетворенной чувственности; что Тургенев одолевало бессилие и поэтому вместо романа всегда выходила повесть; что Горький и Леонид Андреев могут быть поняты только как гомосексуальная пара, а точнее квартет, если к ним добавить лысого, как Голгофа, Серафимовича и почитаемого мною Ивана Бунина. Сии экскурсии в историю отечественной словесности я де-

лал по преимуществу в – не к ночи будь помянут – баре «Сфинкс» за стаканом (а вовсе не рюмкой) ликера и чашкой дымящегося мокко из серебряного кофейника. Приятели внимали мне с восхищением, не лишенным легкого студенческого презрения к моей учености, и бережно провожали меня под руки к трамвайной остановке. Не знаю, чем бы закончилась моя университетская одиссея, что и каким школьникам поведал бы я в педрах Российского Нечерноземья об их любимых писателях и поэтах, если бы не произошло нечто, разом наставившее меня в наезженную колею академического изыска.

Я брел полночной улицей, я был нетрезв. Майский сумрак стучался, тлея, мерцал, сплошные стены домов были ненадежны, как оперные декорации, и что-то твердило мне о том, что на этот раз так просто я к себе не добреду. Казалось, ночь воротит мордочку от моего лица, как дымчатая кошка, сторонящаяся пьяного дыхания, и сквозь изгиб пленительной кошачьей пастьюшки я уже видел, как белели зубы. Внезапно я услышал резкий свист и топот ног за моей спиной. Я обернулся – это была шпана, ребята лет по шестнадцать. Спустя несколько мгновений я попытался драться, меня ударили по голове тяжелым, сорвали с руки часы и сбили с ног. «Лежи», – услышал я, впадая в нестрашное оцепенение, в котором трудно было шевельнуться. Так я лежал с вывернутыми карманами и вяло созерцал непроницаемое небо с еле прорисовывавшимися облаками. «Как хорошо стоят эти облака, совсем не так, как бежали эти неразумные юноши, совсем не так, как пытался я им противодействовать, и отнюдь не так, как они – нелепо, но внятно – взяли и избili меня», – так я старался размышлять, когда огромная, как самосвал, фигура склонилась надо мной. «Восстань», – услышал я рокошующий алкогольно сиповатый бас. Я повиновался.

«Кто ты таков?» – громогласно спросил меня глухой, как захолустье, великан в тесном пиджаке никак не меньше 56 размера. «Студент», – ответил я. «От студентов есть пошла русская земля, то бишь свобода и воля, – сказала чудище, захохотав, и погрозило мне огромным кулаком. – Тебя могли замочить, но анархия нашла на анархию, разбойники на студента, вышел не дубовый бушлат, а верный случай: ты встретил Волина».

Так я познакомился с главным научным сотрудником Института свободы и воли, магистром нагана, человеком, который в детстве видел Махно.

Свободный институт был создан в 192... году как Противоправное учреждение, долженствующее отстаивать священные идеалы анархии, мятежа и бунта посреди обывательской лужи, провозгласившей культ сосисок, подтяжек и веников. Заведение вело подрывную деятельность все семьдесят лет своего существования, но закрыть его было нельзя. Почему – это секрет, известный только двум людям в стране, Большому Хозяину и Вожаку Института, академику Свободину, личности легендарной и официальным указом бессмертной, но невидимой и бесплотной. Существование Института не было безоблачным, с самого начала в его стенах было немало правительственных шпионов, одно время все сотрудники были шпионами, потом, правда, когда Институт был отправлен шарашить в лагеря, шпионы по большей части успели выйти вон, и их место заняли настоящие анархисты. Однако затем, когда Институт вернулся в свой особняк на набережной, соглядатаи опять пополнили его штат и не покидали его никогда, порою составляя до 2/3 членов Ученого Совета. Но и здесь не все ясно, так как были случаи, когда вчерашние шпионы и провокаторы переживали кризис и более не могли отправлять свои обязанности, так как прониклись идеями свободы и воли. Тогда их, впрочем, разъясняли и убирали, заменяя новыми. Такое существование считалось вполне нормальным, ибо, как не раз говорил мне Волин, никакая анархия и никакой бунт не обходится без провокации. Деятельность Вольняги и вольняшек – а именно так неофициально прозывался Институт и его работники со времен лагерной жизни – была бурной, но и общем вполне невинной. Дело в том, что по неписаному, но твердому соглашению между Правительством и Институтом его работа могла касаться только прошлого («Наша свобода – только из прошлого бьющий свет», - красовалась надпись на фронтопе институтского особняка), а именно русской литературы и философии, равно как и западных влияний в той мере, в какой они были усвоены русской культурой. Таким образом Институт был застрахован от прямой конфронтации с властью, да и вообще касательства к реальности, к событиям, происходящим в стране, не имел, за редким исключением, никакого. «Эмпирикой мы не занимаемся, - гордо говорили сотрудники. – Мы воздействуем не на кулаки и не на клыки, а на умы, подсознание, подкорку».

Статьи и книги сотрудников должны были поддерживать в обществе бессознательную тоску по свободе и пробуждать волю

к ней у тех, у кого она была выпарена на медленном огне насилия и рабства. Поговаривали, что деятельность Института и сам факт его существования объяснялся тем, что, согласно медицинским открытиям, сделанным еще в начале века, в обществе непременно должен тлеть фитилек свободы, дабы люди не переходили в животное состояние, в котором они не могут уже обеспечивать даже минимальную производительность труда, малейшую творческую активность и хотя бы скромные, но внятные научно-технические успехи. Не приходится сомневаться в том, что власть предрержащие считали Институт забавной игрушкой, картонным паяцем, ниточки от которого находятся у них в руках. Анархисты, однако, полагали, что и ручной зверек иногда кусается, и не собирались отдавать это право задаром. Они выпускали в свет книгу за книгой: «Федор Достоевский. Оправдание свободы и эксцессы воли», «Власть плоти и свобода духа у Гоголя», «Непротивление свободы добру: воля и догмат в творчестве Льва Толстого», «Сверхчеловеческое и фатальное. Лермонтов: уединение в перекрестье прицела», «Тайная свобода Пушкина», «Свобода в чеховском сумраке», «Болезнь и освобождение: Всеволод Гаршин», «Блок и Андрей Белый. Мистика свободы», «Любовь, смерть и свобода. Тургенев и французские каблуки» и т. д. и т. п. Книжки выходили маленькими тиражами: от 300 до 5000 экземпляров и скупались на корню любителями и собирателями, но все же они поступали в крупнейшие библиотеки, где с ними и могли познакомиться страждущие, разносившие затем свободные мысли по умам. Кроме того, труды Института не раз вызывали шумные кампании в газетах и журналах, выходивших уже, как водится, миллионными тиражами, и хоть в искаженном виде, но знакомявших читателей с тем, что творилось в Вольняге. Кампании эти порою заканчивались арестами, ссылками и высылками соотрудников – этого требовал народ, который по непонятным мистическим причинам допускал существование Института как неизбежного зла и притона для интеллигентов, по справедливо полагал, что всякая уголовная деятельность должна быть если и не предотвращена, то наказуема строжайшим образом. Около Института даже был установлен милицейский пост, ожидавший все семьдесят лет народных волнений, погрома здания и избиения вольняшек, но тщетно – в городе никто толком не знал даже, где находится сей привал комедиантов, да и знать, по правде говоря, не желал, так как считал, что враги давно уже

строчат свою пачкотню в подвалах Большого дома, под неусыпным надзором копвойных.

Никакие события в стране, никакая либерализация или, напротив, ужесточение порядка не оказывали ни малейшего влияния на работу Института: в нем твердили, что не о той свободе речь, что дело не в свободе либеральничать, а в той подлинной, о которой не знает никто – даже и они сами, и которая только в редкие минуты вдохновения посещает человека, чтобы отныне томить его уже всю жизнь, и провозвестниками коей поклялись быть чернорабочие воли.

Бывали случаи – и неоднократно, – когда люди академика Свободина к вящему удовольствию властей выходили в астральные области, теряли уже всякую связь с реальностью и помешались в психиатрические клиники, где пытались проповедовать свои идеи среди больных и медицинского персонала. За это они закономерно получали немилосердные инъекции сульфозина, наводившие порядок в умах и зажигавшие в сердцах любовь к отечеству, а также отбивавшие охоту к подвижничеству. Подавленные психически, но не морально, они возвращались в Институт, обогащенные новым опытом, повествовали в курилках о том, что нигде не бьют так жестоко, как в сумасшедших домах, и получали от Вожака специальные задания прояснить вопрос об отношении к свободе у психически больных русских писателей и поэтов, вроде темы «Красота, гармония, свобода, воля – и помрачение рассудка у Батюшкова и до наших дней», темы, завершить которую Институт тщетно пытался последние пятьдесят лет, с тех пор, как в психушке Владимирского централа был зверски изнасилован санитаром небесталанней, но сильно несуровоженный сотрудник Института Рассудкин. Между тем невидимый академик Свободин сказал как-то по телефону Волину, что видит за этой темой большое будущее.

Тщательно подавляемый гнев властей вызывало то обстоятельство, что деятельность Института имела немалый международный резонанс. В вестибюле Вольяги вечно крутилась иностранщина: американцы, французы, финны, шведы и – что особенно досадно – поляки, чехи, венгры и югославы, наши братья, смущать которых было уж вовсе бессовестным делом. Все началось с того, что в шестьдесят восьмом году, под Прагой, Волин и незримо присутствовавший рядом с ним Свободин остановили колонну советских танков, обложили матом солдат и офицеров и, угрожая кулаками, потребовали

от них немедленно убраться домой. Волина связали, Свободин как всегда исчез, но еще долго появлялся на Вацлавской площади, где то и дело включался неосязаемый материально репродуктор, кричавший хриплым, не похожим на академика голосом блатные песни и отрывки из трудов Института. Соглашение с Правительством о невмешательстве в реальность было подло нарушено, Институт заколотили крест-накрест досками, и сотрудники долго лазили в него по пожарной лестнице, через чердак. Инцидент замяли, пришли к новому соглашению, но так Вольняга стал известен на Западе, и американский Конгресс принял специальный закон о предоставлении всем сотрудникам двойного гражданства, беспрепятственном въезде в Штаты и создании долларового фонда помощи всем, начиная от уборщицы и кончая нематериальным Свободным. Закон был немедленно опровергнут и отменен Указом Верховного Совета, но многие сотрудники продолжали считать его действующим, оспаривая на том основаши, например, пьяные приводы в милицию и заточение в вытрезвитель. Так или иначе, но ничего не понимавшие иностранцы посвящали Институту целые исследования, в которых рассуждали, как водится, о непознаваемости славянской души, о чувственном влечении русских к воле посреди неизбывной неволи, о бунте, зреющем в недрах тоталитарного общества, о том, что горстка интеллектуалов ведет отважную борьбу с деспотизмом. Дело как будто кончилось, тем, что Волин публично послал сотрудника ООН, однако это было пропущено мимо ушей, и Волину тут же дали крупную иностранную премию.

Между тем в стране произошли большие перемены: в один прекрасный день свобода была разрешена. Россия упала в объятия гласности, стала знойно отдаваться, и полуподпольное, полуподвальное существование Института стало, наконец, невыносимым для Правительства, которое предложило Вольняге и субсидии, и трибуну, и громадные тиражи, и телевидение, и радиопередачи. Свободин был вызван наверх и не явился, сославшись на свою бесплотность и невозможность материализоваться. Тогда прямо в Институт на черных лимузинах приехали Правительственная Комиссия и сам Большой Хозяин, долго говорили со Свободным по телефону, ни о чем не договорились, был вызван Волин – безрезультатно, проведено общее собрание – отказ принять условия полной легализации и пропаганды идей свободы и воли в широких массах. Институт настаивал на том, чтобы его оставили в покое, и

требовал прежнего келейного невмешательства в реальность. Хозяин сказал, что не понимает, чего еще надо Институту, когда ему предлагают и волю, и свободу. В ответ сказали, что не надо ничего, и попросили только пару ставок для пополнения штатных мест взамен сотрудников, уволенных, как пишется в приказах, в связи со смертью. Ставки были немедленно даны, и Волин, потрясая кулаком, сказал, что возьмет в Институт первого встречного юнца, так как апархистов в России еще хватает. Первым, кого он встретил, возвращаясь с бурного, затянувшегося за полночь собрания, оказался я. Так я стал младшим научным сотрудником Института свободы и воли.

В день моего появления в Институте, что стоит в Татарском переулке неподалеку от пожарной каланчи, в нем было особенно суетно. Бывший графский особняк, доставшийся Институту по стародавней экспроприации, гудел, как оперный театр в день премьеры. Что-то тревожное и праздничное носилось в воздухе, что-то клубилось и реяло между сотрудниками, сорвавшимися со своих присутственных мест и носившимися по коридорам с легкостью необыкновенной. Да и сотрудники – а среди них были люди значительные и весьма – стали в Институте не так заметны. То есть они присутствовали, и даже как никогда присутствовали, и даже все. Никто не заболел, а многие к этому дню постарались поправиться. Но как-то сникли и потускнели сотрудники, растворились в пришлой публике и чувствовали себя не хозяевами, а так, завсегдагатаями.

Публика прибывала волнами. Неудобная вертушка у входа, помогавшая вахте проверять приглашения у гостей, кружила фигуры причудливые, невиданные в Институте фигуры. И выбрасывало в графские мраморные сени то драного мужика с чудовищной бородой, над которой горели жуткие огненные глаза, то вуалевую даму с разметающейся из-под шляпки прической, то немислимых шеголей, прижимавших к батистовой груди игрушечные дуэльные пистолеты. А то еще возникала здесь и там женщина ледяной строгости, с ног до горла затянутая в глухое, чернее ночи платье, и вдруг поворачивалась спиной, на которой, кроме совершенно непонятно куда зашедшего выреза, ничего обозначить не удавалось. От спины исходило теплое розовое сияние, а лицо женщины было мрачно до безысходности. Но и это явление, в обычный день чрезвычайное, было принято к сведению и только.

Да что там, если уж всю правду говорить, была тогда в Институте еще одна гостыя и тоже в замечательном платье. Представьте себе: серьезность – убийственная, очки – огромные, в руках – папка. Казалось бы, доцент. А на груди – точно бритвой кто полоснул по диагонали – неприличный косой вырез, так что одна грудь смотрит в мир и нет на ней покровов. Но на это безобразии уж лучше вовсе не смотреть – и действительно, хотя и не сразу, но отворачивались.

Были в Институте в этот день некоторые люди, решительно не маленькие, даже сверхъестественные. Эти упали сюда, как тяжелые камни, и круги от них пошли во все стороны, и даже водовороты вокруг них образовывались. Вообразите довольно крупного дядю, свирепого и лобастого, с лицом, отдаленно напоминающим морду трамвая или поезда. Между прочим, босого и, возможно, еще недавно пахавшего землю. Чуть поодаль какой-то добрый толстяк в допотопных круглых очках, какой-то хрупкий красавец в военном ведут нескончаемые разговоры и дядю этого за рукав дергают. А он все грозит кому-то поверх голов, а уж выражается, прости господи, не стесняясь.

Или еще – французистый такой господин, живой, как пламя свечи на ветру, смуглый, в белоснежном белье и с тростью, которая так и вертится, точно мельница. Стоит, гарцует, будто под ним необъезженная лошадь, да и сам с норовом. А как оскалится – жуткового, видно, хоть и все приемлет, да не всех принимает.

По обе руки от него шалют создания, прелести давно исчезнувшей, и тормозат его, и ласкают, и лепечут что-то, а он так и крутится во все стороны, и картавит по-французски необыкновенно, и горит весь как божий огонь.

И тут же в статуарной задумчивости, в сумраке, офицер с пожелтевшим – не то продымленным, не то большим – ликом, с синими тенями вокруг глаз. Перекрещен ремнями, руки сплел, рот искусанный, глаза помертвевшие, без блеска, без искорки. А рядом, видно, его старинный приятель по службе, тоже невеселый, расслабленный, и одиночеством от него так и тянет, будто сыростью из глубокого погреба.

Здесь же что-то жевал остроносый, явно чем-то травмированный тип, зябко кутавшийся в просторный халат. Этот смахивал на сбежавшего из клиники, по крайней мере, он на редкость неожиданно хохотал, а вслед за тем мелко крестился и жаловался. Его

беспокоили необыкновенно полноценные физически господа, наступавшие со всех сторон и требовавшие вина, карт и канделябров, чтобы бить какого-то шулера, обманувшего их не то с коляской, не то со щенками. Коляска оказалась неукладистая или щенки – беспородные, но господа требовали удовлетворения и тревожили остроногого и как будто даже крылатого человека. Он переступал с ноги на ногу, взмахивал руками, с тоской смотрел наверх и, видимо, намеревался взлететь. С далекого графского потолка смотрели на него приветливые ангелы и манили к себе, и завораживали нескончаемым своим полетом в бледно-розовую, рассветающую высь.

Был в Институте еще очень воспитанный симпатичный гость, похожий на школьного учителя. Ему было жалко свою пеструю разночинную компанию, но помочь ей он явно ничем не мог. Когда к нему приставали сестры в щедро декольтированных платьях и легкомысленных шляпках и крутили пуговицы его сюртука, требуя немислимого ответа, он разводил руками и говорил: «Подождите еще сто лет или двести, и все устроится. Обойдется. А пока надо работать».

Были и еще господа неординарные, но – мимо о них. Ведь цельзя не сказать и о дамах. Боже праведный! Кого послал Ты в этот день в Свободный институт, как ослепительны были эти гости, как тревожны, как гибельны! Понистине только в ускользающем сне, только в разбередившей душу мечте возникают такие видения, чтобы исчезнуть, напоминая о себе всю жизнь. Однако во плоти и крови прошли они тогда лестницами и коридорами Института мимо смятых бурными событиями сотрудников и вот – не вернуть этих чарующих мгновений назад, не вернуть.

И среди них, немислимых, была одна, несравненная. Последующие события заставили уголовный розыск дать описание внешности красавицы, которым мы воспользуемся уж здесь, чтобы избежать малейших неточностей. Вот оно: «...личность которой установить не удалось. Возраст 20–23 года. Рост 160–165 см. Телосложение правильное. Волосы черные. Глаза синие, зубы белые, ровные. Черты лица правильные. Особых примет нет». Уверяю вас, что это вполне справедливое описание не поможет найти преступницу; ибо есть в нем одна важная неточность. Особой приметой красавицы было все, с головы до ног она была одной – и удивительной! – особой приметой. Но об этом не стоит говорить милиции, не правда ли?

Столпотворение уже царило в Институте, а возбуждение нахлынувшей толпы все росло и росло. Какое-то неведомое беспокойство читалось на лицах загадочных гостей. Они засматривали в глаза друг другу, озирались по сторонам, тревожно шептались, показывая то на вход, то на часы. Обрывки длинного знаменитого имени поселились над толпой, уже близкой к пенствованию. Невнятные угрозы и даже проклятия слышались здесь и там, кто-то вдруг закричал о погубленной молодости и несбывшихся надеждах, кто-то собирался заплакать, а одинокий возглас: «Да неужто замели его, братцы?» – наэлектризовал толпу до предела. Как вдруг все смолкло, словно заслышав приближение долгожданного гостя. В нехорошей гулкой тишине зазвучали каменные шаги. На затуманенное стекло двери наплывала неясная тень. Еще мгновение – и толпа разразилась громкими приветственными кликами.

В Институт вошел сутулый болезненно-бледный человек весьма несветского вида. Весь съежившись от оказанного ему почтения, он счел необходимым раскланяться и расшаркаться, что и сделал на диво неловко. Глядя по сторонам с выражением мучительной растерянности, он, казалось, соображал, как ему следует поступить, но тут уж его подхватили под руки и повлекли наверх, мимо графских панно и гобеленов, в роскошный бальный зал с перламутровыми стенами и скользким паркетом, в котором хоть и в перевернутом виде, но с отменной четкостью отражался огромный стол и восседавший за ним курирующий Институт лекарский комитет. Тут стали всюю звонить в надтреснутый колокольчик, зал наполнялся и переполнялся, и заседание должно было начаться с секунды на секунду.

Пора уже сказать, что виной всего этого перенелоха было маленькое кособокое объявление у входа, гласившее о защите докторской диссертации под названием «Федор Достоевский. Оправдание свободы и эксцессы воли. Большой конференц-зал. 24 часа 00 минут». Кроме странного времени, не было в этом объявлении, на первый взгляд, решительно ничего необычного. Однако люди, посвященные в кулуарную жизнь Института, могли бы рассказать много интересного о том, какой грандиозный скандал обещала вызвать работа сотрудника Бедова. Этот непослушный человек, вместо того чтобы слушать дружеские замечания секретаря межрайонного комитета Бескудникова, предпочел дуть в свою дудку и даже умудрился довести диссертацию до защиты.

Дело в том, что деятельностью Института свободы и воли ведал непосредственно межрайонный лекарский комитет, осуществлявший как будто бы и чисто номинальную, но, однако же, как это случается, и грубо реальную власть над Институтом. Все семьдесят лет существования Свободного межрайком единолично решал, какие диссертации и в какой срок могут быть защищены в стенах Дома Анархии, какие ставки и какие должности могут быть назначены, кого можно и кого нельзя изучать достопамятным анархистам. Нет, анархисты никогда не мирились с решениями врачей, взамен неутвержденного кандидата или доктора наук они тут же вводили свою степень бакалавра или магистра свободы, запрещенные темы они продолжали разрабатывать с немалым упорством и хоронили их в архивах Института, ежели не удавалось довести их до печати. Однако формально-официальное кураторство лекарского комитета над Институтом было незыблемым, и даже последние события и обещания полнейшей свободы и сам визит Большого Хозяина ничего не изменили в этом отношении – увы, скорее напротив, в возникшей в стране сумятице межрайком решил – и кто знает, не без указания ли сверху, таковы парадоксы переустройства – усилить надзор над Институтом и указать ему на его место в жизни державы. Такие слухи ходили вокруг Института все последнее время.

Но слухи слухами, а заседание началось. Сейчас анархисты заняли левую часть зала, лекаря – партер, а удивительные гости расположились в амфитеатре. Сначала секретарь межрайкома Бескудников решил представить собравшимся уважаемого соискателя ученой степени:

«Я давно и внимательно слежу за научной деятельностью товарища Бедова. Еще в школьных сочинениях, которые мне на днях дали посмотреть в одном учреждении, товарищ Бедов обнаруживал определенные исследовательские способности и склонность к философским размышлениям, а точнее говоря, к философическим мечтаниям. Эта склонность в более зрелом возрасте привела товарища Бедова к различного рода фантазиям, которые ему удалось в конце концов защитить под видом кандидатской диссертации. Этому ему показалось мало. Ищущий, трудолюбивый фантазер, я бы даже сказал визионер и рефлектер, товарищ Бедов приступил к работе над тем, что он теперь называет своей докторской диссертацией. Несмотря

на мои советы и пожелания, ему удалось довести свою работу до конца и даже опубликовать ее по частям в различных европейских журналах под видом научных статей. И вот теперь мы должны эту, как он полагает, диссертацию оценивать. Так сказать, апробировать ее в научном смысле слова. Ну что же... Пожелаем товарищу Бедову успеха. Разговор нам, товарищи, предстоит трудный, тяжелый, я бы даже сказал тягостный, так что давайте поаплодируем товарищу Бедову. Смелее, товарищи», — и Бескудников великодушно махнул рукой.

В партере жидко захлопали.

Бескудников продолжал: «Сегодня у нас задача, прямо скажем, неблагодарная. Дело в том, что серьезное, вдумчивое сочинение товарища Бедова носит, к сожалению, не совсем вразумительный характер. Мы должны товарища Бедова вразумить, указать ему на отдельные грубые ошибки, я бы сказал досадные казусы, возникшие вследствие излишней поспешности автора. Товарищ Бедов работал над своей диссертацией всего двадцать пять лет. К тому же в эти годы он много болел и, говорят, даже едва не умер. Понятно, что он не успел создать ничего фундаментального, понятно, что это были годы проб и ошибок, которые дали отрицательный в целом результат, имеющий, впрочем, известный поучительный смысл. Мы понимаем и ценим ваше подвижничество, товарищ Бедов, мы готовы терпеть ваши произведения и благословляем вас на дальнейшие, так сказать, научные похождения. Мы — широкие люди и способны как понять вас, так и отнять всякую охоту заниматься тем, что вы понимаете под наукой.

В поисках удобного предмета для размышлений товарищ Бедов остановил выбор на фигуре, я бы сказал, весьма и весьма спорной, легендарной, почти, можно сказать, условной, а вероятно, и никогда не существовавшей: Федор Достоевский. Кто скрывался под этим замысловатым именем? Не было ли его пресловутое творчество литературной мистификацией, веселым розыгрышем подвыпивших гусар? Сегодня мы еще не можем ответить на этот вопрос до конца утвердительно, но завтра, думается мне, эта загадка будет нам по плечу.

А товарищ Бедов упорно твердит свое: «Достоевский существовал. Достоевский — бессмертный писатель». Полноте, да разве можно писать об этом с такой маниакальной настойчивостью? Товарищ Бедов, я призываю вас прислушаться к голосу разума.

Итак, уже на первых страницах мы сталкиваемся с явным преувеличением, если не сказать с очевидным недоразумением. Товарищ Бедов погорячился и утратил всякое чувство меры. Простим ему эту горячность, сделаем над собой усилие и на время согласимся с основной посылкой его трудов. Допустим, Достоевский существовал. Какие же выводы делает гражданин Бедов из этого домысла? Достоевский, видите ли, утверждал свободу человека. Свободу от чего? Не мне объяснять вам, что человек не может быть свободен от общества. Гражданин Бедов вычитал у Достоевского мысль о том, что человек – это не фортепьянная клавиша. Но элементарный опыт доказывает, что если нажать на клавишу – она поет, если нажать на человека – он тоже поет. О чем же тут можно спорить? Гражданин Бедов явно не в ладу с фактами.

Но и это еще не все. Гражданин Бедов вслед за Достоевским уподобил общество странному хору, в котором слышны отдельные голоса. Однако нетрудно убедиться, что в настоящем хоре никаких таких голосов не слышно, все поют одинаково. Даже если какой-нибудь пегодаий надумает закричать отдельно от остальных, его все равно никто не услышит. Так что кричи не кричи, гражданин Бедов. Я ваш намек понял и думаю, что вы тоже усвоили, на что я в свою очередь намекаю.

Странное впечатление оставляют мысли автора о том, что всем нам свойственно какое-то дикое стремление к карнавалу, разнузданному веселью и всевозможным скандальным происшествиям. Мы все любим посмеяться – это верно, но про себя или в небольшой компании. Что касается иностранных карнавалов, так это уже ни в какие ворота не лезет, гражданин Бедов. Уж не намекаете ли вы на то, что наш народ хочет эмигрировать в Италию на карнавал? Здесь кроется мысль очень вредная; хотя мы понимаем, что вы разгорячились, обеспамятели и написали об этом не подумав.

В дальнейшем гражданин Бедов длинно и утомительно пишет о ложно понятом диалоге, о каких-то противоречащих самим себе словах и прочих неудобочитаемых вещах. Всему этому следовало бы дать надлежащую оценку, но, я думаю, и так ясно, что все это на редкость несерьезно и просто-напросто выдуманно автором.

Вырисовывается вот такая закономерность. Сначала автор выдумал некоего Достоевского, потом приписал ему всевозможные неверные взгляды, а в конце концов дал им совершенно произвольное толкование. И все-таки я бы не спешил с окончательной оценкой

бедовских писаний. Их печальный опыт открывает перед наукой прямую и широкую дорогу. Развивая ложное предположение, автор пришел к такому полному самоотрицанию, что теперь, думается мне, можно считать уже во многом доказанным: никакого Достоевского никогда не было. Будущие ученые оценят вклад товарища Бедова в науку. Он представляется мне кем-то вроде средневекового алхимика, даже не подозревавшего, во имя каких великих целей ставит он свои бесплодные опыты. Я думаю, несмотря на все свои заблуждения, товарищ Бедов вполне заслуживает высокого звания. Через тернии к звездам, дорогой коллега! Дерзайте – и ничего не бойтесь. Мы вас в обиду не дадим! Пооплодурим, товарищи!»

Лекаря послушно, хотя и несильно, рукоплескали, анархисты свистели и топали ногами. Бедов поднял руки и, казалось, грозил Бескудникову тонким дрожащим пальцем.

И вот тут начался в некотором роде пятый акт нашей комедии, закончившийся для многих ее героев довольно плачевно. Из середины зала, где сидели оттесненные комитетчиками онемевшие и обалдевшие гости, встал сутулый несветский человек. Всегдашняя бледность оставила его щеки, более того, они пылали, как будто от сильного стыда или негодования. Человек этот на глазах преобразился и стал похож на пророка. Простирая руку к Бескудникову, он вдруг вскричал мучительным голосом: «Опомнитесь!».

В зале воцарилась тишина. Было слышно, как у Бескудникова хлопают ресницы. «Кто вы? Я вас не знаю, — заговорил он не совсем уверенным тоном. — Прекратите скандалить. Вы находитесь на ученом заседании».

Не успел он это промолвить, как тут же получил в лоб вишневой косточкой. В руке мрачного офицера дымился старинный инкрустированный пистолет. Бескудников схватился за лоб, отлепил косточку и зачем-то спрятал ее в карман.

«Я бы попросил вас быть осторожнее. Ведь мы же серьезные люди», — сказал он еще более неуверенно.

Тут вскочил лобастый дядя и выругал его по матушке. Пробираясь между рядов, он громко сокрушался, что не был лично знаком с Достоевским, и уверял, что сейчас пожмет его честную руку.

Остроносый нелюдим что-то болботал по-птичьи, из чего можно было понять только одно: Бескудникова надо дружно перекрестить.

Французистый господин рассказывал по-прежнему торموшившим его дамам, что Бескудников – его крепостной, мошенник и плут, которого он проиграл в карты в 1820 году и с которым уж и не чаял свидеться. «Но какова дерзость, – восклицал он в сердцах, – бездельник выучился изящной словесности, предмету для низкой души немислимому, и уже врет о ней безбожным образом».

К этим словам печально прислушивался симпатичный господин, напоминающий школьного учителя прежних времен. Он смущенно покашливал и крутил головой, как будто ему жал воротничок. Тут вдруг распахнулись двери, и в залу вошел рослый вельможа в роскошном камзоле, окруженный многочисленной дворней. И без того потрясенную аудиторию ждало последнее испытание. Внимательно оглядев зал, вельможа указал на анархистов и гостей и молвил: «Это свои. Беречь пуше зеницы ока». Затем метнул свирепый взгляд на лекарей и приказал: «Холопов перепороть, забить в колодки, предерзкого их атамана поставить на рогатку».

Люди графа стали тревожить лекарей довольно увесистыми ударами и направлять их к двери. Дальнейший их путь лежал, как это ни печально, на конюшню, откуда вскоре послышался такой крик, какого не услышишь и в партийных дискуссиях. Может быть, это покажется странным, но анархистов никто не тронул даже пальцем, и они так и остались сидеть на своих местах, измененные страшными испытаниями этого безумного дня.

А вот Бескудникова ждал в этот день конец прямо-таки неприличного свойства. Он уж было совсем отбилсЯ от графских гайдуков и полез куда-то за шкаф, где рассчитывал отсидеться, как вдруг несравненная, немисленной красоты женщина описала по воздуху широкий полный круг, рассказала гостям про какого-то мастера, которого Бескудников погубил в свободное от работы время, подлетела к нему и ударила голой пяткой в лоб так ловко, будто владела приемами карате.

Бескудникова встретил лучший мир, куда он уносил воспоминания о хорошенькой ножке, так счастливо мелькнувшей перед его глазами и так немилосердно обманувшей самые чистые его ожидания...

Между тем анархия в количестве двухсот человек сотрудинок, взбудораженная случившимся скандалом, вывалила на набережную, чернея, прешла через мост, пересекла Дворцовую пло-

щадь и, не разбиваясь на ручки и рукава, прошествовала на Невский проспект, где смешалась с черной толпой, устремлявшейся к метро, и, пристроившись в голову толпе, увлекла ее под землю. Так закончился первый день моего пребывания в Институте.

* * *

«В одном черном-черном городе есть одна черная-черная улица, на ней стоит черпый-черный дом, в нем черпый-черный подъезд, в этом черном-черном подъезде – черная-черная квартира, там живет черпый-черный человек...»

Так я стоял на Фурштатской, у кирхи, где нынче смотрят старые боевики, а в фойе, чуть повыше нелепого панно, на котором с пафосом изображено светлое моцартовское крещендо восстания гладиаторов, висит столь любимая мною – большая и внятная! – фотография молодого Алена Делона с охотничьим ружьем и старого, опирающегося на костыль Лукино Висконти... Господи, как давно это было, сколько бессмысленной, но свободной, как небеса, воды унесла Нева, сколько молний пронеслось над моей бедной головой, по, слава Богу, еще много неприкаянных молодых людей зайдут в бывшую церковь, где вместо службы идет кино, вместо свечей продают мороженое, и двое усталых людей взвалили на плечи нелегкую вину – висеть фотографией вместо предметов культа во имя такой непрочной, надутой кинопроектором вместе с пыльной полосой света культуры...

Тоска брала меня за горло, посреди осеннего, с сухим зимним дыханием дня, когда хотелось даже не тепла, а дождя – невыплаканное небо было воистину свинцовым, ветер не приносил облегчения, а пронзал насквозь, и не было в нем морской свежести, этой отрады припортовых городов, которую так знают горожане, уставшие ловить запах моря посреди выстуженного камня. Я вспоминал иные времена, я вспоминал страшные сказки детства. «В одном черном-черном городе...» В пионерском лагере, в первом отряде, вместе с отвязанными ребятами из лагерного оркестра, мы сидели в палатке, спинами выгнув брезент, с девчонками, ночью, тесно прижавшись друг к другу, пили портвейн, немного, конечно, — две бутылки на семерых, и рассказывали друг другу самые страшные истории, которые нам подсказывала фантазия и скорая на исе детская память. Рядом со мной сидела Вапда, пятнадцатилетняя польская девочка, которая была, как я теперь понимаю, самой на-

туральной женщиной, в чем приняли участие и физорг Михайлов, и культорг Михеев, и юный горнист Михневич из оркестра, всегда так лихо стряхивавший слюну, набивавшуюся в мундштук его ободранной, пенстова свиристевшей дудки. Я любил Ванду, но я не хотел от нее ничего – я понятия не имел о том, что ее еще как-то можно приспособить для любви, как-то приладить к себе, – о чем порой неясно, но настойчиво повествовал Михневич, будивший нас по утрам особой, принятой в лагерях побудкой, похожей на крик зарезанного петуха.

Ванда была светлой, очень миловидной девочкой с сарматскими глазами, в которых Европа и Азия странно сходились – глаза были большие и голубые и в то же время чуть раскосые, восточной формы. Именно это, думается мне, волновало меня больше всего – я чуял чужую кровь, я чуял иностранку, и странные сюжеты, странные мифы томили мое воображение применительно к Ванде; она была не такая, как я; конечно, тоже славянской крови, но чуть иной, чуть сдвинутой куда-то вбок, и это тянуло меня к ней невероятно. Меня мучила жажда, но мне нужен был источник, а не вода, и я хотел припасть только к этой голубоватой польской крови. Все прочие девочки из моего отряда были безжалостно преданы мною отрицанию: чего стоило их жалкое щебетанье по сравнению с понятной, но чужой речью из ее уст, со всеми этими бесконечными, как шелест змеи, шипящими, со странным «л», с певучими интонациями и злыми польскими ругательствами, звучавшими для меня ритуальными формулами. Я тщательно, как только мог, скрывал свое чувство и не только потому, что был детски застенчив, но и потому, конечно, что ощущал в нем что-то позорное и предательское. от чего надо бы, да нельзя избавиться, а раз так – то хоть держать при себе. Ванда пила портвейн, задыхаясь, япил после нее, и душное горлышко бутылки, хранившее тепло и влагу ее губ, было как причастие.

«В одном черном-черном городе», – звучали детские слова, спина выгибалась брезент и ждала жуткого прикосновения извне. Жаль, я не помню, чем заканчивалась та страшная пионерская сказка...

Хлопнув тяжелой дверью, я вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице на четвертый этаж, мимо дверей, усеянных коммунальными кнопками звонков, прямоком к тете Але. Еще мгновение, и на пороге меня встретила маленькая, пузатенькая,

как бы беременная старушка – моя двоюродная бабушка и бывшая балерина, любовница великого князя, чудом не попавшая ни в эмиграцию, ни в лагерь. Она была соблазнительной и ужасной, нарумяненная старушка с подведенными лиловыми глазами, необыкновенно живыми и страстными, с яркими губами, из-под которых влажно мерцали ослепительной белизны фарфоровые зубы. Шелковый китайский халат в звездах и брызгах ниспадал до пят с ее круглых плеч, маленькие ножки прятались в бархатных туфлях без задника, с серебряными, инкрустированными пожелтевшей слоновой костью пряжками, в руке у нее был костяной веер, расписанный картинками из жизни французской знати времен великого упадка в канун страшной революции.

«Май дарлинг, ты заставляешь себя ждать», – пробормотала пласунья, выпуская меня в ужасный коммунальный коридор, где гроздьями висели лампочки, у каждого из жильцов – своя, и со стен лохмотьями свисали драные обои в подозрительных пятнах, как будто на них успел поблевать и помочиться во время привала взвод солдат. «Экскюз ми, дарлинг, ответил я, хватая и прижимая к губам пухлую ручку в колючей броне колец и перстней. – Ай'м сорри». Совершив сей обязательный ритуал, мы прошествовали в огромную, квадратов в 40, комнату, где уже был накрыт стол, на который я не замедлил водрузить бутылку коньяка, добытую не без труда в близлежащем магазине. Глаза тети Али увлажнились и загорелись. «Ты милый, милый, – прошептала она, заводя взор кверху. – Ты не похож на все это ужасное, как нелепый сон, время. Мы будем пить и вспоминать прошлое, поцелуи, свидания, размолвки. И долгое ожидание встречи. О, мы умели ждать, как теперь не умеет никто».

Болтая о том, о сем, тетя Аля достала из шкафчика рюмки с матовой тенью не то времени, не то особой техники стекла и, ласково протирая их салфеткой, все повторяла о том, что мы будем пияцествовать до утра, всю ночь напролет, что мы встретим рассвет и на лихаче помчимся на «Виллу Родэ», на Острова, где юноша с античным локоном и андрогинной поволокой в глазах пошлет ей черную розу в бокале, а она, презрительно прищурясь, шепнет мне на ухо: «И этот влюблен». Да, тетя Аля любила выпить, но и то сказать, что еще могло порадовать ее в такой простуженный денек.

Коньяк уже темнел в рюмках, но сначала мы выпили шампанского из замороженной бутылки, и только я надкусил яблоко, вонзая заледеневшие зубы в его теплую мякоть, как в комнате воз-

пик неясный звук как бы где-то сорвавшейся струны, и мне показалось на миг, что все преобразилось – нехорошо обострились и словно ощерились углы, качнулась и мягко обозначила очертания как будто фигуры портьера у окна, и лицо тети Али искажилось – о, только на мгновение, но меня взяла мимолетная оторопь, и сердце предательски сжалось и сделало засечку, точно в приступе аритмии, да и воздух вроде сгустился и толчком застрял в горле, но тут же все прошло, я встряхнулся и, прогнав видение прочь, хлопнул коньяку. «Ты выпил без меня», – воскликнула тетя Аля, тут же передернула копыточку, и мы понеслись на всех парах.

«В тот вечер – он был божественно прекрасен, июньский вечер с матовой полночью, когда прохожие скользили тенями вдоль улиц и проспектов, и Арлекины, казалось, возникали тут и там, цвета смешались и помрачались – и в этот вечер я танцевала, как богиня, вся в изгибах, в стонах смычков, в рыданиях – и горничная, что раздевала меня в эту ночь – с каким восторгом, с какой болью и страданием я ударила ее, вложив все восхищение этой минутой власти, экстазом, самопоением, – я целовала ее в слезах, она любила меня, и я ударила ее, чтоб она помнила меня такой, как я есть, – о, я была жестока, я отдавалась, я помнила, что вся, как взмах хлыста. Потом пришел мой милый, мы предались утехам страсти, и губы мои были в крови, а руки в синих пятнах. Я стонала, и стоны были как пенье струн, рыдающие звуки наполняли спальню, я танцевала в простынях – лежа в постели, я продолжала танец, и мой партнер был так неистов, так нежен, так жесток, так холодно расчетлив в любовной схватке.

В минуту великой нежности, поторапливая содрогания, я дотянулась рукой до револьвера, взяла курок и приставила дуло к его виску. Висок был влажен, сталь скользнула, еще секунда – я не выдержала бы и выстрелила, отчего – Бог знает, любовь и смерть – вечные сестры, конечно же, потом я застрелилась бы сама, да и то сказать, для нас обоих было бы оно и к лучшему. Умереть в танце, не переводя дыхания, уста в уста, в горячей любовной игре – а вместо этого бунтания, разлука, голод, советские газеты с тошнотворным, никогда не бывшим языком. Бунтания была ни к чему – она лишь оборвала мой полет, оборвала крылья у бабочки и вот – осталась одна пыльца и память об узоре крыльев, об их трепетанье, нежном, как поцелуй. Мой милый, мой несчастный, пей, тебе никогда не узнать, что такое жизнь – кто не жил тогда,

уж не узнает ничего, все мимо, все под поезд, под товарняк с теплушками, набитыми несчастными, которых везут на каторгу. У, проклятые... Но я отомщу, я покажу им, я не отдам им никогда, а без этого они ничто, вся суть их в этом, они будут пресмыкаться в ничтожестве, грызть прах у ног своих и обращаться в прах. О, я их низведу до полного презренья...» – тут тетя Аля стала потрясать кулачком и бормотать все невнятное, все злос.

«Сётнли, мэдэм, сётнли», – поддакнул я успокоительно и погладил ее по руке.

«Ты многого не знаешь и еще большего не понимаешь – да наполняй же чаши, бездельник, что за бестолковость, – когда-то существовало великое искусство, искусство, граничившее с безумьем. Т-с-с... Об этом можно только сболтнуть за рюмочкой, как я сейчас, об этом нельзя ни слова, о Боже, я испорчу тебя, но ты должен, должен знать, ведь ты – мой внук.

Безумие, мой милый, это страшно простая вещь, оно заключается в том, что все зло – в одном, и все добро – в одном. Так мнится безумцу. Это гордыня, которой порой удается настоять на своем, пересилить, утвердиться на новых основаниях – как бы от обратного, шиворот-навыворот или еще как-то. Да пей ты, бестолковый, завтра все забудешь, и слава Богу, слава Богу, слишком ты недоросль, чтоб думать о таких вещах. Так вот, безумье – это грех гордыни, и тот, кто в него впадает, полагает – впрочем, не без оснований, – что встретился с дьяволом накоротке, как мы с тобой, и перемигивается с ним так запросто, как я подмигиваю сейчас тебе. На самом деле, конечно, все находится в тончайших сочетаниях, все рассеяно в воздухе – и добро, и зло, они не смешиваются никогда, но и не смешиваясь проникают друг друга, и надо быть святым или безумным, чтобы рассечь волокна скальпелем и положить ингредиенты на чаши весов. Тот художник, о ком я тебе рассказываю, был горд и, следовательно, безумен, здесь арифметика, здесь детское простое равенство. Его томил чувство вины, сознание греха, и он вздумал избавиться от него разом, воплотив все зло в одном. Это был великий мастер, художник величайший – да, гениальный, и от него осталась единственная картина, он писал ее всю жизнь. И что ты скажешь, если замысел удался, если безумье оказалось верней ума. Не знаю ничего, но за эту картину они отдали бы мне все, они забыли бы и про свою великую бунтацию, и про нынешнюю перебунтацию, потому что это – зеркало, в

котором можно увидеть самих себя. Ведь они тоже полагали, что все зло - в одном, только они-то были бездарны, вот и вышло одно свинство. А он был величайший мастер и создал шедевр, понять который означало бы понять все. Но я заболталась, не слушай меня, это все враки, пустяк. Коньяк, пустяк. Но шампанское, что же мы забыли о шампанском?»

Я пачил ей целый стакан. Хмель как-то разом спал с меня, и я пристально следил за тетей Алей, холодно ожидая, когда она опьянеет. Некий план стал проклевываться у меня в голове. «Нет, это она не даром разболталась, в этом что-то есть, она знает, о чем говорит, она меня не проведет за нос», — думал я уже с какой-то злобой. Тетя Аля вышила стакан с жадностью.

«Они все рыщут, рыщут — ищут художественные ценности, так это у них называется. Ты заметил? Это какое-то наваждение, они, продававшие Ван-Дейка и Рубенса за паровозы и за понюшку табаку, они, гноившие искусство на корню, — они, как поганые псы со слюной и кровью на липких мордах, рыщут в поисках шедевров, чтобы набить сундук, у которого уже не захлопывается крышка, а быть может, открыть еще один музей, еще паноптикум восковых фигур, в котором тянет сыростью и холодом, как из подвала... Это болезнь, мой милый, прямая болезнь, потеря ощущения живой жизни, неверие в себя, в то, что можно создать еще что-то стоящее, подлинно великое. Все девальвировано, деньги, идеалы, ценности — и значит, надо нахапать побольше в прошлом, с которым, как не без удивленья замечают эти разбойники, они расправились не до конца. Они сами полагают, что искусство чего-то стоит, только если оно подернуто дымкой времени, — ведь там была воля, степь, девятый век, там были люди, не читавшие партийных постановлений, не учившие на слуху стихов о Ленине, невинные, чудесные, ласковые люди, упоенные свободой и счастьем, яркие, как летняя заря, с невыжженным паяльной лампой блеском в глазах, а не эти шуты, рабы, дилетанты. Великодушия и прозрения ищут они, и как они злятся, как они мнутятся, когда узнают, что кто-то прячет искусство, образ и подобие Божие, в своих частных квартирах, в тайниках или в каком-нибудь неприметном шкапчике, рядом с бутылкой ликера. Ликер... Мой милый, не выпить ли нам ликера, я сварю кофе — ты ведь устал и пьян, тебе пора встряхнуться. Но ликер! О, у меня есть заветная бутылочка в заветном шкапчике. Порою, ты знаешь, становится так грустно! Нет, это не грусть, это

тоска, великая передрассветная тоска – ведь я уже прожила отпущенную мне ночь бытия, все эти сумерки, промельки лунного света из-за мгlistых туч, я жду рассвета, рассвета смерти, когда оттуда ринутся лучи, и я проснусь, очнусь, воспряну от забвения существования. Это уже так близко, милый, так томительно и страшно и... сладко. Но не будем распускать нюни. Пусть я пьяна и непозволительно болтлива, я хочу еще восторгов, хмельных восторгов и – ликер! заветный, потайной!» – тетя Аля, пошатываясь, побрела к резному, темному, почти черному шкапчику, сняла ключ с шеи, достала бутылку, тщательно заперла шкапчик и, повесив ключ на шею, заправила его под халат.

Ликер был дьявольский – душистый пламень обжег мне горло, да и тетя Аля всплеснула руками и схватилась за голову. Настала минута последней капли – черты лица у тетушки расплылись и поплыли в дурашливой улыбке.

«Кажется, я перебрала, – вдруг пробормотала тетя Аля, указывая большим пальцем на грудь. – Сердце так колотится, будто выпрыгнуть хочет. Помогите мне, милый, я прилягу».

Подхватив тетю Алю под руку, я довел ее до диванчика. Лицо ее посерело, глаза закатились. Что-то еще бормоча о проклятых большевиках и истинных художниках, старуха стала отключаться, похрипывать и похрапывать, пока не впала в забытие. Краски вернулись на ее лицо, дыхание стало ровным и глубоким. Запустив руку под ворот халата, я достал два шнура – один с нателным крестом, другой – с ключом. Распутав и отделив их друг от друга, я приподнял тете Але голову, снял с нее ключ и бросился к шкапчику. Там среди бумаг и книг я нашарил свернутый в трубку холст, выхватил его с какой-то механической жадностью и прижал к груди. Сердце билось так, будто я обладал любимой, страстно желаемой женщиной. Затем, не забыв замкнуть шкапчик и повесить ключ тете Але на шею, я ринулся воп из квартиры.

* * *

Ночь я провел в ярких тревожных снах. Мне мерещилась тетя Аля в пачках, с глубоко обнаженной грудью, на сцене, среди сильфид, неистово пляшущая под дикие завывания смычковых и духовых – перед залом с матросами в черных бушлатах, то и дело поднимавших навскидку огромные стволы и постреливавших по сильфидам, у которых на белоснежных одеяниях расплывались

махровые красные пятна. Аля плясала все неистовей, в декадентских изломах и извилах рук и ног – и все злее стреляли матросы, казалось, шалевшие от ее танца. Наконец кто-то влепил ей блямбу прямо в лоб – кровь клюквенным соком заливала prime лицо, стекала на сцену, – Аля достала пуховку, промокнула, принудила и как ни в чем не бывало закрутила тридцать два фуэте, причем с каждым отбросом ноги из нее вылетали пули, и матросы валились как снопы, покрывая Алю такими ругательствами, что я ворочался во сне. Так она расстреляла матросию под корень, спустилась в зал и, пинками расшвыривая трупы, заглядывала им в лица и приговаривала, что где-то здесь должен быть ее внучек, оказавшийся, пардоннэ муа, вероломным мерзавцем и живодером, охотником до прекрасных картин, которые ему не принадлежат. А я лежал на сцене, среди сильфид, и всем своим телом вжимался в пол, призывая на помощь всех богов, чтобы Аля не догадалась и не поднялась на ристалище.

Внезапно из сна в сон перелезал огромный Волин во фраке с белоснежной манишкой и в лакированных туфлях, нелено обжигавших его медвежьи лапы. Он брал меня за горло и хрипло объяснял, что где свобода и воля, там преступление, это, брат, факт, но настоящий анархист знает, что здесь уловка, здесь капкан, и грех в него попасть, а главное, что непереносимо, – это смешно, невероятно смешно – тут Волин хохотал, живот, обтянутый манишкой, ходил ходуном, и я все боялся, что ткань не выдержит напора и непременно лопнет. Внезапно Волин мрачнел и, криво усмехаясь, замечал, что украсть не сложно, положить на место – вот загвоздка, и выжидательно глядел на меня. Тут возникал усатый, как морж, Ницше под руку с Достоевским, у которого в бороде была солома и сено, точно он почевал с Мармеладовым на барках. Делая вид, что меня не замечают, они болтали что-то о бледном престушнике, изведавшем счастье ножа, о дьяволе (диаволе, поправлял Достоевский, назидательно беря Фридриха за галстук), о серой его пошлости, посверкивающей вспышками огней, манящих, словно огоньки свечей на новогодней елке или лунном кладбище. Мучительно мне было слушать этот невинный треп, в котором, как в клубке шерсти, пряталось что-то укрывное, заветное, бездонно ясное и остро режущее своей невыносимой прямоотой.

Брат приходил ко мне, и тут я уже не понимал: сплю я или галлюцинирую, поскольку я видел ясно, как он стоит у изголовья

кровати и делает мне знаки, но ничего не говорит. Налитый свип-цовой тяжестью, я силялся подняться и срывался вниз, в проломы – кровать проваливалась подо мной, как лифт, и, екавшим брюхом считая этажи, я мчался вниз – брат глядел мне вслед, с далекой верхотуры, и я прощался с ним, мечтая о слезах, как о дожде, но слез не было, и голоса не было, так что я выл беззвучно. Ощущение болезни ворочалось во мне, как будто я занемог тяжелой формой гриппа или схватил воспаление легких, и одним из самых безобразных видений, примерещившихся мне, была круглая пыточная с вращавшимся полом, где я сидел, как на чертовом колесе, и все силялся встать и подобраться к маленькой дверце, а когда мне это удалось – пол перевернулся у меня под ногами, и я провалился куда-то вглубь, а пол прихлопнул меня сверху, точно крыпкой, и это уже был конец, неизбежный и неотменимый, когда б еще не существовала явь, к которой меня и возвала бапальная трель телефонного звонка.

Спустя мгновение, с помутившейся головой, стоя в трусах и майке у аппарата, я выслушал бодрое сообщение участкового о том, что моя бабушка, Александра Ивановна, скоропостижно скончалась этой ночью и мне, как единственному пребывающему в наличии ее родственнику, надлежит явиться к ней на квартиру, чтобы убедиться и засвидетельствовать факт смерти и озаботиться имеющими место быть последствиями.

Когда я прибыл с запаленным от безостановочного курения дыханием на давешнюю квартиру, там было все по-прежнему: гроздьями свисали коммунальные лампочки – у каждого из жильцов своя, лохмотьями свисали драные обои в пятнах, только в коридоре у телефона лежала тряпичная кукла, все, что осталось от тети Али, которая наверняка шла звонить мне – я это сразу понял, а уж с чем шла – то ли сказать мне, что ей стало худо и чтоб я приехал помочь ей умирать, то ли дорассказать что-то недоговоренное в нашей застольной беседе – она часто делала так поутру, то ли – и об этом я старался не думать – обрушить на меня проклятья за то, что я здесь сотворил вчера, воспользовавшись ее пьяной слабостью и бессилием. Мы с участковым подняли тело на руки – я за плечи, и голова моей бабушки беспомощно свисала набок, участковый, холодно отчуждавшийся с похмелья, – за ноги и перенесли ее в комнату, на диван. После этого участковый невнятно меня напутствовал и удалился, а я вышел к толпившимся в дверях со-

седам, которых сквозь тусклую печаль, что всегда вызывает вид мертвого тела, больше всего интересовало, сколько же мы выпили вчера, что крепкая на пьянку тетя Аля не выдержала и двинула коней. Я только разводил руками и бубнил, что выпили мы не особенно, как всегда, что Аля была в порядке, и, видно, пришло уже такое время, какое всех нас сторожит, и что хоть печально, что это случилось в пьяном виде, но тому Бог судья, а не мы все, недостойные судить о таких вещах. Тут я встретил полное сочувствие, тем более внятное, что все мужики явно хотели меня задобрить перед замаячившими вдруг поминками, с которых хоть по стакану, но все же должно отколоться и им.

В расхристанных чувствах я выбежал на улицу и пошел бродить по городу беспечно и безнадежно. Мне нужно было осознать то, что произошло, вписать себя в контекст новой, так внезапно перевернувшейся страницы, понять, кто и что я теперь. Так я внушал себе, силясь собраться с мыслями, но они расплзались в стороны, как тараканы по разобранному похмельному столу. Увы, о тете Але я думал совсем не хорошо: какая-то злость разбирала меня. «Угораздило же ее,— злился я,— помереть в самый неподходящий момент и оставить меня расхлебывать все это дурацкое варево с портретом, воровством и размазанным, как манная каша с малиновым вареньем по тарелке, дьяволом, который вечно сует свой хобот в каждую щель и вымогает у нас последние гроши нравственности, когда и так уже все пусто и нечем расплатиться даже по старым счетам. Ну что я теперь должен думать, что я должен делать с этой мазней, которую я так бездарно спер и которую я нынче же, даже не глядя, завез бы к тете Але, будь она жива, присочинив пустую байку о том, как она, поддавшись воздействию винных паров, подарила мне холст, а потом забыла, заспала... А теперь вот ей-то хорошо, счета сведены и снят покров земного чувства, а я еще должен влачиться по дольным весям существования и прозябать в ничтожестве и во грехе. Эх, тетя Аля, ну разве можно делать такие бесповоротные дела, и как теперь я должен поступать, как далее существовать?»

Непоправимым оказалось то пустяшное, что так легко и весело было бы исправить, я сходил бы в магазин, взял бутылку — не коньяка, так коньячного пунша или яблочной настойки, мы бы опохмелились, и я заслушался бы невнятицы о балетных интригах, о тайнах царского двора, о причудах страсти и странностях

любви, и вот все это, простое и естественное, было отрезано навеки глухой стеной.

Первое, что пришло мне в голову, было выпить и немедленно, чтоб помянуть по христианскому обычаю покойную и также привести себя хоть в мало-мальски должный порядок. Не помню, как я очутился на Васильевском, где на Первой линии спустился в пивной подвал и, повторяя кружку за кружкой, примостился к компании, ведущей бесконечный разговор о нашем печальном прошлом, о Сталине, при котором все было – и пытки, и икра, и колбаса, и лагеря. Сознание отуманилось, но меня не покидало нехорошее, тревожное беспокойство, собиравшееся в какой-то острый ком в груди. «Душа болит», – думал я тоскливо сквозь опьянение и инстинктивно пытался залить это ощущение влагой, но оно лишь притаивалось, но не проходило.

Между делом я познакомился с каким-то шестидесятилетним мужиком, который хоть и был при галстукe и с кандидатским удостоверением, но давно попал в незавидные обстоятельства и держался на плаву только посредством горячительных напитков. Сей муж предложил мне испить бутылочку сухого, сообщив при этом, что он торопится на день рождения к маме и задуманное надо делать скорей. Мы вышли из подвала, он подозвал какую-то крутившуюся около личность, обнажил содержимое своего бумажника – на взгляд там было рублей сто – и вручил личности червонец. Откуда-то возник жепственный подросток с лицом чистого херувима в кудрях и с нездешним румянцем и отправился гонцом в винный магазин. Пока мы стояли и курили, приспели три бутылки «Цимлянского», и личность предложила распить их в укромном месте. Так мы проследовали в кривой переулок и очутились в жалком сквере во внутреннем дворике дома. Там на скамейке сидел здоровенный с нататуированными перстнями на пальцах детина в обнимку с некоей девицей. Издав приветственное восклицание, уголовный элемент с интересом посмотрел на запитуху-кандидата и радостно осклабился. Мы извлекли бутылки и стали распивать, причем атмосфера заметно сгушалась. Ни пьяного разговора, ни дружелюбного посмеиванья – только торопливое заглатывание вина и неясная решимость довести начатое дело до конца отличали обступавшую нас компанию. Вино было вылакапо в несколько минут, и тут же кандидата взяли за лицо и принялись яростно шмонать, не забывая дать ему то локтем, то

кулаком под дых, по печени, по почкам. Я туло взирал па происходящее в оцепенении. «Где лопатник?» – допытывался вор, пока не вытащил бумажник из заднего кармана брюк. Удовлетворенная, компания стала приглашать меня последовать за ней и разделить добытое по-братски. Судя по всему, я был принят за своего, чуть ли не наводчика, честно заработавшего свою долю. Я невнятно отказался, и подонки моментально удалились, покуда кандидат наук достал изо рта вставную челюсть и, перетирая ее носовым платком, задумчиво заплакал, что-то повторяя сквозь всхлипыванья о дне рождения мамы, на который уже не удастся купить цветов. На это смотреть было совсем тяжело – я отдал завалявшийся в кармане рубль кандидату и побрел прочь. Улица наваливалась на меня, как будто сбегала с горы, меня обступали сплошной стеной магазины, лотки, витрины, люди в шутовской гурьбе кружились передо мной – но мне были странны и жутки они, меня брала оторопь, точно тут крысы и свиньи смешались в грязной игре, и виною этому был я, и все происходило не на моих глазах, а прямоком в душе. Но я еще брал себя в руки, и отчуждался, и замыкался, и уходил вглубь, вовнутрь собственного «я».

Между тем вокруг меня творилось черт знает что. Улицу словно прорвало, и наружу, как из вспоротой туши, вывалилась свинцово-кровавая требуха, грязные внутренности большого города, которые вечно расширяют его изнутри, грозя затопить собой площади и проспекты. Я видел, как в подворотне двое молодых людей с воровскими судорогами на лицах прижали к стене почтенного джентльмена в сединах и обрывали с него куртку и свитер, покуда он поспешно повторял: «Плиз, плиз». Я видел, как трое юнцов, свалив на тротуар только что горлопанившего мужика, весело метелили его ногами, норовя попасть по лицу, и наконец один из ударов - каблуком в затылок – заставил его затихнуть и окаменеть. Я видел сквозь застекленную дверь подъезда, как подросток с лицом подлового старика сношал в стояка проститутку, у которой с потного лица текла тушь, а физиономия была капризна и тупа. И долго я не мог отвести глаза от мерзкой сцены, в которой пьяная мать у винного магазина била по щекам пятилетнюю девочку, не то потерявшую трешку, не то разбившую бутылку, добытую на последние рубли. Воистину в городе торилось что-то неладное, и я бежал по нему, как запаленная лошадь по цирковому кругу под шелканье бича, свист и вой.

Что же это со мной творится? – стучало во мне.— Куда ни ткнусь, всюду приношу несчастье. Нет, все это не случайно, что то во мне такое появилось с недавних пор, что притягивает ко мне зло, как магнитом. Но когда, когда это началось? Когда я поступил на работу в Институт? Институт-то какой-то странный, вспомни всю эту публику на давешнем заседании... Нет, там нечисто, там неладно, вопистину это место не от мира сего. Или... постой-постой, ах, черт, что же это было такое»,—меня с болезненной ясностью пронзило ощущение, посетившее меня во время вчерашнего визита к тете Але, когда вдруг вся комната преобразилась и возникло чувство чего-то нездешнего, странного и враждебного, чужого самой природе человеческой. «Что это было?» – повторял я тупо. Меня вдруг охватило неясное воспоминание о том, как нечистая сила овладевает человеком, низводит его до положения автомата и механически манипулирует его поступками. Я так и ударился о мысль о воплощении дьявольского начала в человеке, и во мне все крепло убеждение, что с недавних пор я стал одержимым. Какой-то жесткий стержень, торчащий, как прут арматуры, все напрягался и напрягался во мне, и я с ожесточенным кулачного бойца молотил свою совесть, безжалостно коря себя за кражу портрета, на котором, как я вполне теперь был убежден, изображен не кто иной, как дьявол. «Теперь я уже попал в такую ловушку, из которой и выхода-то нет, кругом облом, все пути перекрыты!» – повторял я в ярости.

Неистовая злоба на себя закипела во мне, мне страстно захотелось сделать что-то против себя, причинить себе страдание, муку, от которой я взвыл бы волком. Несколько минут это ощущение владело мною безраздельно, нарастая, как зубная боль, только боль эта была не физической, а душевной, и я впервые понял, что беды телесные ничто по сравнению с нравственными мучениями. Внезапно натянутая струна лопнула, все существо мое размягчилось, и я застыл на глубоком надрывном всхлипе. Все мои помыслы вдруг обратились на покойную тетю Алю. «Бабушка, бабушка! – повторял я.— Ты умерла, а я и не пожалел тебя толком, я как камень – все о себе. Я весь одеревенел, ороговел, задубел в своей самости. Вокруг меня точно очертился заколдованный круг, и я уже не чувствую тоску по живому, теплomu существу, отошедшему в мир иной в одиночестве, без покаяния, без родственной поддержки в последнюю минуту...» Я просил тетю Алю простить меня

и не думать, что я бесчувственный негодяй. Я настаивал, что бесконечно жалею о ее уходе и готов принять наказание за все.

Еще не зная, что делать дальше, я вдруг поднял глаза и увидел храм на Паптелеймоновской, куда я успел тем временем добраться с Васильевского острова. Храм, обычно светлый, летящий, выглядел в сгустившемся сумраке почерневшим, заброшенным и покинутым и, казалось, не было над ним креста. «Вот! – внутренне прокричал я. – Вот и вся разгадка! Храм заперли на ключ, и служба не идет, а всему причиной я. Вот в чем вся соль – храм замкнули на замок!» Все мне было ясно, все стало на свои места, и хоть тоска сжимала мне сердце, но панцирь, в который' только что я был закован, уже хрустнул и свалился с меня, и мне было легко, хотя и невыразимо грустно.

Теперь я должен был все перевернуть. Жажда благого деяния, которое разом, махом все бы искупило и подвинуло меня на путь, охватила меня. В голове у меня закрутился ворох образов, сюжетов, и фигура Раскольникова вдруг выросла у меня перед глазами во весь рост. «Ну, вот и слава Богу, – заторопился я судорожно. – Все это уже исполнилось, написано, как сделано, и Раскольникову было, как и мне – о, это на случай, Достоевский все провидел, – только двадцать четыре, и целая жизнь была перед ним. Надо только еще раз переступить, но только в другую сторону – через самого себя, принять страдание и покаяться. Это он и сделал на Сеиной, преодолел себя, и все пошло хорошо. Все еще можно исправить», – думал я, а ноги уже несли меня на Площадь Мира. Дальнейшее я помню смутно. Помню, как я сетовал на то, что вместо церкви теперь здесь станция метро – ну что же делать, я перекрестился; на метро, потом я искал землю, но кругом был асфальт – асфальт мне было странно целовать, и я нашел клумбу с землей, встал на нее на колени и трижды приложился. Обычно бесстрастные жители не выдержали и указали на меня мимо проходившему паряду. Меня арестовали и посадили в патрульную машину, которая и отвезла в ближайший вытрезвитель.

Однако - как не сразу выяснилось - мне нужно было совсем не туда: в вытрезвителе я впал в глубокий транс, из которого меня не смогли вывести даже утром, и поскольку, как было установлено врачом, старым прожженным лекарем, болевшим сифилисом тогда, когда меня еще не было на свете, имелись налицо все признаки душевного расстройства, то и были вызваны санитары, которые

отправили меня незамедлительно в «Клинику подкожных болезней профессора Семирадского».

Старинный профессор Семирадский, человеколюбивый, как доктор Гааз, призывал милость к душевнобольным и за неимением действенных средств лечения пользовал их почти исключительно лаской. Семирадский мыслил широко и либерально, он начисто отменил все варварские способы воздействия на несчастных, каковы суть решетки, клетки, цепи, холодные карцеры, смирительные рубашки, литье воды на голову и прилепление к оной, бритой, мушек. Отменив все это, профессор столкнулся со сложной медицинской проблемой: все эти средства были негодны и в корне неверны, однако, как выяснил Семирадский, проведя обширнейшее и капитальнейшее исследование, никаких иных просто не существовало. Их не было в природе, и профессор натурально очутился на голом месте. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние профессора и пустоты, если бы основатель знаменитой клиники не оказался не только медиком, но и - по преимуществу - общественным деятелем, демократом, искателем непроторенных дорог. Однажды профессор, владевший английским языком лучше, чем родным, читал за обедом «Таймс». Между третьей или четвертой переменной блюд, взглядывась в убористо напечатанный парламентский отчет, Семирадский заметно поскущел: в России не было парламента, отсутствовала гласность, преследовалось свободомыслие. А между тем Семирадский был фактически как бы директор департамента - в его заведении была как-никак клиника, большие были те же чиновные люди, то есть граждане, носители патристических чувств, пусть уже и сошедшие со стези служения отечеству за поразившей их болезнью. Внезапная мысль пришла в голову Семирадскому. Он не мог ничего изменить в общественном устройстве России, он не мог ввести в ней парламент - однако в своей клинике он был полным хозяином, устроителем и реформатором, более того, во вверенное ему учреждение, по давно сложившейся традиции, не проникали посторонние взоры: оно существовало само в себе, что до Семирадского и служило источником всех и всяческих безобразий. Отныне, поклялся профессор, это обстоятельство послужит наконец благой цели, а именно: гласности, вольнодумству, свободному волеизъявлению. Пусть эти люди

больны и сплошь и рядом неизлечимы, что из того – оно лишь будет верной аллегорией всеобщего состояния умов и нравов. Зато они будут наконец свободны, они будут вести невнятные, но душевные споры, входить в оппозицию, неподцензурно говорить и мыслить и, быть может, издавать газету, хотя бы вестник или листок, пусть сумасшедший, но свободный, нестесненный в журнальных замыслах. Задуманное исполнилось, и кто теперь узнает, какие речи произносились на бурных парламентских заседаниях, кого прерывал председательствующий и что получал в ответ, о чем спорили в перерывах не расходившиеся до глубокой ночи обитатели «Клиники подкожных болезней». Архивов, увы, не сохранилось, а вот традиция, завещанная гуманистом, прошла через полтора столетия, вынесла все испытания и превратности – и не погибла, более того, осталась негленной.

Несказанно изменилась медицина, в руках у врачей оказались сильнейшие средства борьбы с разнообразными болезнями и не надо теперешней профессуре, как Семирадскому, противостоять пустоте, но заветы учителя соблюдаются свято: свобода высказывания больного – вот что является обязательным условием для врача, и нигде вас не выслушают так терпеливо и внимательно, нигде вам не создадут обстановку такой полной и всеобъемлющей гласности, как в клинике знаменитого профессора.

Надобно сказать, что именно это обстоятельство и смутило меня более всего, когда я попал в клинику и был выведен из транса посредством чудодейственного укола. В приемном покое усатая и совершенно седая женщина средних лет с пронзительными черными глазами ласково предложила мне рассказать все, что со мной произошло. Именно этого я как раз делать и не желал изо всех своих уже сильно оскудевших сил. Более всего на свете я боялся, что здесь узнают о моем преступлении, не станут лечить – а я понимал, что болен – и сдадут властям, которые незамедлительно заключат меня в тюрьму. Сознание мое было совершенно ясным, кристально ясным, но ясность эта опрокидывалась как бы вовне – все, что касалось меня, было темно и загадочно, все, что касалось окружающих меня врачей и персонала, становилось тут же прозрачным и проницаемым. Усатой женщине я тут же перевел разговор с себя на нее – я незамедлительно поведал, что по национальности она еврейка и это в действительности единственное обстоятельство на свете, которое по-настоящему ее занимает, так

как жить в нашей печальной стране, то есть порою даже ездить в переполненном и вечно пьяном злобном автобусе, ей по причине национальности затруднительно – нет-нет, да какая-нибудь пьяная сволочь напомнит, а кроме того, она страшно боится за детей, которые у нее даже носят двойные имена, а именно: в школе русские, а дома – родные, и вообще вся эта катавасия изрядно ее замучила, так что она всерьез подумывает об эмиграции, когда б не больная мать и общая неуверенность в своих силах на диком, как ей внушили с детства, Западе.

Все это я выпалил с ходу, без перерыва. Женщина густо покраснела и замолчала, внимательно меня разглядывая. Потом она достала бумагу, стала что-то тщательно в нее записывать – видимо, именно то, что я ей поведал, а потом, печально на меня посмотрев, сказала: «В доме повешенного о веревке не говорят». Этого я не понял, вернее, понял слишком буквально, мною себе представив, что меня здесь ожидают и повешенные, и веревки, и Бог весть еще что. Между тем печальная женщина сопроводила меня в палату и сдала с рук на руки врачу.

В профессорском кабинете, где висел большой, писанный маслом портрет Семирадского с остроконечной французской бородкой, меня как нельзя более дружелюбно встретил Восточный Человек в чалме и белом халате, небрежно наброшенном на черную офицерскую морскую форму. «Присаживайтесь, присаживайтесь, голубчик, – устраивая меня Восток, бережно поддерживая за локоть и мягко посмеиваясь. – Что у нас случилось, какие такие беды поразили нашу бедную головушку? Вы больны?» – вкрадчиво спросил врач.

Не будь дураком, я тут же ответил: «Нет». Дело в том, что я знал: первым признаком заболевания является упорный отказ больного считать себя таковым, его полная уверенность в своем здоровье. Поэтому, хотя сам-то я знал, что болен, я решил перебороть Азию и утверждать обратное.

- Зачем же вы здесь? – спросил Восточный Человек.
- Не знаю, привезли.
- А где вы, собственно говоря, находитесь?
- В сумасшедшем доме.
- Не в сумасшедшем доме, а в клинике. Здесь никого навечно не держат, здесь лечат – и очень быстро лечат, вы в этом убедитесь – и выпускают на волю к обоюдному удовольствию. Вы мне

верите? – спросил Азия так мягко и задушевно, что мне стоило больших усилий отклонить это его дружеское приглашение к сотрудничеству.

– Так-с, стало быть, вы здоровы. И, конечно, хотите домой?

– Да,— наврал я самым безбожным образом, призывая всех святых на помощь, чтобы врач мне не поверил и оставил меня в больнице.

– Отлично, вас сегодня же или на худой конец завтра отправят домой, хотя я и не поручусь, что скоро вы снова к нам не попадете. Не попадете?

– Нет.

– Ну и ладушки. А пока мы разберемся с одним маленьким обстоятельством. Вот тут вы объяснили нашей дражайшей Розе Марковне все ее проблемы в жизни, вплоть до национальности и семейного положения и планов на будущее. Это как же прикажете понимать? Вы обладаете даром ясновидения или уж просто так, фантазируете? Объясните мне поподробней, пожалуйста,— и Азия по-кошачьи прижмурился, трепеща от ожидаемого удовольствия.

– Я не ясновидящий, но вижу я довольно ясно, хотя и не все, и еще большего не понимаю,— ответил я уже вполне искренно.

– Ну и что же именно вы видите, ну, например, во мне? Не затрудняйте себя стеснениями, говорите откровенно и ничего не бойтесь.

– Я вижу вашу подноготную,— бесстрашно молвил я.

– Отлично,— так и взвился Азия, и у меня в глазах потемнело от мгновенного зрелища бескрайней степи с колышавшимися темными тысячами всадников.— Начинайте.

– Об этом не совсем удобно говорить.

– Разумеется, раз речь идет о подноготной, но это тем более любопытно. Прошу вас, приступайте.

Я еще раз посмотрел в мягкие бархатные очи Востока, а затем перевел взгляд на его маленькие нежные девичьи руки и полетел с горы под округляющиеся глаза врача. Я говорил о том, что у него не все в порядке с сексуальной жизнью. То есть нет, внешне все нормально: у него жена и дети, мальчик и девочка, которых он очень любит и даже носит в кармане их фотокарточки. Но дело не в этом: истинная жизнь врача протекает совсем в других эмпиреях. Есть у него постоянная любовница, и не в том беда – это по-

своему закономерно с его темпераментом и при прекрасном материальном положении. Дело в том, что эта любовница – маленькая девочка, пионерского возраста, да и сама связь носит странный характер, а именно – мазохистский. Врач всячески унижается перед своей пассией, просто ползает перед ней на животе и лижет ноги, а также просит ее бить себя, и именно это, равно как и детские годы любовницы, доставляет ему неизъяснимое удовольствие, так что несмотря на всю предосудительность сложившегося положения он ничего с собой поделать не может. Конечно, при этом он, так сказать, и воспитывает свою подружку, развивает не только физически, но и нравственно: носит ей книги из своей тщательно подобранной домашней библиотеки и вместе с ней читает, помогая разобраться в сложных перипетиях книг Пушкина и Достоевского, но, как я предположил, едва ли это в действительности способствует правильному развитию девочки после тех лимончиков и апельсинчиков, которые они вместе вкушают. Порою в нехорошую минуту врачу даже приходит в голову мысль о самоубийстве, так как он понимает, что совсем запутался и впал в разврат, и рано или поздно эта история может всплыть на поверхность, и дело кончится не только исключением из партии, но и тюрьмой, однако пока ему удастся еще прогонять эти мысли прочь, а удовольствие от встреч с девочкой так велико, что, как солнце, заслоняет собой все. И вообще, думает врач, будь что будет, ведь он исповедует восточный фатализм и полагает, что раз так уж сложились обстоятельства, значит, так тому и быть. Тут же я поспешил прибавить, что не берусь его судить, так как вижу здесь ясно лишь частный случай какой-то общей могучей закономерности, которую я не вполне понимаю, как не понимаю до конца саму жизнь и эрос, ее сердцевины.

– Все, – сказал я решительно. Воцарилось глубокое молчание. Азия забарабанил пальцами по столу и посмотрел на меня рассеянным задумчивым взглядом. Так мы промолчали несколько минут.

Наконец врач спросил меня:

- Вы «Лолиту» читали?
- Читал.
- Давно?
- Нет, совсем недавно.
- В первый раз?

- В первый.
- Она вас очень поразила?
- Да нет, не особенно.

Помолчали.

— Еще один вопрос. Вы так подробно здесь все описали, с таким психологическим пропикновением... Так вы, собственно, о ком говорили: обо мне или о себе самом? Ведь раз вы о том, что такое бывает, знаете, не может быть, чтобы сами вы нечто подобное же не чувствовали. Может быть, вы таким образом поведали мне о собственных проблемах? Не стесняйтесь, здесь вас никто не осудит и ничто вам не грозит.

— Да нет, доктор, у меня никаких таких особенных проблем нет. А то, что я это чувствую, это чистая правда. Но человек широк, вы же знаете, он может многое через себя пропустить. Просто мне все это внятно.

— Значит, вы настаиваете, что все это творится со мной и именно в том виде, как вы здесь все изобразили?

— Доктор, я ни на чем не настаиваю. Мне так кажется, и думаю, что я не ошибаюсь. Я только хотел бы вас спросить, если можно, почему такое бывает с человеком – не лично с вами, согласен, я могу заблуждаться, а вообще с человеком? Ведь тут-то я прав?

— Тут-то вы правы. Дело в том, что существует некий природный механизм: в то время, как человек причиняет себе нравственную или физическую боль, мозг выбрасывает в кровь химические вещества, которые, подобно опиуму, вызывают удовольствие. Видимо, это что-то вроде самозащиты или блокады, помогающей человеку существовать.

— И много таких людей?

— О, очень много. Вы бы удивились, узнав, сколь многие из ваших знакомых живут по законам отмеченного механизма.

— Да, дела...

— Дела невеселые. Однако вы меня серьезно заинтересовали, и с вашего разрешения я продлю ваше пребывание в клинике еще на несколько дней. Дело в том, что хотя согласно вашим остроумным предположениям неясно, кто здесь врач, а кто больной, я все же смею предполагать, что врач – я, а больной – вы. Надеюсь, вас это не обижает. Необходимо провести некоторое обследование, несколько, впрочем, для вас не обременительное и не обидное.

А потом мы или расстанемся, или продолжим наше приятное знакомство.

Дружелюбно улыбнувшись, Азия подал мне руку, я с чувством ее пожал. Потом он вызвал медсестру, и она проводила меня в палату и указала мне на мою постель. Вечером мне сделали какой-то сложный укол, после которого я впал в длительное беспамятство. В редкие промельки сознания мне все казалось, что меня окружают врачи, задающие мне разнообразные вопросы, на которые я под влиянием вколотого мне препарата не имел ни воли, ни сил отвечать уклончиво и резал всю правду-матку в глаза: и про портрет, и про тетю Алю, и про дьявола, и про храм, и про ограбленного мужика. Когда я вполне очнулся, я был уже полноправным пациентом «Клиники профессора Семиралского».

* * *

Потянулись дни моего пребывания в больнице, и здесь мне суждено было испытать три превращения духа: я стал верблюдом, львом и ребенком. Воздействовали на меня почти исключительно химическим путем - таблетками и инъекциями: почти – потому что не обошлось и без собственно духовного вмешательства. Возможно, оно и не было клинически самым эффективным, однако для меня, не ведающего таинств биохимиотерапии, решающим. Дело в том, что меня испытывали Пушкиным, личностью его и судьбой. Курс Восточного Человека заключался в том, что каждой палате раздавали литературные темы для размышлений: по одной на палату. Одним предлагали поразмышлять о Лермонтове, другим – о Гоголе, третьим – о Чехове. Нашей палате выпал туз – Пушкин. Колода была сдана в два счета, и вскоре я уже прислушивался к разговорам трех моих со товарищей, которых готовили к выписке, на мучительную тему о том, был ли Пушкин нравственным человеком. Именно так поставил и затвердил вопрос самый, по-моему, нормальный из нас, юноша с чистым, светлым и ясным лицом. Логика юноши была убийственно проста: Пушкин провел развратную юность, цинически наслаждался плотскими радостями бытия, безбожно переступал через заповеди: не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего своего и в конце концов получил фантом своей юности – Дантеса, как сам он в свое время, охотника до чужих жен, и круг замкнулся. Все.

Ему перечил атлетически сложенный молодец, утверждавший, что он сам неоднократно соблазнял чужих жен, и азартно восклицавший при этом: «Вот моя морда – бей!» Он говорил, что Пушкин смолоду был молод и вовремя созрел, что даже для преступников существует срок давности, и поэт не мог спустя десять-пятнадцать лет отвечать за то, что делал в мятежной своей юности, что Пушкин создал «Татьяны милый идеал» в ту пору, когда стал задумываться о своей судьбе и готовился вступить в брак, что, в конце концов, все получили свое: Даптеc – отставку, а не согласись он на дуэль, его выгнали бы из полка кавалергардов, Пушкин – пулю, что уже искупает все его земные прегрешения, поскольку он расстался и с жизнью, и с горячо любимой женой, и с малыми детьми. Все получили свое, остальное – молчание и Божий суд, а мы Пушкину не судьи. Парень говорил о том, что человек, написавший «Моцарта и Сальери» и «Капитанскую дочку», вызывает у него чувство благодарности просто за то, что такой существовал. И еще он говорил, что Пушкин – полубог, и наша хула и похвала не значат для него ничего, поскольку он находится слишком высоко – там, где все это его не достигает.

Третий – решительный анархист с львиной гривой и большими выпуклыми голубыми глазами, печально размышлял о том, что прав все же ясноликий, ибо жизнь Пушкина шла под знаком витальной силы, энергии, игры, в ней все – была борьба, в юности он боролся за то, чтобы иметь побольше любовниц, в зрелые годы – за честь дома, и все это не имеет никакого нравственного смысла – одна стихия и желание взять как можно больше, право иметь. Татьяну он называл пушкинской решительной неудачей, надуманным образом, который неожиданно и искусственно обрывает роман, тогда как правдой было бы показать ее просто светской львицей, понявшей, что жизнь – трезвая и жесткая штука.

Подавленный лекарствами, я сумрачно слушал спор моих товарищей и, как верблюд, волочил груз тяжелой обиды за Пушкина, тем более, что сам был не без греха и чувство вины все еще не покидало меня, как его ни гнали лекарствами.

Между тем первый юноша страстно проповедовал добро и чистое отношение к ближнему как единственный закон жизни, которому все мы подлежим и без которого существование обращается в идиотизм и дурную бесконечность. Он говорил, что искусство не искупает ничего, что художник – это прежде всего человек, то есть

существо, подверженное моральному суду, и писульки - будь они эстетически безупречными и гениальными - ничего не изменят в его отношении к художнику, их сотворившему, если в жизни он был дурным и низким человеком. Он вообще полагал художников за редчайшим исключением людьми грязными, пускающимися во все тяжкие в поисках ощущений и приключений и живущих по закону: «Я так хочу». Закоренелые эгоисты, они в то же время не чужды чувства идеального и, не желая погрязать в цинизме, создают якобы нравственные произведения, не являющиеся на деле таковыми, поскольку они не оправданы подлинной жизнью их авторов. Единственными по-настоящему достойными людьми юноша полагал тех скромных тружеников духа, что незаметно, в полной безвестности творят ежедневное добро по отношению к ближнему и умирают, не оставив после себя шедевров, зато совершив множество добрых дел. Именно так рвется кольцо зла, в котором пребывает человечество – когда из цепочки, разрывая ее звенья, выходит сначала один, потом другой, затем третий невидный праведник – и вот уже нет замкнутого круга. Что же касается искусства, то само по себе оно еще никого ничему не научило, нравственный закон существует помимо него и бьет совсем из других источников искусство же, быть может, не более, чем игрушка, тогда как реальные конкретные носители добра прямо воплощают его в себе, и это – единственный путь вхождения добра в жизнь.

«Скучно это»,— сказали атлет и анархист и махнули рукой. Я же отойдя от лекарств – а беседа наша тянулась день за днем, и я уже потерял им счет,— принялся яростно спорить, налетая на юношу, аки лев. Я твердил о том, что дурной человек никогда не создаст ничего положительно прекрасного и нравственного, что если Пушкин написал: «гений и злодейство – две вещи несовместные», то, стало быть, имел на это право: это слепок души его и это вылилось из чистого сердца, я уверял, что Пушкин дал своими произведениями нравственные образцы целой нации, что он имел мужество написать: «но строк печальных не смываю», и одним этим уже поэтически выразил и свое раскаяние, и свою тоску, и свою боль. Но вот беда: чем яростнее я доказывал это, тем больше сомнений закрадывалось мне в голову – нет, не по поводу Пушкина, которого, клянусь всем самым дорогим, я никогда не предаю, а по поводу художника вообще. Полноте, звучал какой-то голос во мне, да точно ли художник не может быть дурным человеком и

создавать высоко нравственные произведения, разве нельзя говорить одно, а делать другое, да и вообще дар есть дар, и в чьи руки он попадает – сие, как говорится, энигма, человек – такая хитрая bestия, что может отлично примирять идеал и низость, и из этого даже не сделаешь однозначного вывода, ибо он многосоставен, то есть сложно сочетает в себе и дурное и хорошее, и ничто как будто бы не препятствует ему после горних высот спускаться в дольные низины. И чего я вообще суечусь, думал я под спудом, ведь ясно – художники не ангелы, правда, и не демоны, просто люди как люди и пускаются во все тяжкие.

И тогда я сказал: «Что бы там ни было, я люблю Пушкина просто, не вопреки всему дурному, что было в нем, а вместе с этим дурным. Да, он не был святым, но на чистом мраморе не растут цветы». На этом наш спор не закончился, но моих товарищей выписали из клиники, а ко мне поместили новых повредившихся в рассудке ребят, которые были покуда не способны к литературным беседам, так что и я поневоле приумолк. Дар ясновидения или безудержного фантазирования начисто оставил меня, и я тупо следил череду дней, тянувшихся, как магнитная лента через звукосниматель, из которого неслись только страшные крики больных. Несчастные слышали голоса, приказывавшие им совершить то или иное непотребство, а то и смертоубийство, и в отчаянии старались перекричать этих ужасных вестников иных миров, а заодно и ругали матом прочих больных и обслуживающий персонал.

Что касается заведующего отделением, похожего на бравого полковника военно-медицинской службы, каким он вполне возможно и был, то он, обходя палаты, неизменно обращался к нам – и к самым плохим – с каким-нибудь оптимистическим вопросом, вроде: «Материалы январского пленума читали?», или: «Получили ли вы сегодня свежие газеты?», или: «Удалось ли вам усилиться в миттельшпиле?», имея в виду бесконечный шахматный турнир, который вяло продолжался в клинике годами. Часто ответом ему было тупое молчание, однако полковник неизменно счастливо улыбался, как будто точно знал, что со всеми все будет хорошо, и материалы январского пленума надо поэтому знать обязательно.

В целом в клинике царил умиротворенность и покой – врачи знали свое дело и были вооружены лекарствами до зубов. Цветной телевизор собирал у экрана всю компанию по вечерам. Больные не поспевали за сюжетом и смотрели фильмы довольно бессвязно,

изредка в задумчивости спрашивая – глухой у глухого: «А почему этот пошел к тому?» Ответом часто была какая-нибудь невятица или глупость, но ею неизменно удовлетворялись.

Мне было невыносимо скучно, и когда бы не легенда «Клиники профессора Ссмирадского», не знаю, чем бы я занял свой тоскующий ум. Дело в том, что среди части больных господствовало твердое убеждение, что мягкие порядки и даже ласка, царящие в клинике, это еще не все, что здесь есть. Ходили неясные слухи, что под зданием клиники вырыто огромное подвальное помещение, на столько же этажей в глубину, насколько сама она возвышается над землей. И вот якобы там, в подвале, находится еще одна больница, а точнее говоря, просто тюрьма, или застенки, где лечат, брат, не так, как здесь, а просто пытают и мучают, если врачи сочтут, что обычными средствами тебе не помочь. Я уж не знаю, кто первый изобрел эту легенду, но слух о существовании подземной тюрьмы ходил в клинике на правах самой твердой монеты, и меня самого порой охватывал ужас при мысли о том, что могут сбросить по вертикали, вниз, в подвал, откуда уже не будет выхода – я боялся этого тем больше, что знал за собой грехи и догадывался о том, что они известны врачам.

Прошло еще много дней, прежде чем страх оставил меня, пока наконец в одно прекрасное утро я проснулся в твердом убеждении, что все это – бессвязица и чушь. Тогда я успокоился и стал вполне равнодушен к тревожным перешептываниям моих недужных товарищей. Однажды, когда на сходку по поводу подземной тюрьмы, созванную героем афганской войны, я наотрез отказался идти, я поймал на себе веселый взгляд сиделки. Через несколько часов, когда я уже прилег и поспал, меня вызвал к себе Восточный Человек и сказал, что курс лечения оказался успешным, я вполне здоров и могу идти на все четыре стороны, на волю.

Когда я вновь появился в Свободном институте и отнес больничный лист в отдел кадров, меня не встретил никто, да и кто успел меня узнать за тот единственный день, что я успел провести в привале анархистов? Я пошел бродить по совершенно пустому зданию – был неприсутственный день, – заглянул в Древлехранилище и в XVIII век, в Пушкинский кабинет и в Отдел свободной любви, подразделение Декаданса, называвшееся «По ту сторону», читальный зал и библиотеку. Я уже собирался идти пить кофе, так как не встретил никого из начальства и толком не знал, что мне делать, как вдруг пере-

до мной выросла колоссальная фигура Волина, и свет на мгновение померк в моих глазах. Волин был явно смущен и старался на меня не глядеть. Мыча и переступая с ноги на ногу, он наконец спросил: «Где ты был, родимый?» – «Там», – ответил я. «Да? Ну, я так и знал. Ничего. Бог даст, обойдется, – неуверенно сказал Волин. – Это с нашим братом бывает. Как себя чувствуешь теперь?» – «Отлично», – искренне сказал я. «Ну и слава Богу. Давай тогда прямо к делу – чего время зря терять. Ты не успел сделать обязательное задание, которое должен пройти каждый поступающий в Институт. Из-за этого даже были неприятности, пока ты отсутствовал. Пойдем ко мне в кабинет». Мы поднялись по лестнице в кабинет Волина, и там он объяснил мне, что каждый вновь принятый работник должен пройти своего рода испытание, или тест. Новый сотрудник должен по предложенному ему тексту выписать набор наиболее ему понравившихся цитат, близких по духу. Затем эти цитаты анализируются, согласно чему делаются общие выводы об особенностях личности работника, и данный тест помещается в его личное дело. Испытание считается очень важным и во многом предопределяет последующую работу в Институте, а именно род и характер занятий, занимаемую должность и тому подобное. Честно говоря, я всему этому немало удивился: «Какая же тут свобода и воля», – заикнулся было я. Но Волин сделал решительный жест рукой и оборвал меня: «Такова традиция. Не нам об этом судить. Просто так надо. Да и никакого предопределения во всей этой затее нет. Это делается решительно со всеми, так что не обессудь». Мы еще немного попрепирались, и наконец Волин всучил мне книгу Ницше «Так говорил Заратустра», наказал выписать цитаты, штук до двадцати, оставил меня в кабинете и ушел. Я остался сидеть в задумчивости.

Но вот я стал читать и постепенно увлекся. Текст смутно напоял мне что-то, и прошло не меньше часа, прежде чем я понял, что это – Евангелие, столь же иррациональное и яркое, как великая книга, столь же поэтически и широко мыслящее, но – Евангелие без Бога, Евангелие от человека, где было место всей его глубине и высоте, но не было места лишь одному – святому духу, взамен которого вставала блестящая и пестрая, разноцветная человеческая душа. В то же время то и дело текст взмывал куда-то ввысь, точно силясь оторваться от земли, и это почти ему удавалось.

Увлечшись, я принялся выписывать цитаты, фразу за фразой, и скоро набросал уже пару листов:

Человек есть нечто, что надлежит преодолеть. Что сделали вы, чтоб преодолеть его?

Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтоб принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и уничтожение.

Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетели. Одна добродетель больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится судьба.

Я говорю вам: нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос.

Посмотрите на добрых и праведных! Кого больше всего ненавидят они? Того, кто разбивает скрижали их ценностей, разрушителя и преступника – но это и есть созидающий.

Посмотрите на правоверных! Кого больше всего ненавидят они? Того, кто разбивает скрижали их ценностей, разрушителя и преступника – но это и есть созидающий.

«Хотеть» освобождает: но как называется то, что и освободителя заковывает в цепи?

«Было» – так называется скрежет зубовный и сокровенное горе воли. Бессильная против того, что уже сделано, – она злобная зрительница всего, что произошло.

«Было» – так называется камень, которого не может приподнять она.

И кто не хочет среди людей умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов; и кто хочет остаться чистым среди людей, должен уметь мыться и грязной водой.

Гордость молодости есть еще в тебе, очень поздно стал ты юношей: но кто хочет стать ребенком, должен победить юность свою.

Есть мудрость в том, что в мире много вещей дурно пахнут: но само отвращение создает силы и крылья, предугадывающие источники!

Даже в лучших людях есть нечто отвратительное; и даже лучший человек есть нечто, что должно преодолеть!

О, братья мои, и в том есть мудрость, что в мире много грязи!

Иные души нельзя никогда открыть; они таковы, что сначала их нужно изобрести.

Я внимательно прочитал написанное, и смутное чувство неудовольствия посетило меня. Да, все было так, пожалуй, я мог бы

даже под этим и подписаться. Конечно, Ницше многое угадал – и во мне тоже. И все же ощущение исчисленности, несвободы, арифметического равенства между моей душой и чужим, пусть даже и очень пронизательным, текстом, томило меня. Я не хотел, чтобы меня вычисляли, я хотел остаться свободным. Одновременно я чувствовал какой-то восторг, который всегда посещал меня под воздействием хорошей поэзии - а книга Ницше была для меня как стихи. Мне неудержимо захотелось писать самому, писать, чтобы опровергнуть любое предвзятое мнение обо мне, чтобы вырваться на свободу, ради которой я ведь и поступил в Свободный институт. Я схватил бумагу и, бесконечно перемарывая и выбеливая листы, стал писать свой текст.

РЕКВИЕМ

Друг-приятель написал картину. Неопределенного возраста человек, румяный и седовласый, с гримасой боли или удовольствия на лице, одной рукой отдает честь – другую протестующе сжал в кулак. На шее, обмотанной портняжьим метром, развевается красный галстук, брюки спущены с могучих чресел, длинный уд затянут двойным узлом. Сзади, согнувшись пополам, охаживает человека топкой лозой палач в красном, подставляя под вспышку тусклое, до синевы выбритое лицо. Все залито мертвеющим магнелиевым сиянием...

Картина, названная «Пошив легкой одежды по заказам организаций», висит в мастерской, как крепкий паук в паутине изысканных линий бесконечных вьющихся в неостановимом танце женщин. Танцуют их волосы, свистит лоза, дразнит узкая пятка в воздушном плену прозрачного шлейфа и не находит оброненной туфельки... Приятель рисует одним неотрывным движением, аки Бог, и ни о чем не жалеет. Меж тем память прокалывают иголкой очертания иного лица, меркнут краски, и женские лица мрачнеют, напивается блеклым и тонко пробрызгивает утоляющий жаждущих шприц.

Перелом основания черепа – вот диагноз, да ни о чем не говорит. Упавший в пролет лестницы страдал душевной болезнью – не телесной, странно даже представить, что истончившийся просвечивающий дух покинул землю по причине грубой, протокольной. Он любил без видимых причин повисеть над пропастью на руках, страдал недугом самоубийства и сорвался однажды, как предрешено. Грохот аукнулся, газеты распечатали портреты писателя с больными глазами – лицо клиническое, изуренное, вопрошающее, тоскливо. Приятель запнулся на мгновение и разрисовал точку всплеском узоров и цветов.

Писать реквием выпало в удел художнику уравновешенному, почти бесстрастному. Сладость боли была ему введена, но горечь на небе не застыла доселе в мертвую плоть, не дергалась нервно щека, не стеклянея взгляд. Реквием он проставлял нотами, как по-писаному, и с небрежением отмечал, как холодна голова и мерно – стук в стук – сердце. Художник начинал фотографом в меблированных комнатах и гостиницах и сам с удивлением разглядывал, как его снимки раз от разу проявляли на втором плане нечто туманное – то очертания подстреленного тела, то чей-то взгляд с горькой усмешкой на челе, то женскую зарезанную любовью грудь, то монумент с ветвящимися, как от взрыва, трещинами и плесенью разложения. Так он пощелкивал по носу жизнь и веселил, легко смущая, публику бесчисленными изображениями. Миг самосознания приближался неуклонно и скрестился в фокусе с мигмом самоубийства, исполненного откровенной, грубой и восторженной силы уничтожения. Моральные проблемы, древние, как мир, поддумянило свежей непросохшей кровью, и эта шлюха, искусство в сурьме, белилах и помаде, пошла шататься по душе, и кукла визгливо заговорила, и деньги зашелестели из-под пера томительными шорохами и шепотами. Ремесло есть ремесло, рассказ надо было сдавать в номер, подмарывать корректуру и ждать гонорара, но нелепо распростертое тело запускало пятерню в полосы, и древесный лист вырезало из жести, прожилки набухали соком жизни, лист колко трепыхался по столу.

А суть была простой: покончивший с собой любил до страсти боль и жалил этой болью, как пчела. Проститутки, виселицы, девочки в заалевших платьицах, окопные солдаты, вздувшиеся трупы, таланты, снедаемые тоской, любовники, ненавидящие друг друга, – все пестро кружилось в балаганной карусели. Мелькали кружева, бинты

и кокетливые, округлявшие икру и колено подвязки, порхали летучей мышью саваны и исподние рубахи, били цветные – красные, черно-лиловые, оранжевые – базарные лучи. Над всем стоял поздний зимний рассвет, и желтый вымороженный льдистый город грел ладони домов над красивым цветком карусели. И вот уже какой-то студент, недужный и шалый, с парой приятелей шел морозным переулком к крыльцу под фонарем, в стойло разврата, испрашивал вина и, накрепко затягиваясь папиросой, в дыму и у коптящей лампы, мрачнел, заглядывая в подведенные глаза. Петарда лопалась и обсыпала конфетти, закуска прыгала на вилку, хлопала пробка, казалась млечно-розовое сало грудь – студент заболел. Фотограф терпеливо выжидал и, нагибаясь, шел по черному узорчатому следу в номера. Он подтыкал подушку под выморочную жарко-холодную голову студента, следил за бредом, сам вставлял слова и делал снимки.

Странная история мерещилась студенту наяву. Все оборачивалось: живые превращались в мертвых, мужчины в женщин. Он сам был непорочной девушкой под толстым слоем грима. Платье стягивало тугие бедра, круглилось на груди, сжимало ноги. Мучительные, жадные до плоти сны преследовали по пятам. Он уходил в сон с головой и отдавался безраздельно, он должен был отныне навеки прятать естество, скрываться в женской глубине, и бинтовать лицо, и рисовать пленительное личико. Он должен был ласкать мужчин, подставлять губы подо рты и думать только об одном: как бы не выдать свой секрет в последней дрожи. Так продавать себя за жизнь учила революция или реакция – торжество победителей было безраздельным, кругом стоял нахрап, двери срывались с петель, мебель ездил по комнате, шел обыск, искали литературу, оружие и драгоценности и находили нелепый примундирный кортик, растрепанный романчик «Белый вождь» и узенькую змейку золото-платиновых часиков, скользивших с дрожащего запястья.

Заступников отныне не было, один-единственный лежал в полете, скрипела обуглившаяся карусель, и половые обносили припозднившихся трактирных постояльцев холодным чаем, деловито срезали головы, бросали под прилавок и ворчали на товар.

Фотограф поднимал с пола разбитое пенсне, вставлял в глазницы, по-кошачьи щурился. Ложась под ноги, он снимал девицу обнаженной: груди смотрели огромными матовыми белками с острым зрачком соска... А сумасшедший - что же он? Он наносил

визит генерал-губернатору и силился внушить: помилование выгодно властям, и сострадание растет в цене, история стучит косячками на счетах. Он криво усмехался, грозил юродством надругаться над юстицией и жалко умалял себя.

Фотограф пристально следил за эксцентричным поведением любимца боли и размышлял: быть может, в Англии, стране традиций, где знают толк чудачествам, сие имело бы успех, но здесь, в России, да в общем-то и в Англии, шуты страдания не знают милосердия. Впрочем, в этом был явный смысл, никогда еще – отныне же навеки – власть и интеллигент не сходились так тесно, не дрожала так отважно борода, не бухал об пол лоб и не постукивал лощеный сапожок. Вокруг уже цвела болезнь умственной сухости и вольного смешка и опухоль неначатой идеи отторжения от всех и всяческих основ. Будильник вздрагивал напором механического пульса, звонил истошно, и реальность дробилась на осколки фотографий. В каждой возникал студент в разодранной рубашке. Он умолял приятелей свести его к врачу, специалист прописывал бромистый калий, морфий, жизнь на водах, все возвращалось на круги своя.

Здесь был и ватник, и баланда, и рельс, и бревна, и жены, и прочие отъявленные члены семейств. Но власть и рыцарь, власть и – рыцарь Духа! Вот что важно: то душа дрожала, дух был строг и прям...

Тем временем проституированные женщины известного процента неприхотливо отправляли общественную надобность. Что толку протестовать – ведь тут процент и биология?.. Однако вновь студент ложился и заболел, в пролет срывался сумасшедший донор, фотограф делал снимки, проявлял и закреплял, и на готовый Реквием шутовливое метал письмо:

«Что касается девок, то по этой части во времена оны я был большим специалистом».

Удовлетворенный, я положил листы на стол к Волину и оставил ему записку: «Это все, что я могу вам написать. Анализируйте меня, а не Ницше во мне».

* * *

Я вновь пришел на Фурштатскую, я встал у решетки и посмотрел киноафиши, я заглянул в убогий сквер с вечно молчащим фонтаном. Потом присел на скамейку, закурил и прислушался к

себе. Сколько раз я был здесь! Этого не счесть никогда... Два дела привлекали меня, и одно дело было моей страстью – я ходил в это маленькое здание с залом на триста мест смотреть кино, другое же дело было моей привычкой, смешанной с любовью, – я навещал тетю Алю в доме напротив, и часто я делал то и другое, подряд, а порою предпочитал одно другому, зачастую выбирая кино, а не реальность. Как проклинал я себя в больнице, что в тот злосчастный день я не пошел в кино, вместо того чтобы идти в гости, напиваться, красть портрет. Портрет... Вот он, у меня в руках, все так же свернутый в трубочку холст – я поклялся не разворачивать его и не смотреть, что там изображено, поклялся, как будто от этого зависела моя жизнь.

Да, так вот, кино... Я мог купить сон за пятьдесят копеек, я мог забыться на полтора часа и увидеть чудесный мир, где все на миллиметр сдвинуто от жизни и так не похоже на нее. Я выбрал реальность. Тогда я заболел – а разве может хоть волос упасть с головы у посетителя кинотеатра, он защищен, вокруг него заколдованный круг, и темнота скрывает его, и мягкое свечение проектора гладит его вскользь. Однажды в детстве я видел, как в кинозале арестовали человека во время сеанса – внезапно включили свет, заломили руки за спину и вытащили вон. Как странно было это вторжение реальности в мир призраков, оно было для меня почти святотатством, как будто в заповедное убежище, в храм, в монастырь Великой Иллюзии ворвались, чтобы утвердить грубый, как наждак, закон. Никогда я бы не предпочел закон благодати, пусть даже такой убогой, как вечно рвущаяся пленка с американскими или французскими лицами, по-индейски размалеванными гримом для цветного кино и с чужими, приклеенными, как фальшивые бороды, дублированными голосами. Никогда!

Никогда... Нет, увы, жизнь обламывает нас, как спички; забавляясь, боги, как дети мухам, любят нам крылья обрывать – и я уже не тот восторженный зритель одиннадцатого ряда – перед проходом, где так хорошо виден экран, я готов смириться, все принять и получить свое... Я поднимаюсь на четвертый этаж, я звоню в дверь, я проталкиваю соседа в коридор и отодвигаю его рукой, я срываю печати с опечатанной двери. Вперед! Портрет, я должен положить его на место. Вот черный шкафчик из резного дерева, вот сломана его дверца, и на пол летят афиши,

программки, засохшие букетики цветов, старые книги и квари и фолио. Я достаю пожелтевшие фотографии и письма в ока- меневших концертах. Любовные письма – их я должен сжечь. Я перебираю их, не читая, я рассматриваю фотографии, открытки с видами Ниццы, Женевского озера, Монблана. Так я развали- ваю на обе руки всю эту рухлядь, в которой трепетала челове- ческая жизнь, пока не добираться до конверта с пометкой Соло- вецкого лагеря особого назначения и достаю тоненький листок бумаги, исписанный нетвердым старческим почерком. Я узнаю то, что читаю: мне рассказывала о судьбе своего отца тетя Аля, но только теперь я отчетливо понимаю, что это – мой прадед, моя кровь.

...Я встал, подошел к окну и долго глядел на освещенную луча- ми закатного солнца кипру, нынешний кинотеатр.

Прости, кино! Прощайте, чужие поцелуи, которым ты вто- ришь в забытьи, обнимая, как вместо женщины подушку, Лор Дешанель или Доминик Санда, прощай, Ален Делон, прощай его кривая усмешка на грустном лице, которое может быть и смазли- вым, и красивым, и прекрасным, прощай, автоматная очередь, под пулями которой горит и бешено темнеет белоснежная рубашка, прощай, невольно поэтизируемая жестокость! Прощай, прости!

И возвращаюсь в тот роман, в котором точку ставим не мы.

1988–1989 гг.

РОМАН, НАПИСАННЫЙ ОТ РУКИ

ЖЕСТКИЙ РАССВЕТ

Их жизнь была согрета мягким мерцающим туманным солнцем, светилом, которое сплетало в одну нежную нить лунный и солнечный свет, звездой, чьи острия лучей были рукотворно сглажены и мягко, как носом котенок, трогали ладонь. Когда сквозь путаницу трамвайных, троллейбусных и телефонных проводов, мимо людей, домов, мимо существования они приходили в тот дом, который остался безучастным свидетелем всего, что с ними произошло, осень сметала листву с деревьев, шел новогодний снег и таял на губах, тут же зацветала и надевала пестрый цыганский наряд весна, летящая в лето, лето спелым яблоком катилось в осень, круг замыкался, у него не было начала и конца. Маленькая комната, хранившая их вздохи и объятия, туго сжималась, как завязь, как бутон, и острый взмах ножа разил под корень, резал лепестки в росу и кровь, и каждый раз было мучительно и страстно это восшествие на плаху, это падение нераспустившегося, корсетом стянутого платья-цветка, как вмиг отяжелевшей безрассудной головы с помоста, под дальний гул толпы и раненые крики поездов. Рядом был вокзал, тьмы темнели, разъезжаясь по разъезжим сторонам, Россия медузой обволакивала пространство, кораллы фонарей рассыпали пригоршнями розовые угли, и темнота сгущалась в небесах, стуча в сердца. Тогда они теснее прижимались друг к другу, и единое, распростертое ниц существо — загадочный, лезвием рассекающий мякоть бытия Андрогини — возникало над городом, прячась в золотых уколах звездной пыли. Жизнь становилась вмиг опасной и ручной, точно наостренный топор укладывали в мягкий бархат. И луч сиянием скользил по заточенной стали и прятался в бархатную пыльцу. Тогда они...

Стоп! Здесь обрывается новелла и возникает роман. Жизнь не оставила от истории любви камня на камне. Судьба исполнилась, оглобли развернули. Он — умер. Она разбогатела. Россия вышла из берегов и не вернулась в них. И начался — роман.

К тридцати годам Таня Петражицкая открыла для себя закон существования: каждый человек на этом свете занимает свое — и только свое! — место. И если он об этом забывает, ему указывают на место. Вам случалось стоять в очередях, ехать в переполненном транспорте, входить в метро в час пик? Тогда вы, наверное, замечали, что присутствуете здесь, на земле, не только умозрительно, но и вполне материально, собственно физически; что у вас есть объем, границы, вес. Куда прешь?! — а вы, милые, куда? Ну, и я туда, и не обижайтесь, если задену локотком, ноготком, прядью волос, воздушной, как паутина. Место под солнцем! Ледяное место под раскаленным солнцем! Либерте, фратерните, эгалите — или смерть... И вечная война — всех против всех.

Когда Таня потеряла любовника, отгоревала свое, прижимаясь к кровати и пряча лицо в подушку — одинокая, как закатившаяся в угол обручальное кольцо, — настал день. Рассвет, утро, пронизывающий, как рентген, свет, высвечивающий дырку пустоты. Она встала на подламывающиеся ноги, посмотрела в зеркало, жалко улыбнулась и стиснула зубы. Впереди была большая свобода, полная неопределенность и советы друзей. Но Таня слышала только то, что ей хотелось услышать, и делала свое дело, раз за разом, упорно и методично настаивая на своем. Именно в этой методичности, за которой ей самой угадывался чуть пугающий автоматизм, заключался секрет ее предприятия. Ей было несладко, всем было несладко, тут еще с сахаром начались персбори, и Таня решила действительность подсластить. Все свои сбережения — около пятнадцати тысяч — она вложила в сахар, привозя его партиями в город, распределяя по институтам и организациям через систему заказов, собирая деньги у сотрудников, пуская их в дело и наращивая обороты. Прокручивая деньги через сахарную мельницу, Таня думала о будущем. Вскоре она создала фирму по сборке компьютеров из комплектующих азиатского производства, набрала штат молодых голодных парней, спуская их с цепи на бартерные сделки по продаже леса, с которых она имела ощутимый процент. Дальше пошли цветные металлы и эстонская граница. Она не успела заметить, как стала состоятельной, богатой, очень богатой. Она работала. Организовала издательство, печатавшее «фэнтэзи» массовыми сериями, купила типографию, создала банк, приобрела два корабля, ходивших в Гамбург и Роттердам, наконец, под ее контролем был уже концерн, называвшийся в соответствии с русскими купе-

ческими традициями просто торговым домом. Маховик вращался, загребая деньги широкими и все расширявшимися лопастями, и Таня по-прежнему бежала, как белка в колесе. У нее проявился дар общения с людьми, умения заявлять свое право и добиваться уступчивости или солидарности. Ее не только уважали, но и по-своему любили в том мире, который создавался усилиями таких, как она, и Таня не знала больших поражений или катастрофических неудач. Не было их и в интимной жизни. Но это — особый и отдельный разговор.

Всего у нее за это время было шесть мужчин, и с каждым любовью была всякий раз по-другому. Первый, кто вытащил ее из ямы одиночества, был Костя Висконти, и именно ему она осталась благодарной больше всего.

Константин Висконти происходил из старинного итальянского княжеского рода, упоминавшегося еще у Данте. Его предки попали в Россию в XV веке и оставили славный след в русской истории и культуре. Однако род захудал, а в советское время почти полностью погиб, так что сам Костя знал только двух оставшихся в живых его представителей, бывших его дальними родственниками. Родители его умерли, братьев и сестер не было, он был один как перст, и одиночество это — для него столь же естественное, сколь и неизбежное — только подчеркивала обрушившаяся на него болезнь. Еще до нее Костя получил отменное образование, закончив кафедру истории искусств Университета, и занимался изучением балета и кино. Он был балетоманом и киноманом, и мелькание розовато-белых ног балерин и летящая метель вспышек света и тьмы на киноэкране равно слепила ему глаза. В мире не было фильма, которого он не смотрел, и ни одна балетная премьера не обходилась без его участливого присутствия. Он сам снимался в кино в эпизодах у знакомых и друзей, писал сценарии, создал книгу о балете Дягилева, жизнь улыбалась и летела незаметно, как по шелковому полотну. Все было мило и прекрасно, он не осознавал себя, у него не оставалось времени. Тогда он попал в автомобильную катастрофу, получил перелом голени, ногу «зачили», начался остеомиелит, и он оказался инвалидом в тридцать с небольшим. Теперь он по несколько раз в году лежал в больницах, ходил с палкой, кряхтя, во всем же остальном вел прежний образ жизни, шатаясь по кинотеатрам и спектаклям и пополняя рубрики газет и журналов своими отзывами, статьями и заметка-

ми. Жить становилось все труднее, постоянно он нигде не работал, гонорары еле-еле позволяли свести концы с концами и выбиться из нищеты. Но у Висконти было еще одно достоинство, несколько смягчавшее жизненные удары, хотя, быть может, и вносящее свою горечь в его судьбу. Он был красив, и ни годы, ни болезнь не могли победить эту красоту. К нему влекло женщин, он любил их, и они отвечали ему тем же. С Таней он познакомился на выставке «Мир русского балета», куда она случайно забрела в пору своего одиночества, и вскоре стал ее любовником. Их связь продолжалась больше года, Таня все крепче привязывалась к этому странному любителю проводить жизнь в темноте зрительного зала, но в то же время то внутреннее одиночество и скрытый холод, которым веяло от Висконти даже в минуты, казалось бы, душевной теплоты, говорило ей о том, что долго они вместе не пробудут. Так и случилось. Костя изменил ей — вполне бесстрастно и так же холодно, как любил, и карточный домик их близости рассыпался, храня в памяти лишь те ласковые слова, которые он шептал ей на ухо ледяными своими губами, когда просил ее обо всем забыть и полюбить жизнь прежде ее смысла. Ласка была принята как дар, и благодарность не оставила Таниного сердца, но Костя уже был для нее только воспоминанием. Вскоре она увлеклась Витей Ополченцевым, актером и Костиным приятелем.

Ополченцева она узнала на премьере «Короля Лиры», за кулисами, когда его грубо размалеванное белыми и искусственными кровоподтеками лицо, казалось, светилось от внутреннего огня. Он играл шута и был похож на мальчика из концлагеря, худой, угловатый, резкий, как вынутая из ножен шпага. Еще не огойдя от возбуждения роли, он уже тянулся к ней, напрягаясь всем своим существом, он был натянут, как стрела, он был на войне, странной, бессмысленной и пугающей, словно побоище, и она боялась приласкать его, чтобы не задеть за живое. Когда зал отгремел, они поехали к ней домой и провели сумасшедшую ночь, когда она точно доставала его из кровавой бездны, а он, гримасничая и паясничая, просил новых падений, срывался и обдираал руки в кровь, заливая ее слезами и умоляя о пощаде. Он всегда играл, он жил странной жизнью, неумолимой, как у наркомана, он погибал и норовил угробить вместе с собой все, что попадалось на его пути. Гастроли, съемки, репетиции, радио и телевидение — все крутилось в бешеной круговерти, он звонил ей из Амстердама и Лондона, она встречала его в аэропорту и на

вокзале, внезапно он срывался с места и ускользал во тьму или рассвет, и только тонкая кожа на шее, там, где сонная артерия, выдавала пульс его безрадостного пьянящего существования. Он должен был представлять мир в образах, раскручивать карусель, на которой попеременно сидели взрослые и дети — соглядатаи его судьбы, — порою он казался ей выряженным в этот балаганный колдоворот вместе с четверкой цирковых лошадей, покрытых мокрыми от пота цветастыми попонами. Он не замечал ни отзывов, ни рецензий, ни признания, ни славы — казалось, он стоит под ливнем, мастерской с тонкими узловатыми натруженными руками, коренник, оскаливающийся на пристяжных. Он падал ниц, он преклонялся, умалчался, самоубийствовал, ничтожествовал — как будто хотел добить в себе последнюю каплю самости, чтобы, потеряв лицо, слиться с толпой, уйти в нее и растворить в гуще праздничное начало, которое нес собой. Таким же был он и в любви — самоубийцей, у которого нет времени на прощальную записку, и эта охота на самого себя, танец призраков в дожде и каплях росы были опасны, как взмах отточенной бритвы. Наконец она не выдержала и постаралась забыть его. Когда он вернулся из Голландии, без копейки денег, оборванный, голодный, точно он почевал под мостом, и с букетом тюльпанов, она не открыла ему дверь, потом не отвечала на его звонки, разом решив оборвать эту связь, которую он, на самом деле, и не думал удержать. Для него эта роль была сыграна, и он уже примеривался к другой. А Таня тем временем была уже с Сашей Лебязьевым, Витиным приятелем и учителем.

ПРОХОЖИЙ И ПРИХОЖАНИН

Кристофера Марло мучил холод. Одежда не грела, в вине — и даже в глинтвейне — всегда плавал лед, камин был промозглым, как погреб. Когда это началось, он не помнил. Может быть, в младенчестве окунули в мерзлую купель, может быть, в детстве обжег ладони о снежок. Теперь с этим приходилось жить. Он с тоской вздыхал и, казалось, видел пар, вылетающий изо рта.

Хуже всего были поцелуи. Женщина сгорала на его устах, но сгорала от холода, любовник был безлюбым, как безлюден брошенный дом. К таким тянет — это Марло знал, но сам он любил только горячих: позор стыда перед ними ломал и плавил его лед.

Пока он грел руки о неостывший еще чайник, на медь села одуревшая зимняя муха. Марло долго смотрел на нее. Он не любил мух. Но не потому, что был брезглив. Кристофер, скажем, знал за собой странное сочувствие и привязанность к паукам. Никогда в жизни никого из них он не убил. Паук был гном, домовый, крохотная и жалкая бестия, калека, урод и товарищ. Грех было трогать его. Муха же — прости ее, Господи — годилась только пауку на обед, и куда ее деть кроме, Марло не представлял. Вот бабочка, ломающаяся скользкая льдинка с пудрой пыльцы на узорах, милая детская игрушка, причуда и забава маленьких побирušек, слоняющихся по дорогам... Почему зимой нет бабочек, почему только летом, когда всего и так много, почему...

Кот ловил бабтерфляй. Марло оцепенело глядел на него, пока не перевел дыхание. Это был просто солнечный зайчик. Кот накрывал его лапой, думая прижать к полу, отпускал, пятился назад и бешено колотил хвостом. Зверя звали Энтони, он был черен, дик, плох и упрям.

Не далее как вчера Кристофер услышал лестное мнение о себе кого-то из соседей, вечно злословивших обо всем. Дословно: «Сволочь этот Марло, назвал черного кота христианским именем. Правда, и то сказать — лупит он эту тварь нещадно. Сволочь...» Помнится, он тогда еще поморщился, как от зубной боли: давным-давно он не трогал Энтони даже пальцем. Однако из песни слова не выкинешь — кот прудил, где попало, мочой, вонявшей рыбой, Кристофер бросал перо и бумагу, гонялся за ним, настигал, драл, учил. Все это было столь же бессмысленно, сколь глупо и смешно. Кот прудил с удвоенной силой, ненавидел Марло и боялся его как огня. Энтони был невоспитуем. Стоило хозяину встать с места, как кот стремглав бежал под кровать. Между тем кто кого взял в дом и кто кому был в действительности нужен? Не приходилось сомневаться, что в коте нуждался Кристофер, а не наоборот. Кроме скудной тощей пицци и жалкого тепла кот не получал ничего, все это он мог найти и на помойке, и в подвале. Не уходил он, вероятно, только потому, что полагал логово Марло своим логовищем, которое и метил так истово и злобно.

Энтони прекратил играть, сел и стал умываться. Кристофер долго следил за ним, наблюдал, выжидал и вдруг почувствовал, как у него чуть-чуть потеплело на сердце. Паршивый забитый кот любил себя. Он тер морду лапой — бережно, точно это было лицо, он

тер за ухом, лизал бок и пах. Это был и кот, и зеркало, и Марло следил за ним, думая о себе.

Взяв со стола шмат копченого сала в промасленной бумаге, хозяин развернул ее, отрезал добрый кусок и положил на пол у ног. Кот дико смотрел на сало. Острый запах был невыносим, убийствен, звал, дразнил и сражал, но хозяин, этот палач, изверг, исадаие кошачьего ада, мог обрушиться и прибить. Глаза кота приняли мучительное страдальческое выражение, казалось, он сходит с ума. Наконец, прижимаясь к полу, он пошел к куску, хотя то, что рабство есть грех, знал, и стыдился, и презирал в эту минуту, как и все живое, что создал Господь, самого себя.

Когда кот с урчанием вонзил зубы в сало, Марло осторожно нагнулся. Кот задрожал, но бросить кусок был уже не в силах, не в состоянии. Кристофер положил ему руку на загривок — все кошачье существо передернуло судорогой, и лапы разъехались в стороны. Давясь салом, Энтони был уже не рад, что попал в эту передрагу. Марло чувствовал себя негодяем. Он гладил кота и что-то ему шептал. Промелькнули мгновения, кот проглотил сало, дернулся и отбежал в сторону. Теперь он смотрел на хозяина с интересом и хрипло мяукал, казалось, порываясь что-то ему сказать...

Так и в этом роде повторялось много раз, день ото дня, пока Энтони не начал прямо при Марло красть со стола, в то время как Кристофер философствовал о том, что благоговеет он не перед котом, отнюдь! — но перед жизнью...

Однажды — как всегда нерегулярно — Кристофер Марло отправился в Божий храм, где имел обстоятельный, пространный разговор со священником, снисходившим до грешников как по долгу службы, так и по слабости сердечной. Кристофер хотел сообщить отдельные необязательные свои суждения, священник не терял надежды вернуть его на путь истинный, тернистый и тесный.

Марло поведал: призван созидать новое прекрасное, жить на лоне природы и любить — сие отрадно! констатировал священник — однако же... — но не имею ни досуга, ни средств к существованию! перебил его Марло, постольку занимаюсь сочинительством трагических пьес — святой отец поморщился, в дальнейшем убеждаясь все более и более, что в заблуждениях своих Кристофер упорствует и, натурально выражаясь, неменяем.

Искусство, утверждал Марло, есть искус трагического мирозерцанья — вот словоблуд! — христианство же трагедии не

знает, не хочет знать — опомнитесь, сын мой! — постольку церковь все принимает как ниспосланное свыше, как божий промысел — и смерть детей, и Родины погибель, и суд неправый, скорый алчный суд...

Марло замолчал и уставился в пол, пока священник укоризненно смотрел на него, думая пристыдить хотя бы взглядом. Духовнику не хотелось даже говорить Марло, что религия поглощает трагедию, включает ее в себя, делая одним из элементов широкого, подлинного, здорового и здравого взгляда на жизнь, на вещи, на себя. Он знал, что и Марло все это знает, что в том-то и беда, что выбор делают не на основе опыта и знания, а повинуюсь, пригибая голову под тяжкую отцовскую десницей.

Возьмем хотя бы катарсис, талдычил Марло, да что нам катарсис, вздохнул священник, он раскрепощает и просветляет естество — спасительна лишь вера, зрелище освежает нервы — страсти Господни размягчают душу, художник страстен, одинок и обречен на непонимание — а Гефсиманский сад, моление о чаше, а троекратное отречение Петра.

— Теперь Христос... — сказал Марло.

— Нет, полно, — оборвал его священник. — Довольно, ни слова больше.

— Хорошо, — согласился Кристофер.

Священник помолчал и вдруг сказал: «Может быть, если бы вам встретилась добрая христианка и она полюбила бы вас, вы изменили бы свои причудливые, да! греховные, да! взгляды и встали бы на путь».

— Я пойду? — спросил Марло.

— Ступай, — сказал святой отец, в задумчивости. Какая-то мысль наклеивалась у него в голове. Вдруг его осенило, и он схватил Марло за плечо: — Послушай, а может быть, ты приходил, чтобы все, что я тут тебе говорил, вставить в какую-нибудь лиесу, в диалог? Но ведь это, сын мой, это...

— Нет, отче. Прощайте. Простите меня.

— Запомни, милый, одну вещь, которую я понял только на старости лет: постороннему гораздо легче уверовать в потустороннее, чем прохожему стать прихожанином. Теперь иди.

И Кристофер ушел.

Энтони спал на кровати Марло, спал, как человек, на спине, положив голову на подушку и сложив передние лапки на груди. Ког-

да Марло отпер дверь, кот сперва только покосился, но тут же вскочил и оцетинился. На пороге стоял хозяин с гнусным грязным ирландским сеттером.

— Видишь ли, Энтони, — сказал Кристофер. — Святой отец сказал, что в храм Божий коты и кошки пускают, а собак — нет. Есть предание, что когда-то собака осквернила храм. Вот я и привел ее к нам. Не волнуйся, будете воровать жратву вместе, на пару.

Марло сел к камину, вытянул ноги, всем телом пытаясь согреться. Он сам не заметил, как задремал, — позади была бессонная ночь. Проснулся он от прикосновения живого, теплого, мокрого. Собака лизала его в щечку. «Энтони», — позвал Марло. Кот сидел под кроватью. Кристофер махнул рукой. «Ну что, ирландский пес, — сказал он. — Будем жить втроем».

«ПЛОХОЕ КВАРТО»

Александр Сергеевич Лебяжьев служил преподавателем Университета на историческом факультете, где пользовался большим успехом как блестящий лектор, ученый и душа-человек. Работа, казалось, не составляла ему никакого труда, и действительно, его лекции носили исключительно импровизационный характер, они возникали как бы из ничего, с полуслова, с оброненного словечка, из анекдота, шутки, плохой или хорошей погоды, слякоти или гололеда, из брошенного взгляда и пойманной на лету улыбки. Конечно же, за ними стояла изрядная эрудиция и систематический ум, но сама лекция была чистым вдохновением, а только потом — мастерством. Оставалось поражаться тому, как Лебяжьев умудрялся в рутинном процессе преподавания раз за разом загораться и вспыхивать и метать фейерверк образов, сравнений, метафор и парадоксов, засыпавших головы студентов новогодним конфетти. Разгадка — если она была — заключалась, быть может, в том, что Александр Сергеевич обладал, с одной стороны, незаурядным нервным потенциалом, а кроме того — счастливой способностью неизменно обновлять свой душевный состав, так что в нем не возникало неразложимых и нерастворимых душевных осадков, намагничивающих внутренний взор человека и не позволяющих ему мгновенно обозревать весь разноцветный круг бытия. Лебяжьев

порхал, как бабочка, и следить за пестрыми взмахами его крыльев составляло наслаждение аудитории. При этом он был симпатичным, добрым и нетребовательным к чужим слабостям человеком, украшавшим любую компанию, благо он не избегал ни женского общества, ни веселого застолья.

Таня стала близка с ним после одной из случайных презентаций, когда она, услышав какую-то его шутку, стала прислушиваться, вступила в разговор, засмеялась, пошутила сама и вдруг почувствовала, что этот яркий человек может быть для нее своим, домашним. Она пригласила его к себе в машину, отвезла домой на чай, а дальше все было столь же естественно и просто, сколь и приятно. Он не был страстным любовником, скорее он был порывистым и легко возбудимым, ранимым и беззащитным. Для нее он был как ребенок, вундеркинд. Житейски он был одновременно и человеком совершенно неприспособленным, и как-то по-кошачьи живучим. Инстинктивно она чувствовала, что у него есть большой, запутанный и сложный опыт, который не был — быть может, пока — для него грузом, он относился к нему легко, и она никогда не видела его мрачным или унылым, лишь тонкая тень грусти порою пробегала по его лицу. Он всегда куда-то спешил, поздно ложился и рано вставал, вечно никуда не успевал, и она точно знала, что не знает о нем в сущности почти ничего. Так или иначе, но связь с ним, не став крепкой, так и не прерывалась, и Лебяжьев был единственным мужчиной за эти годы, с кем она не рассталась до конца. Но верности ему она не хранила. И первым, кто доставил ей новые впечатления со времени любви с Лебяжьевым, был его ученик, студент и мечтатель Иван Ильин.

Когда она лежала с ним в постели в беззвучной тишине и глухой темноте, пока лишь огоньки сигарет кровоточили во тьму, она думала о том, кого Бог послал ей на этот раз: сумасшедшего? мистика? визионера? бродягу и шатуна? Воистину он был очень странным малым, страстным и странным — неприкаянный молодой человек с характерной для прошлого века внешностью, заставлявшей вспомнить Чехова, Леонида Андреева и Бунина: смуглый овал лица, делавшегося пунцовым, когда он краснел от гнева или стыда, замечательно красивые темно-русые волосы, которые она любила гладить, темные провалы черных глаз, в которых мелькала и пряталась бездна, жесткие усы над пухлой губой, обнажавшей белые, чуть звериные зубы. Ильин учился на историка и порою

глухо и невнятно говорил ей о том, что ему предстоит разгадать тайну российской истории, что он жизни на это не пожалеет. Для него все было тайной, потому что сам он был с секретом, как потайная дверь, ведущая куда-то в страшную зазывную темноту. Отец у него умер, с матерью, вышедшей замуж, отношения прервались, жил в общежитии неведомо на что, ни с кем не сближаясь, никому не доверяя и все больше уходя в разгадку своей тайны. Кажется, он писал книгу или роман — она точно не знала, он не любил откровенничать. Когда он слушал музыку или любил, она чувствовала, что по нему пробегает нервный ток и все существо как бы силится превозмочь саму свою природу и достичь чего-то высшего, а может быть, напротив, испытать падение и гибель. Как-то он рассказал ей о своих снах, в которых ему в яви и плоти представляли люди, давно ушедшие, известные только по книгам, и говорили о вещах столь тягостных и загадочных, что он готов был плакать и молиться. В то же время в учебных делах он был настолько целеустремлен, последователен и требователен к себе, как будто вовсе не знал этого чувственного перенапряжения мысли. Когда она видела его конспекты, которые он вел в библиотеке с никогда не изменявшей ему аккуратностью, Ильин казался ей просто прилежным учеником. Но однажды, когда она проснулась на рассвете одна, она услышала, как на кухне спорят несколько голосов; встав с кровати и осторожно приблизившись, Таня увидела, как он, находясь в состоянии не то возбуждения, не то медиумического полусна, ведет разговор с кем-то невидимым. Этого оказалось довольно. Как ни был он ей интересен и мил, отныне он стал для нее просто неприятно-странным субъектом, не мужчиной, а существом с поврежденными нервами, и она постаралась уязвить его гордость, так что он отдалился от нее. Впрочем, он продолжал интересоваться ее, и она не выпускала его из поля зрения, порою не без удовольствия встречаясь и болтая о том, о сем. Так однажды она узнала от него о мелком мошеннике и негодяе Разецком.

Дело обстояло так. Знакомый Ильина, Костя Петров, отправился на Львиный мостик снимать комнату со своими жалкими студенческими тысячами в кармане, и там его столь же гнусно, сколь и артистично обманул интересный мужчина с бородкой, который обменял на эти тысячи ключ от несуществующей комнаты.

Повинуясь не то чувству справедливости, не то желанию развлечься, Таня отправила на Львиный мостик своих людей, которым

после нескольких дней дежурства Костя и указал на этого типа. Его помяли и доставили пред Танины очи. Таня была отнюдь не брезглива — Разецкого при ней выпороли, а затем, так сказать, поработили, поручая ему различные мелкие побегушечные дела. Однако этот вор и шулер оказался не так прост, он умудрился приблизиться к Тане, оказал ей пару услуг, проявил способности, заявил даже право на суждения. Цинизм и экзистенциальный скепсис этого маргинала были воистину незаурядны, и Таня мало-помалу начала прислушиваться к его речам, усмехаться и ухмыляться, не переставая, разумеется, его презирать. Это была чрезвычайно грубая пища и все-таки пища, поскольку какой-то доступный его разумению смысл существования Разецкий, безусловно, осознавал. Кроме того, он обладал своеобразным чувством юмора, тесно сопряженным с инстинктом самосохранения: умел заговаривать зубы. Будучи у Тани чем-то вроде мелкого секретаря, он был ей по-своему необходим. Она это чувство не анализировала — Боже упаси! — и совсем уж постаралась забыть, как однажды, выпив лишнего, оставила Разецкого у себя и употребила его, как гурман, которого вдруг потянуло на вареный картофель. Больше этого никогда не повторялось и ей не пришлось ему даже ничего объяснять, шулер понял, что его использовали и выбросили, и не питал в этом отношении никаких иллюзий. Впрочем, после этой истории он проникся большим уважением к себе, так как его употребили по назначению. Тане он был по-своему предан, благо, он теперь около нее кормился, и среди своих полукриминальных контактов он открыл для нее один, значение которого, вероятно, и сам осознавал не вполне. Будучи человеком общительным, тертым и предприимчивым, Разецкий когда-то крутился во круг некоего Ренатова, который еще в советское время ухитрился ворочать немалыми деньгами, занимая одновременно солидное официальное положение в обществе. Когда начались перемены, Ренатов выпрямился во весь рост, отмыл деньги, гигантски разбогател, но держался в тени, ворочая суммами, которые были велики и по Таниным масштабам. Разецкого он среди прочей братии отличал, помнил, и именно Разецкий и свел полупоупендарного, полумифического Ренатова с Таней.

Господин Ренатов был темной личностью, настолько темной, что по сравнению с ним господин Разецкий мог показаться снопом света. Ренатов, казалось, не различал ни добра, ни зла, не помнил ни того, ни другого и вообще не отбрасывал тени как таковой.

Это была не циническая и не преступная натура, это была сама пустота — дыра, которая согласно таинственным, но вполне материальным законам притягивала, всасывала, измельчала и поглощала все, что летело ей навстречу, как бесследный жадный огонь, на который летят бабочки и мошка. Это был мозг, ставший желудком, нерв, разросшийся до чрева, пленный дух, обернувшийся голый плотью, и членистоногое существо. Член партии, член многих аббревиатур, Ренатов имел не убеждения, а простые и явственные желания преобладать и владеть. Лучше всего — ибо всего безличней и бесстрастней — на это годились деньги, поэтому он служил Маммоне и Ваалу, и город был для него только мельницей, где людская мошкара, сбитая в плотную массу, крутит грубые жернова, смоченные потом и кровью. Это было правильно, логично и неумолимо. Деньги возникали, умножались и пребывали, у них была своя магия, своя религия, Ренатов был их жрецом и палачом, в них он сгорал и воскресал, в них самоубийствовал и казнил, актерствовал и восставал духом. Это было его миром, и он, его последний подданный и необъятный властелин, был его частью, терявшейся в россыпи городских огней. Он любил переодеваться, чтобы стирать с себя внешность, как пальцы стирают с банкнот и монет лица императоров и президентов, а эти лица, впечатанные в пальцы, разносятся там и сям по рукопожатиям, поглаживаниям ямочек на детских улыбках и женских щеках. Он придавливал город долу, вжимался в него, срастался и растворялся, он царил и повелевал, будучи никем, просто хозяином золотой империи, не выходящим из тени. В тень он приглашал и тех, кто оказывался с ним рядом. Когда, подобно железному механизму, он делал любовь с Таней, печатая страсть, как деньги, она чувствовала, что попала под маятник, что в нее входит железо, вбивают кол. В нем была сила безвоздушной и неодушевленной махины. Даже желания господствовать над ней — хоть чего-то человеческого, в чем присутствовала бы слабость, понятная и потому простительная — она не ощутила. У Ренатова была душа паровой машины, душатопка, которой надо было задавать жару. Они сделали с Таней любовь, сделали несколько сделок и преумножили деньги, и Ренатов маячил за спиной Тани, не ощущая по-прежнему ни малейшего желания хотя бы поговорить с ней по-человечески. Это был первый Танин опыт такого рода, но опыт по-своему ценный, так как она увидела явственно и резко, что такое деньги и какая у них пси-

хология. У них не оказалось лица, и теперь сама Таня стала с тревогой всматриваться в зеркало, пугаясь, не стирает ли могущество безличия и ее собственный облик.

И все-таки у Ренатова была одна страсть. Он любил, ценил и понимал толк в редкостях, которые, казалось, воплощали для него собой бесплотный призрак денег, придавали им плоть, запах, объем и вес. В крепости, где он жил, гость мог увидеть выточенные из слоновой кости непроницаемые желтоватые Будды, благоухавшие сандалом сквозь мглу веков резные шахматные фигурки, золотые и платиновые пасхальные яйца от Фаберже, униженные бриллиантами шелковые веера и кисейные китайские опахала, старинные латинские инкунабулы. Особенно любил он редкие книги, эти слитки, в которые был выжат лимонный сок острого ума и виноградная гроздь опьяняющего таланта, тонко отгравированные покорными мастеровыми. Рядом с редкостями Ренатов как-то ужимался и умалился — он даже боялся их, сам не зная, за что. Расставался с ними он неохотно, как будто сдирал кожу с себя вместе с ними. И все же, будучи человеком систематическим, Тане он сделал подарок любви.

Это было знаменитое «плохое кварто», лондонское издание трагедии Шекспира «Гамлет», вышедшее в свет в 1603 году.

БЕДЛАМ И ВИФЛЕЕМ

Уильям сказал Кристоферу во время одной из их ссор: «Ты несчастный, заблудший, неосновательный, погибший человек. Ты дерзко начал, не сумел ни воспитать, ни образовать себя, превозносился и не возвышался духом, и ты плохо кончишь».

Марло ответил сразу, без промедленья: «Я родился в рождественскую ночь и умру на Пасху».

Рождество приближалось. Ни семей, ни друзей, ни любимых у них не было — вдвоем они были одни в целом мире, и между ними существовала странная, кем-то или чем-то намагниченная близость, притягивавшая их друг к другу. Праздник следовало праздновать, но где? с кем? — все это чистое безумье... А! Слово произнесено — они направили стопы, посмеиваясь над собой, в Бедлам, дурацкую обитель, сумасшедший дом. Здесь пользовал умалишенных знакомец Кристофера, старый пьяный врач,

который за уважение к его сединам и трудам, проявленное гостями без усилий, провел их к пациенту, заслуживавшему προσεχθηного внимания.

Больной был человек образованный, университетский, схоластический, что нисколько не мешало ему находиться в прескверном расположении духа, которое иначе как душевным расстройством назвать было нельзя.

Человек в холщовой куртке, представившийся Странником, страшно исхудал. Рукава были ему коротки донельзя, обнажали узкие, бесплотные, бескровные руки. Впрочем, Уильям тут же заметил — кисть изысканна, пальцы тонки. Быть может, умалишенный был даже и дворянской крови. Но глаза... Уильям жадно всматривался: глаза были больны, в них зияли провалы, от которых нас хранит Господь.

Неловко поприветствовав страждущего, Кристофер пояснил: они — пииты, сочинители, пришли поздравить с Рождеством, исполнить христианский долг. Странник мрачно прислушивался, казалось, он был из тихих, не болтливых. Но стоило Марло замолчать, как говорил один лишь Странник.

Он начал с того, что заявил: вся разница между ними не в том, что он в Бедламе, а эти двое — на свободе, сие лишь обстоятельство, случайное и прихотливое. Суть в том, что мозг у этих двух покрыт толстенной бычьей кожей, а у него содрали кожу с мозга, так что тот вибрирует, чутко откликаясь на дуновение извне. Так вы писатели... Витии... Пишете, конечно, о том, что прочитали?

Уильям с Кристофером переглянулись.

— Что же вы читали?

Кристофер сделал неопределенный жест рукой.

— Давайте обратим умы к Священному Писанию.

Четко, точно по книге, схоласт принялся цитировать Соборное Послание Святого Апостола Иакова — память страдальца была напряжена, как тетива.

— Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрек: и дастся ему.

— Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.

— Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.

— Человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях своих.

— Да хвалится брат униженный высотой своею.

Обратимся к комментированию, заметил схоласт взволнованно. Достает ли у вас мудрости? Молчание. Просите ли вы у Господа? Молчание. Просите ли вы с верой? Двоятся ваши мысли? И наконец: обрели вы хоть раз высоту в унижении своем? Ответ — молчание, комментарии излишни. Продолжим.

— Ибо кто слушает слово, и не исполняет: тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале.

— Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.

— Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем: тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

— Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но оболъщает свое сердце, у того пустое благочестие.

Тут Марло не выдержал и перебил, мол, как он может только и делать, что обуздывать свой язык, когда его как раз приходится прищипоривать и взнуздывать, занимаясь сочинительством, к которому он призван.

— Ты благочестив? — не обратил внимания на его рассуждения Странник.

— Не мне об этом судить... — начал было Марло.

— Ты веруешь?

— Ве-верую, — прозаикался Кристофер.

Схоласт захохотал. Вот, обрадовался он, вот, что и требовалось доказать. Заикаешься? Трепещешь? Слушай же, писака и заика.

— Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут.

— Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?

Марло смутился, и схоласт погладил его по голове. А вот что из всего этого проистекает, произнес он после некоторого молчания:

— Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вождедений ваших, воюющих в членах ваших?

— *Желаете, и не имеете: убиваете и завидуете, и не можете достигнуть: препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите.*

— *Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений.*

Странник сделал паузу и торжественно произнес, подняв руку кверху:

— *Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: до ревности любит дух, живущий в нас.*

Марло посмотрел на Уильяма. Ничего не выражающее сонное одутловатое лицо. От первоначального его любопытства не осталось и следа — Уильям нахохлился, как старая птица, и был где-то далеко.

Между тем Кристофер чувствовал упоение и страх.

— *Еще... — умоляюще обратился он к схоласту.*

— *Еще? — грозно спросил тот. — Будет и еще! Вот вам: обо мне.*

— *Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.*

— *И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и, если он соделал грехи, простятся ему.*

— *Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.*

— *Братия, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его:*

— *Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.*

Уильям тряс Марло за плечо. Уходим, скорее уходим, твердил он. И вправду, схоласт был вне себя: глаза, налитые кровью, пена у рта.

— *Скажите, — кинулся он к ним. — Я действительно продал душу дьяволу? Правду! Не смейте меня жалеть!*

Уильям отвернулся.

Марло стиснул руки схоласта.

— *Это неправда! — сказал он твердо. — Вы помогли мне сегодня, и Бог поможет вам.*

Ужас в глазах Странника затих. На смену ему пришло выражение зачарованного любопытства.

— Елка горит, рождественская елка горит, — закричал он, указывая на Марло пальцем. — Скорей гасите елку, спасайте детей!

Уильям вытолкал Марло прочь.

Они долго шли ночным праздничным Лондоном, встречали девиц и приятелей, болтали, отнекивались. На рыночной площади, прижавшись друг к другу, они слушали сладчайшую лютню божественного лютниста. Уильям, как камень, весь ушел в себя, и от него оставалась лишь телесная оболочка, чучело, пугало. Марло бил озноб. Мелодия уносила его все дальше и дальше ввысь, он умилялся, вздымался и воскресал, плоть и душа становились все ближе и теснее, еще мгновение, еще хотя бы миг, еще и — сладостный восторг пронзил его насквозь...

Лютня пылала.

БУРЯ

Ильин действительно писал книгу, и книга эта имела любопытную предысторию. В руки Ильина попала рукопись недавно погибшего писателя, знакомого его знакомых. Это был план романа, с заглавиями отдельных глав, и — первая глава, в которой описывалось, как молодая красивая богатая женщина запуталась в своих любовных связях. Вчитываясь в план, Иван понимал, что дальше читателя ожидало преступление, которое совершал один из любовников героини, поиски преступника, разгадка и — что было странным — счастливый финал. Все это он уже пережил в своей душе, сроднился с героями, наметил одного из них в злодея, начал писать и вдруг оборвался и замолчал. Сначала он не мог понять, в чем дело, что мешает ему скрипеть пером и метать страницу за страницей. Он сетовал и на свою лень, и на бездарность, и на позорное бездействие, в котором ему чудилась утрата долга по отношению к погибшему автору, но разгадка пришла к нему не с той стороны и осенила его внезапно. Вдруг и разом он понял, что проблема этой книги не в том, чтобы вылезти из кожи и превозмочь свои силы, и не в том, чтобы поработать в поте лица во славу нетленного искусства. Проблема была в другом. Здесь был чисто моральный выбор: чтобы написать героя-преступника, надо было совершить преступление самому, перешагнуть ментальную грань, разделяющую добро и зло, в

самом себе. Именно так обстояло дело, если хватало сил оставаться интеллектуально честным перед самим собой. И вот Ильин стоял на границе: или — или. Или оставаться невинным и нетронутым и оставить перо в покое, или пускаться во все тяжкие и отгадывать загадки Сфинкса. Чистота — это всегда целостность, искусство всегда разрушает хрупкую целостность бытия, колет ее на светящиеся кубики и разноцветные мозаичные кусочки и — выкладывает узор, в котором швы более или менее пригнаны друг к другу, заглажены и заштрихованы, спрятаны заподлицо. Так Ильин подбирался к проблеме преступления с другой стороны: мало того, что ему предстояло, выбери он творчество, стать моральным преступником, он должен был в этом случае стать еще и преступником метафизическим, то есть существом не смирившимся, восставшим и разъявшим мир в поисках новой — рукотворной и дерзостной — целостности. Более того, чем талантливее была попытка творчества, тем дерзостнее восстание сочинителя. Может быть, в этом заключалось искушение и неприятие самих основ бытия, надменность твари, возжелавшей быть творцом. Какое-то время Ильин лелеял мысль о религиозном творчестве, творчестве смиренном и послушническом, пока его мысли в этом направлении не столкнулись с разбега с мыслью одного из любимых его философов начала века о том, что религиозного искусства нет и быть не может. Иван додумался и до того, что художник не кто иной, как маг и колдун: разве не магией и колдовством является эта ворожба над жизнью и смертью оживающих под его пальцами кукол из тряпок и опилок, которыми он населяет свою реторту, вдвывая в безжизненную бездыханность дух и душу? Воистину это ведовство, и ведьмина ухмылка скользит по лику искусника, покуда он воистину свое перо и распушает кисть.

Ильин пришел во внутреннее смятение. Он ощущал, как в его составе стронулся с места потревоженный хаос, а ведь он даже не дотронулся еще чувствилищем мозга до вопросов о том, какая судьба ожидает его творение, выйди оно из-под его пера, в гуле людской молвы, что скажет толпа, а что — Сальери, как отзовется власть на ум, восставший в одинокой попытке овладеть сердцами читателей. Прошло еще какое-то время, прежде чем Ильин понял, что ему суждено было пережить кризис, посещавший многих художников, когда власть бессознательного начала отступала в их душах перед острым и целебным сознанием совести. И вот, зайдя к этому вопросу с другого боку — скиталец и мальчишеский му-

дрец, — он принялся писать с тревожным сердцем, на котором на- жгло уголь черным взглядом стыда. Он уже не мог вернуться на- зад, пределав этот длинный путь размышлений и разочарований, он зашел в искусство слишком далеко. И роман потек, как река, в неведомое и мучительно желанное устье.

Тем временем Витя Ополченцев переживал сходную драму: он снимался в кино и должен был сыграть криминальную, полную извилистых изгибов историю.

Витя подолгу всматривался в зеркало — лицо было его инстру- ментом, и каждую черточку его он должен был знать до тонкости, наизусть — и видел, как сквозь очертания изученного облика про- ступает другой, неведомый и пугающий. Что-то появилось в нем новое: ожесточенность и прорезавшаяся резкость, кривая нервная усмешка, уничтожавшая припухлость губ, ледяной взгляд, на дне которого пряталась темная глубина. Он не понимал, кто это: он или другой, сраставшийся с ним так, что он чувствовал, как в душу вду- вают иное дыхание. Раздвоенное сердце прыгало у него в груди, и иной раз он ловил себя на чувствах и мыслях, прежде никогда его не посещавших. Он испугался, ему казалось, он перестает быть самим собой и становится самым злым предателем — изменником своего лица. «Так можно загубить себя», — говорил шепотом впечатли- тельный Витя и, хватаясь за соломинку, открывал книги, в которых гении объясняли актерам тайну творчества и соблазн искусства. В одном из сочинений такого рода Витя открыл, что актеры бывают имитаторами, воплощениями, преобразителями и одухотворителя- ми. Имитатор дает лишь копию изображаемого существа, вопло- титель претворяет его в плоть и кровь, преобразитель перелагает реальность в нечто высшее, и, наконец, одухотворитель дает веще- ственный телесный зримый облик духовному началу, открывая ему доступ в свету сует. Витя был честен и нечестолюбив, и все же, по- ложа руку на сердце, он понял, что принадлежит к последнему — и высшему! — типу актера. Он, в сущности, всегда играл только добро и зло, свет и тьму, дух и плоть, и тайна его искусства заключалась в том, что эти спиритуалистические сущности он умел представлять в деталях, добирался до нюансов, знал толк в подробностях. Однако подробности всегда — так уж он был устроен — слагались в целое, и если он играл оттенки лилового или розового, эти краски всег- да восходили к первоначалам белого и черного, то есть он не был ни имитатором, ни копиистом — он был служителем и воином, или

точнее — был призван к тому. Казалось бы, он должен был испытать гордость: книга пабивала ему цену, однако вместо этого он ощутил страх. Одаренность, которой он обладал, могла стать проклятием, думал Витя, он вдруг понял, что то, что он делает в своем актерском ремесле, во многом принадлежит не только ему, что, будучи посредником, он может стать медиумом, связным между этой и той реальностью, а тут нужны были осмотрительность и твердость, которыми Виктор не обладал.

Лучше бы я всего этого не знал, твердил он, бегая между зеркал, дробивших отражения, актер блажен, когда он бессознателен и глуп, поэзия должна быть глуповата, а уж театр — театр — глуп — и остр, как звериный оскал, в котором бритва инстинкта режет размягченный сыр ума. О Господи, на что мне эта премудрость, верни мне детскую неискушенность, невинность играющего ребенка. Так Витя строил рожи и играл в прятки с самим собой и забивался в укромные уголки. Но свет, блеснувший в его голове, уже не пропал, и Витя, скакавший на детской лошадке, давно свалился ей под ноги и получил удар, от которого не мог оправиться без посторонней помощи. Однако же у него были просвещенные друзья, и Витя, полный смятения и вдруг возникшей душевной пустоты, поспешил к ним навстречу, еще не ведая, что сами-то они запутались не хуже его. Разумеется, просвещенного разговора ни Лебязьев, ни Висконти, ученые Витины приятели, никогда не избегали, напротив, были к нему склонны всей душой. Во время одной из таких бесед Вите и суждено было узнать, что тяжкие сомнения и разочарования посетили не его одного.

Лебязьев рассуждал о сути преступления. Человек мечтает о счастье для самого себя, но для того, чтоб быть счастливым, необходимо быть любимым другими существами. Человеку нужен другой, необходимо понимание и сочувствие. Потребность в солидарности — закон существования. Однако стоит вступить в контакт с другим, как начинают действовать иные законы. Задетая самость, раненая гордость кричат, взывают к отомщению. Не нами сказано: люди похожи на дикобразов на морозе, они жмутся друг к другу и ранят своими иглами. Круг замыкается, человек нащупывает выход. Развязку предлагает преступление. Совершая его, преступник надеется освободиться от своей потребности в другом: он уходит от него за черту. Допустим, в кармане у меня оказался, условно говоря, миллион, я волен поступать, как мне вздума-

ется, я счастлив, свободен, сам по себе и — один, освобожденный от необходимости в другом. Быть одному и оставаться счастливым — вот философия преступления, вот его мораль. Механизм пущен, и следом в действие вступает другой закон: одиночество оказывается не условным и не ручным, оно становится реальным. Преступник, разрывая круг, выходит за черту добра и зла, и человеческие связи рвутся для него слишком болезненно и грубо. Назад вернуться крайне сложно, если возможно вообще. Выхода нет даже в притворстве, ибо и самый талантливый актер не может до бесконечности актерствовать с собственной совестью. Однако попытка освобождения остается настолько манящей, что на нее, как на огонек свечи, слетаются новые и новые люди-мотыльки, обжигающие в пламени свои крылышки. Каждый, даже и тот, кто догадывается, на какую приманку его ловят, хочет испытать радость освобождения на собственном опыте, а там будь что будет. Так круг замыкается снова.

Висконти, слушавший внимательно, подтвердил: отмеченная проблематика реальна и восходит она, конечно, в первую очередь к Достоевскому. Бледному преступнику деньги необходимы только как повод, как театральный реквизит, ему в действительности потребны радость ножа и загадки Сфинкса. В конечном счете все упирается в вопрос о свободе. Что это такое? Представляет ценность свобода как возможность многовариантного поведения или единственная свобода — это свобода от греха, то есть в пределе — безграничное смирение? Является своеволие частью свободы или это ее противоположность, ее обезьяна? Почему то, что уму представляется позором, для сердца сплошь красота и наслаждение? Как сузить всяческое хочется (хаос) до строя единого хочю (космос)?

Висконти размышлял о том, что Достоевского все же нельзя упрощать, что он, очевидно, понимал человека в единстве факта и идеала, ума и сердца, хочется и хочю. Сердце, превращающее позор в красоту, не было для Достоевского позором и помещалось внутри положительного полюса существования, а не извне. Трагическое самоуглубление личности — там и тогда, где богатство и смиренная нищета духа, многодушие и единство сталкиваются друг с другом, рождая катастрофический, то есть подлинно трагический выбор.

Жизнь это трагедия, сказал Висконти, цитируя подзаголовок балетной премьеры, на которой недавно побывал. Спектакль назы-

вался «Сомнамбула», и сюжет его был одновременно причудлив и прост. Герою снились сны, и весь спектакль представлял собой болезненную фантазмагорию видений. Во сне герой неистовствовал, окунаясь в греховный хоровод миражей и призраков, увлекавших его за собой, служивших ему и жертвами, и палачами. Рассудок спал, и персонаж был предан стихии воспаленных чувств, с которыми играл, потворствуя натуре, расколотой и не сраставшейся под гипсом дремавшей совести. Виденья становились все прихотливей, все изощренней, все изысканнее. Герой самоубийствовал и наслаждался. Театр теней мерцал, пылал, стгорал и не стгорал, теялся в чадном пламени багровых факелов и уносился с легким дымом газового сиянья фонарей. Естество разнуждывалось и снова взнуздывало себя самое. Наконец раздавался холодный звон литавр, сцену заливал безжалостный свет дня, и пробудившийся ото сна герой с ужасом обнаруживал, что рядом с ним лежит нож, вполне реальный — не меч Тристана, а клинок, отточенный и холодный, который он не то уже пустил в ход, не то еще приберегал для дела. Таков финал. И нож, заточенный, как бритва, всего лишь символ — самоубийства или убийства — это не важно, здесь другое: грезы наши, увы, так же материальны, как сталь, что ищет вонзиться в живую плоть.

Пока художественная братия предавалась умозрительным размышлениям, люди дела были погружены в насущные заботы. На днях Ренатов вызвал к себе Разецкого для укромного разговора. Суть была простой: Ренатов предложил старому мошеннику выкрасть один документик, существование которого причиняло ему некоторое беспокойство. Что-то он там неосторожно подписал, пообещал и поручился, а потом передумал. Все это было бы достаточно неприятно, но на радость существовал Разецкий с его бойким языком и ловкими руками. Ренатов знал, что плут в состоянии заговорить любого, остальное было делом удачи и случая. И то и другое до сих пор Разецкому не изменяло. Глядя в притонистое лицо подонка, Ренатов внушал ему быть осторожным: скандалы и неприятности были на сей раз особенно не нужны. Требовалась осмотрительность и деликатность, дело было тонкое, оно касалось сердечного порыва. Надо было и рыбку съесть, и на елку влезть. Впрочем, в Разецком Ренатов не сомневался: эти бегалющие глаза были настолько самозабвенно лживы, так лишены всякого намека на честь, что магнат понимал: он обратился по адресу. Он только

лишний раз хвалил себя за то, что был небрезглив и якшался со всякой сволочью, подымая ее до себя в нужную минуту, а потом сажая на скоростной лифт и отправляя в преисподнюю. Да, в случае чего он, не задумываясь, пожертвовал бы Разецким, как пешкой в большой игре. Пока же пешка двинулась в ферзи, рванувшись с квадрата на квадрат, и Ренатов вытер влажные руки.

Настало утро, и настал вечер. Компания стекалась в загородный дом Татьяны Петражицкой: Висконти, Ополченцев, Лебязьев, Ильин, Разецкий, Ренатов. Тепло и ярко пылали свечи, шипело и пенилось шампанское, темнел, пересыпаясь золотыми искрами, коньяк, ликеры лиловели, как праздничная ночь, и розовели, как румянец на девичьих щечках, и зеленели, точно хвост ящерицы, и голубели, словно весенняя таль. Поросяенок вождельно истекал соком, точившим аромат, гусь раздражал обоняние острым и плотным, словно тяжелая парча в золотых нитях, запахом, индейка, запеченная с яблоками, вострила нюх дуновением роскошного осеннего сада; пряно сочилась, как волшебный источник, пулярка, нафаршированная грибами, печенкой и хлебом, вымоченным в бренди и молоке. Собравшиеся, околдованные съестными дуновениями, окунались в ароматы, захлестывавшие естество и требовательно вонзавшиеся теплыми и мягкими иглами в потревоженную плоть. Плоть неистовствовала, и трапеза походила на обряд, причащение, ритуал, сонтие, восшествие на престол. Один за другим гости отваливались на спинки стульев и снова приникали долу, словно падали ниц и, коленапреклоненные, священнодействовали. Миги вожделения мелькали, раздраженные пиршеством, словно лучи звезды, и прятались в мякоть сытости. Алкоголь лился рекой, но русло ее было выложено бархатом съестного, и хмель не резал, а скользил, убаюканный самой сердцевиной чрева. Пьянели от еды, и все мятежное, тревожное, казалось, засыпало, свертывалось клубочком, как котенок, лишь чуть-чуть выпускающий коготки на лапах.

Пошел десерт. Сочная свежесть плодов и гроздьев, сок и прохлада, а следом — дымящийся мокко, и крохотные пирожные, и огромные куски тортов, кремы, взбитые сливки, мороженое и шоколад. Нет, господа, довольно слов, язык немеет, отступает, заплетается, глаза соловеют и обращаются зрачками внутрь. Какие могут быть тут речи, спичи, какой для них может быть повод. Полноте, господа, полноте...

Между тем повод был и, когда вынесли на инкрустированном столике подарок Ренатова — «плохое кварто» в роскошной кожаной папке — и торжественно представили его гостям, Лебязьев нашел в себе мужество сказать несколько слов о том, что доподлинно о Шекспире нам известно одно: такой человек существовал. И этого довольно. Ибо сам факт рождения и существования человека на затерянной в туманной млечности звездной пыли Земле уже настолько чудесен и загадочен, что, право, перед ним отступает в тень даже тайна творчества Шекспира. Важно одно: раз он существовал, значит, мог написать то, что написал, а как он это сделал — постом, молитвой, Божьим даром, игрой, судьбой, звериным нюхом — сие энигма. Да здравствует Шекспир и человек...

Столик отставили в сторону, гости потрогали «кварто», разбрелись по сторонам, собрались в курительной и снова разошлись кто куда. Острота вечера притупилась и спала, сонные гости собирались домой, и широкоплечая неповоротливая полночь уже ввалилась в двери...

Когда все разъехались, усталая Таня присела отдохнуть в зале. Вечер удался, все остались довольны, и она была удовлетворена. Ей даже почудилось, что в самом этом разгуле и сытом отвале было если не шекспировское, то шекспирианское начало. Не хватало, правда, чего-то острого, дразнящего, пьянящего. Немножко было скучно, и Таня по-женски заскучала о больших страстях, о тревожном счастье, о перенапряжении нервов, дарующем новое наслаждение.

Она подошла к столику и ласково погладила кожаную папку. Потом медленно и лениво раскрыла ее. Таня отпрянула. В папке лежала книжка советского издания, на обложке которой с грубой отчетливостью нагло значилось: Семен Бабаевский. Кавалер золотой звезды. «Плохого кварто» не было и в помине. Таня оперлась руками о стол. Минуту спустя она с ненавистью швырнула творение Семена Бабаевского в стену. Переплет лопнул, и пол усыпали книжные листы.

НЕРВ И ЧРЕВО

Кабак ломился от снеди. Густой пряный съестной дух обдавал с головой — сердце екало, желудок сжимался и обливался соком, лоб крыла испарина. Марло засунул ладонь под рубаху: сердце колотилось, как обезумевшие часы. Он стиснул зубы и застонал. Плоть бунтовала.

Принесли еду, и дубовый стол затрещал. Жареный кабан — нет, вебрь, утыканный чесноком, блюдо, заваленное ломтями телятины, запеченная в винном соусе, пьяная, как зюзя, индейка, гусь, начиненный яблоками, фаршированные овощи, жареный картофель и жбан имбирного. Уильям побледнел, кровь водопадом хлынула в чрево, и мозг осиротел. Дрожащей рукой он обмакнул хлеб в чесночную подливку. Послышалось чавканье. Кристофер с хрустом выворачивал ножку гуся.

Вкушали. Время остановило свой бег, по нервам ударило, как обухом, и, оглушенные, они свернулись котенком в клубочек, мозг покрыло салом. Оно было везде — на пальцах, на одежде, на глазах; смешавшись с потом, выступало на лбу. Уильям кряхтел, Марло осоловело жмурился. Еда вонзалась в тело, ерепенила сонную кровь, мягкий коловорот вращался в голове, земная ось, казалось, была поколеблена. Кристофер погрозил Уильяму просаленным пальцем и пробубнил, что это грех и что придет расплата.

Расплата пришла. Хозяин объявил им приговор, тут Уильям долго шарил по карманам, добрался до исподнего, все перебрал, перемусолил и вяло заявил, что обложился. Кристофер тупо отдал то, на что мог жить недели три, пересчитал оставшееся и вытолз из-за стола.

Он знал, что день пропал, что нынче ни строки, но чтобы привести себя хоть в мало-мальски должный вид, приличествующий сочинителю, потащил Уильяма на площадь послушать лютню, звуки которой он не мог забыть. Волоча ноги, они добрались до места и слились с толпой, сгрудившейся вокруг клетки с крысой.

Это была забава! Крысу поливали кипятком. Шкура свисала с нее лохмотьями, она была не серая, а розовая — крыса! — и писк ее был тонок, пронзителен и зловещ. Лица людей прояснили и прояснились: естество показывало свой хобот. Людям нравилась эта игра! В конце концов не они же сидели в клетке, не от них шел пар — все справедливо, весело и поучительно: крысе — крысиное,

людям — человеческое. Так устроен мир. Не нами, заметьте, не нами — не бунтуйте, милостивый государь, господин сочинитель, забавник, забияка и пиит. Вас тошнит? Пройдите напротив, у вас слабый желудок, он не держит съеденное.

Марло бежал. Он знал, куда — в таверну, где хмельное пропитало пол и паутиной накрывает лицо, точно носовым платком, когда лежишь на солнышке и уже лень бросать в попугая яблочную кожуру. Растолкав завсегдатаев, он бросился к стойке и принялся пить кружку за кружкой.

Фантомы, кругом одни фантомы... Битый Энтони, ирландский сеттер, доктор Фауст, священник, Тамерлан, схоласт, лютнист и — раненая крыса! Все это только грезы, подлунный мир, скольжение теней и — катакомбы, лабиринт. Сумеешь найти выход — увидишь свет, не сможешь — ослепительная тьма... Как будешь ты ориентироваться там, в четвертом измерении, когда не в силах разобраться здесь, на перекрестье линий. Живите опасно! Я жил опасно, я ломился в дверь, всегда открытую — как сумасшедший, я всегда дергал не в ту сторону, и вот подарок — крыса, жареный кабанчик с чесноком. Проклятье! Кто замучил крысу, кто затравил детенышей в крысином чреве?

Марло вдруг обернулся и с размаха ударил кулаком в смеющееся лицо. Смех был неуместен, непереносим. Тут же он увидел, как вокруг него огоньками заискрились острия шпаг. Кристофер выхватил кинжал и прокричал:

— Я сражался с испанцами в Нидерландах!

Укол в сердце был стремителен, холоден и — милосерден.

Уильям сидел за столом, подпирая голову рукой, и размышлял рассеянно:

— В пиве много аскорбиновой кислоты... Здоровье — от Господа. Аплодисментами вы от меня не отделаетесь, блудодеи! Убытки, убытки, кругом одни убытки... Когда же прибыль, где же? Кристофер... Гамнет, гм-гм, Гамнет. Бледный, одутловатый, жирный молодой человек. Крыса — каково, а? Людшики, мать их в пах... Игра всегда стоит свеч. За съеденное платил Кристофер. Мертвый пастух? Это стоит запомнить. Бегает, кричит, розовая, с хвостом, шура клочьями. И — пар... Кристофер мог бы подставить руку? Тридцать фунтов, налог, проценты, остается не более двадцати восьми. Не спугнуть бы, пусть прирастет. Ха! В хребтине щемит... Да нет, это понятно даже ребенку. Любез-

*ность и приятность манер. Легкое щегольство слога. Пустое...
Кристофер... Кристоферик.*

Шекспир прочел молитву и перекрестился.

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

Когда Александр Сергеевич Лебяжьев поспешал в театр на спектакль, он сделался свидетелем мерзкой сцены, которая болезненно полоснула ему по нервам. Спектакль был поздний, метро опустело, горожане уже разъехались по домам и жались к неярко пылавшим очагам телевизоров. Лебяжьев вошел в пустой вагон. На ближайшей остановке вошли двое, как ему показалось, приятелей. Полуобнявшись, они прошествовали в конец вагона, о чем-то беседуя между собой. Один, очень высокий, худой и бледный, и другой, приземистый, краснорожий и широкоплечий. Лебяжьев рассеянно посматривал на них, думая о своем, пока происходящее не поглотило его внимание. Никакие это были не приятели — молодые люди выясняли отношения. Краснорожий хотел драки, бледный вяло противился. Наконец мясник, поняв, что словесных оскорблений бледнолицему мало, дал ему пару пощечин — широко, всей ладонью, — потом взял за нос и повел. Худой взъерепенился и ошетинился и стал молотить кулачками воздух — ни разу так по красному лицу и не попал. Тогда мясник тяжелыми увесистыми ударами погнался по вагону, как скотник скотину, избил в кровь и, прижав к дверям, выкинул вон, когда двери на остановке разъехались в стороны. Бледнолицый упал навзничь, и краснокожий, издав победный вопль, вернулся в вагон. Поезд тронулся, с красной рожи лил ручьями пот, Лебяжьев болезненно сжимался и трепетал. Он не любил насилье. Каждый раз, когда он видел, как бьют человека, в нем все как будто переворачивалось, и он чувствовал себя маленьким мальчиком, попавшим в страшную зловещую сказку. Разумом он боялся в себе этого чувства страха и отвращения, так как находил его излишне утонченным для нашей грубой и жесткой жизни, в которой ничего изменить нельзя. Однако поделаться с собой он ничего не мог и всегда испытывал му-

чительное ощущение содранной кожи, когда насилие воцарялось вокруг. Вот и теперь он с ненавистью посмотрел в глаза краснокожему, тот поймал его взгляд, уставился с холодным звериным интересом и, казалось, раздумывал теперь, не набить ли морду и Лебяжьеву. Несколько секунд они так смотрели в глаза друг другу, пока поезд не остановился, и Александр Сергеевич встал и медленно вышел, как-то несчастно ссутулившись. Так или иначе, а он уже чувствовал себя нравственно избитым.

Спектакль шел уже минут пятнадцать. В театре стояла тишина, лишь голоса со сцены, неестественно громкие в гулком безмолвии фойе, вели неспешный разговор, в который не было нужды вслушиваться: Лебяжьев знал его наизусть. Напряженное внимание зала было неподдельным, пьеса была гвоздем сезона, имела легкий привкус скандальности — режиссер замешивал его в тесто текста так же легко, как опытный повар подмешивает пряности к кушаньям. Пьеса называлась «Страх высоты» и представляла собой коллаж сцен, монологов и диалогов из произведений молодых, по большей части неизвестных писателей, которых объединяла охота к художественному поиску и страсть к моральным экспериментам. Лебяжьев участвовал в постановке как автор — в спектакль вошла инсценировка его рассказа о том, как студенту-филологу приснился сон, в котором он оказался среди поэтов и писателей начала века. Студент силится предупредить их о том, что произойдет вскоре, спасти, предостеречь, однако интерес к пряному изыску эпохи модерна и декаданса берет верх, и вместо того, чтобы спасти, студент предпочитает стать одним из них и погибнуть вместе с ними. «Хоть больно, да интересно», — думал Лебяжьев об этом своем рассказе, и, ей-богу, он полагал, что эта формула распространяется на все наше существование в качестве одного из его законов.

Алый крошун в электрических искрах от сияния люстр стоял в стеклянных чашах вдоль стойки буфета. Он был живителен, вобравший в себя мякоть и сок апельсинов, грейпфрутов, с гроздьями сизого винограда, ломтиками яблок и груш, он чуть золотился и мерцал, дыша поверхностью. Лебяжьев выпил бокал с жадностью. Буфет, огромный, целый зал, весь в зеркалах, мраморных статуях вдоль стен, с вечно журчащим фонтанчиком в центре, был пуст и тих. Лебяжьев присел у крайнего столика, заказал маленькую рюмку коньяку, спросил икры и соленых орешков. Он был в

смутном настроении. Нет, успех спектакля его не трогал — успех был напророчен и обречен на шквал аплодисментов, отличные актеры, отличная постановка. Скорее он был недоволен собой, как будто какое-то воспоминание, как темное пятнышко, намагничивало и притягивало внутренний взор. Лебяжьев сосредоточился и погрузился в себя.

Он думал о смерти. Сон и любовь помогали ему понять, что смерть — только миг, не более того. Мы умираем ежедневно, мы уходим в никуда и — возвращаемся как ни в чем не бывало. Этот удар перед засыпанием, который продергивает нас электрическим током, копейно, есть только репетиция смерти, выход энергии, столбняк души, звонок будильника, что будит нас от дневной суеты и погружает в себя, в тот кокон, откуда все мы вылетели краткосрочной бабочкой, с день ото дня осыпающейся пылью на крыльях. А страсть и мгновенное помрачение ума вместе с враз приходящим знанием о чем-то подлинном, чего не понять рассудком и что лишь в миг наслаждения, близкого к порогу боли, теряет все одежды и обнажает суть? Это тоже смерть, значит, в ней есть нечто от услады, от бумеранга, который пускает любовь, а ловит смерть — покуда он летит, в мозгу и вспыхивает то сверхзнание, которого мы не в силах удержать, но памятью о котором все мы живы.

В сущности, Лебяжьев жил ощущением апокалипсиса, который миновал. Люди, преображенные громом и пламенем, выжженным насквозь все внутренности и душу, с удивлением замечают, что Царство Божие не наступило, нет ни Новой Земли, ни Нового Неба, Земля устояла — впереди новая полоса рассветов и закатов, новая череда дней. Стало быть, апокалипсис может наступать и дважды, и трижды — все это только Репетиция — Мистерии мы еще не заслужили. И наши мертвые еще с нами, еще не порвалась связь, и почта духов работает без выходных. Вот когда мертвые оставят нас, тогда и наступит Страшный Суд. А теперь мерцание и алый цвет крющона, всегдашняя нетрезвость и буфет, когда не прокричит будильник, этот петух, который не пропел, пока Петр трижды не предал Христа.

Ополченцев тронул Лебяжьева за руку и посмотрел ему в глаза с извечной усталой настороженностью — ты опять за свое, дружище? Он знал Лебяжьева как облупленного, и эта отрешенная сосредоточенность уже не представляла для него какой-либо загадки.

— Откуда ты взялся? — пробормотал Лебяжьев, застигнутый врасплох. Невольно он потупил взгляд.

— Да что ты, я минут уж пять слежу за тобой. Волнуешься? Напрасно. Валька играет?

— Чего ей сделается, представляется вовсю, — проворчал Лебяжьев.

— Вот это зря. Как это ни печально, а надо убирать ее со сцены. Конечно, будет скандал, но надо сделать все возможное. Пока она трясет там титьками и лезет к рампе, толку не будет. Суди же сам, ну какой там Блок и Андрей Белый, когда на зрителя прет тугая плоть, которую она поровит еще и обважить похлеще, кладет грудь на блюдо, мажет сметаной, подносит публике ко рту и просит откусить кусочек поскоромней. Это свинство. В кино, конечно, проще, я ее бы на дух не допустил к камере, здесь театр, храм искусства, а значит, коллектив и все такое, женские дела. Но мне, ей-богу, жалко, и совестно, и в жар бросает, когда герой дрожит и вскрикивает от боли, а она тем временем этак поднимает ножку позатейливей и потчует нас отсебятиной в виде своих лодыжек, щиколоток и голени, намазанной, как в ресторане, красной икрой ажурных чулок. Конечно, в цинизме есть своя боль и своя мудрость, мне жалко человека и в цинизме, ибо он хочет не быть животным и не может, а отсюда — вызов и бунт, но тем не менее ее надо гнать.

— Да куда ты ее выгонишь, — устало отмахнулся Лебяжьев. — Что ты, не знаешь?.. О чем мы говорим?

— Вот-вот. А между тем так проходят репетиции, премьеры, годы... Право, во всем этом есть что-то от слюнявой, порочной, позорной старости. Ты пишешь пьесу, разыгрываешь в голове мистерию и чувствуешь себя, ну — мистагогом, или как там, теургом, нет, создателем новой религии, потом приходит Валька и прочая шушера, начинает задирать юбку, чтобы отдаться тысяче мужчин сразу — она же нимфоманка, это очевидно, — и начинается светопреставление, знаешь, как в такой западной кабинке для клиентов, которые ничего не могут, где за стеклянной перегородкой девица выкидывает разные штуки, чтобы клиент потом проигрывал у себя в голове всякую пакость. Вот результат твоих ночных трудов и светлых восторгов. Эх, Валька-Валька, ну не сука ли ты?

— Прекрати. Что тебе далась эта несчастная актриса, у нее свои восторги и своя беда... Ты о себе подумай. Ты ведь тоже игра-

ешь в фильмах эпизоды для разрядки чувственного напряжения или как ты там это называешь. Прочищаешь зрителю мозги для высоких идей и показываешь ни с того, ни с сего половой акт на ровном месте. Свинство это, брат.

Ополченцев чертыхнулся.

— Восприятие зрителя изгажено, это приходится учитывать. Думаешь, мне не противно? Реальность есть реальность. Когда мозги доходят до точки кипения, надо показать красную тряпку, чтобы бык бросился на нее. А ты тут же убираешь ее прочь, и бык пролетает мимо. Вот так. Но я делаю это сам, с секундомером в руке, чтобы не превращать искусство в балаган дольше семи секунд, а здесь — другое. Здесь безволие и торжество похоти, а значит, срам. Как ты не можешь этого понять?

— Эх, Витя... Искусство тоже свинство, если хочешь знать. Кто ты, монах, или солдат, или, может быть, святой, чтобы браться за камеру и учить народ, как надо жить? Ты можешь сделать чудо или хотя бы веришь в это? Нет, воду в вино ты претворять, конечно, научился, но только за деньги, которых у тебя все больше и больше.

— Александр Сергеевич, художник не может быть святым, увы, все это в прошлом, святые теперь — это молчаливники, мы же, если сказать по правде, только развлекатели общества, шуты гороховые. Сейчас надо снимать кино так, чтобы один план — река, куда падает мерцающий дождь, тянулся часами, и чтобы ничего не происходило, чтобы зритель думал о душе и ничего не тревожило его. Если бы можно было снимать кино для монастырей, я снял бы так. Созерцай и думай о душе. Только в кино возможен такой символизм, ибо визуальный образ в отличие от образа, явленного в слове, лишен схематизма, он напоен жизнью во всем ее соку, даже если кино черно-белое, он цветет, как луг весной. Но публика дура, она ничего не понимает, Лебяжьев.

Ополченцев махнул рукой. Он подошел к стойке, взял коньяку, и фруктов, и шампанского, веселого вина. Так они стали пить, уже понимая, что закончат этот вечер сильно пьяными, под надоедливый мотив всепроникающей старости, которой нет преград, как влаге во влажном климате, или бане, где она проникает во все поры.

— Витя, — сказал Лебяжьев, пьянея. — Вот эта история с кражей шекспировского квартета. Ты знаешь, дело не в ней самой, этой истории, Бог с ней. Дело в другом. Я тут задумался о проис-

шедшем и пришел к выводу, что это мог сделать любой из нас — понимаешь, любой, — а значит, каждый это и сделал в каком-то смысле — пусть не криминально, не юридически. Раз мог, значит, и сделал. Я понятно выражаюсь? Давай еще по одной. Ф-фа... Хорошо. Так вот, потенциальная готовность к преступлению — отличительная черта современного человека. Все мы — социопаты, понятия не имеем о моральном долге и ходим со взведенным курком в душе. Почему так? Зачем? Причин много. Двадцатый век, потрясение основ и все такое. Мы с вывихнутой душой все, не так ли, Витя? А кто пишет или играет — тот еще и вывихивает душу сознательно, фантазируя, воображая, предаваясь игре с самим собой и с другими. Печально все это...

— Да-да, — подлакнул Ополченцев, перебивая. — Не знаю, кто там спер книгу, для меня это не важно, потому что после происшедшего я уже как бы сам это сделал, проиграл это все в своей душе, представил. Стало быть, взял грех на душу. И знаешь: это было сладко. Занятое дело преступление, Александр Сергеевич. И больно, и жутко, и приятно. Но больше всего страшно: а ну как поймают?

Лебяжьев покачал головой:

— Это такое же преступление, как и все, что мы делаем: не больше и не меньше. А ведь нас никто не ловит. Напротив, слышишь: аплодируют. Все нынешнее искусство — да и прошлое тоже — это грех. Грех, взятый на душу, томит. Что этот грех, что в нем? Быть может, он берет начало в фантазии, во сне — сладчайшем из всех блюд на пире жизни. Мы все с мальчишества всегда были фантазерами и блудодеями — мечтали о многом, слишком о многом, может быть. Потом пришло умение поверять свои фантазии словами, облекая их в плоть и кровь и танцевать в дожде героев, образов, метафор. Все это было бы очень мило, когда б не надо было держать ответ за то, что пишешь, как за поступки. А ведь это были поступки и дела. Интеллектуальные операции ничем не отличаются от действий, убивая на бумаге, ты совершаешь грех. Но как же Достоевский... Вечный вопрос для розовощеких гимназисток... Тут загадка. Стало быть, были у него устои, неколебимая вера, позволявшая пускаться во все тяжкие и оставаться целым. Но что делать человеку нашего времени, чей религиозный опыт не столь отчетлив, не столь оплачен детскими слезами за чтением Евангелия и — не столь по сути прост, чтоб можно было доверять-

ся каждой букве, как прикосновенно. О нет, конечно, я знаю, что в нашем веке все это не умерло, лишь ушло под воду, набрав побольше кислорода в легкие, и вынырнуло чистой Христовой рыбой. Я знаю и рыб и рыбаков, сам чистейший мистик и все же... Ты знаешь, Витя, поскольку я художник, я касаюсь самых тайных и трудных вещей, в конце концов — души, греха, вины и... Бога. Есть у меня и искушенность, и опыт, и талант, и некое звериное чутье, но как-то странно это не составляет целого — Бога в душе. Это зависит не только от меня, но знаю я одно: произведение без Бога — это болезнь, не более, ворох идей, обрывки фраз и вскрики голосов. Полифония только какофония, когда хрустальный купол Бога с органом, хоралом и ревом диакона, вершащего расправу над дьяволом, не накрывает текста с головой. Пустое, все пустое, из пустоты и в пустоту, и все же, Господи... Господи, спасибо Тебе за все, и за мое пустое в твоем чудесном, теплом, обжитом!

— Как это все противно... И стыдно, и смешно, и безобразно, но главное — противно. Молодой человек, вы не находите?

За столик присаживался гражданин в потертом. Лебяжьев невольно поморщился от бесцветного выражения его лица, от скользящего взгляда маленьких глаз. Он был не стар, скорее напоминал дряхлеющего юношу из тех, что вдруг, как будто подломившись у основания, начинают увядать, теряя зубы и волосы и покрываясь морщинами, в то время как легкая вялая миловидность еще сквозит в осунувшемся и пожелтевшем лице. Пропустив мимо ушей ерническое обращение к себе, Лебяжьев все же отметил, что дерзость была не напускной, а как бы прямо вытекала из существа незнакомца, который был лишен способности смущаться, как немой — дара речи. Кажется, и без одежды он почесывался бы так же вызывающе, как сейчас, запустив руку за ворот грязной рубашки и скребя по груди.

— Нет, право, я подпил вчера с приятелем пивка и красненького, но это не мешает мне... оставаться гуманистом и, э-э-э, как бы это выразиться точнее, интеллигентом или интеллектуалом... Пивко не застит мне глаза. И что я вижу — разврат, потаенный подвальный и полуподвальный разврат. Да нет... В умах. Что скверно? Раньше была тупость — непроходимая, но честная. Тупость обкраденного, когда он озирает ободранную квартиру, откуда вынесли все вплоть до шлепанцев. Нас ведь всех обокрали в детстве — лишили религиозного чувства или как там, ну, вам вид-

нее... Ну обокрали и обокрали, чего там, бывает... Теперь не то. Что они, сволочи, делают? Пускаются в искания, ищут мистического опыта. Тут тебе и сны, и видения, и неврозы, и психозы. Короче, алчут откровений. Слова-то протухли и дурно пахнут, вот и потянуло на сладкое. Но просто верить, ве-ро-вать и в церковь ходить, как полагается, не желают. А ведь это жлобство еще в десять раз худшее, чем прежняя тупость. Не находите?

— Вы веруете? — спросил Лебяжьев изумленно и все же с какой-то надеждой.

— Я? Как бы вам сказать... А вы?

— Я буду верить.

— В будущем времени? Я вам оставлю адрес, давайте спешимся, когда вы уверуете, наконец, и поспорим. Ведь это бред. Голый человек на голой земле — вот во что надо верить, или уж в монастырь, но ведь вам надо пьесы писать, а не иконы. Эх вы... Ну что вы крутитесь вокруг собственной оси — ведь это пируэты сознания. Мозг нуждается в наркотиках, там есть такие зоны, надо забываться, отсюда неясное томление, как у перезревшей девицы. Да нет, постойте. Ведь это блуд. Умрите вы честно, без дураков, как умирает зверь, если не можете верить просто и сильно, как положено солдату и монаху.

— Тварь, — едва не закричал Лебяжьев.

— Кстати, — проговорил незнакомец, предупреждая его возглас. — Обратите внимание. Когда я прихожу, я подаю руку, а когда ухожу — не подаю. Прощу вас: обратите внимание.

Лебяжьев неожиданно для себя самого смутился.

ВСТРЕЧА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Ледяная ночь опустилась на Лондон, замерзшие бездыханные звезды погасли, и был мрак. Крылатый, как летучая мышь, плащ срывало ветром, промокшие сапоги вязли в грязи. Громада дома чернела обуглившейся чернотой. От фасада несло нежитью, и казалось, что недавно здесь был ужасный, незаконный и дикий, все сметающий на своем пути пожар. Дом выгорел дотла. «Я зажгу здесь свое окно, — твердил он, поднимаясь по лестнице. — Я затеплю очаг, Кристофер, я налью два бокала вина, и огонь в камине будет пылать всю ночь...»

Трещали дрова, тени ходили по комнате, пол скрипел под ногами, шелесты и шорохи тревожно перешептывались между собой. По углам лежал сумрак, в нем пряталась тишина — не та звенящая тишина, которая ранит слух, а мягкое теплое беззвучие, что гладит его детским пальчиком. Сердце, маленьким осенним солнцем согревавшее грудь, билось спокойно — точно он шел с охоты, а в церквушке звонили ко всенощной, не грохотали, не ломались в дверь, а только тихо напоминали, чтобы не забыл, чтобы не промахнулся жизнь. Женищина носит под сердцем ребенка. Девочка, девушка и старая дева носят под сердцем своего нерожденного ребенка. У него там, в крестовине, был подвал, погреб, чертог, склеп, осяняное подполье с полом-пропастью и небом-потолком. Он знал, как едят голодные дети, давно и безнадежно голодные — не с жадностью, нет! с тихой усталостью, чуть тревожно, как зверьки, неподвижно глядя перед собой и прислушиваясь к себе, к тому, как они причащаются пищей, которой никогда не будет вдоволь.

Благодарность лечила душу, как сон, спасительный для измученного тела, природа была невинна и повреждена, слепоглухие видели ясно, но на ощупь, ребенок ласкал мокрую спину дельфина, сердце клубком шерсти прятало в себе не то иголку, не то фантик, и узорчатая ткань ложилась на руки и тревожила пальцы бугорками узелков.

Среди цветов, в сплетении причудливых линий, в геометрических изломах, он различал лицо прекрасного юноши, рыцарственного жонглера, менестреля, воителя и заступника. Он пристально вглядывался в нездешние его черты и чувствовал, как сливается со всем его обликом, как их души соприкасаются, а собственный его взгляд туманится и гаснет, обретая иное зрение и бесконечно устремляясь вдаль. Сначала тихо, почти шепотом, потом все явственней и громче, он разговаривал с пламенем, бившимся в камине, и даже сосед, ворочавшийся за стеной, расслышал сквозь сон два голоса, один из которых настаивал на своем, а второй был умоляющ, робок и растерян.

Гость задыхался от усталости, от стужи, от ветра, который срывал огоньки со свечей и мотыльками уносил их в темноту. Хозяин, укутывавший его пледом, чувствовал с каждым прикосновением, что этот холод развеять ему не удастся. Гость ждал от него иного, и это иное было немислимым, его мог даровать лишь Бог. Порой он готов был метнуться к столу, к бумаге, туда, где под его пальцами

проступали создания, которым он дал воплощение и жизнь, он еле сдерживал себя, чтобы не поддаваться соблазну и предпринять обреченную попытку. Гость уже не настаивал, не требовал от него ничего, но молчание было еще реальней, чем просьбы, уговоры и мольбы, и тогда он принимался говорить сам, рассказывая о запахе театральной пыли, о тысячах оттенков, содержащихся в нем, о том, как дразнит, будоражит и воспаляет этот запах все его существо — нюх, чрево, плоть, нутро. Гость оживал, смотрел с благодарностью и восхищением, и хозяин, не переводя дыхания, болтал о гриме, румянах, туши, пудре, о костюмах с подкладкой, без подкладки, о том, как холст становится парчой и бархатом, как стекляшки оборачиваются изумрудами, а съеденное молью восстает из праха и горностаями играет в бликах факелов, зажженных перед сценой.

«Недавно купили ткани — рубиновой, пурпурной, алой, бычьей крови, гвоздичной, винной, цвета палача. Весь мир! У Кэтрин, честной шлюхи, порвались малиновые чулки — надела огненные, лопнули на ляжках. Ей надо бы натянуть холодного оттенка пурпур. Купили желтого, оранжевого, апельсинового, золотистого. Расшили все зеленым, как будто власть катались по траве. А синий! Синий...»

Когда он бормотал про краски и оттенки да в сердцах бранил всех театральных и нетеатральных шлюх, в усталом сознании пронеслось греховное видение: картина, тлеющая в мозгу, стала разгораться перед глазами, искрилась и чадила, трещала, пощелкивала, но вспыхнуть и запылать ей было не дано. Он был измучен и благодарил Спасителя за тяжесть усталости, которая легла ему на плечи и пригнетала его долу, пока фантазии рассеивались, освобождая воображение, погружавшееся в забытьё.

В комнате, полной рассветной тишины, все было грезы и сон, лишь теплое дыхание, не тревожившее безмолвие, делало его обитаемым и живым.

БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫ С НЕЗНАКОМЦАМИ

«Милостивые государи мои, — сказал незнакомец, удобно разваливаясь в кресле, — нет, что бы вы там ни говорили, я утверждаю одно: человек — это большое животное, зверь, сошедший с ума и вставший на задние лапы. Не спорьте со мной, я расскажу вам историю, которая все разъяснит».

Между тем Лебяжьев и Ополченцев сами не заметили, как пришелец стал полноправным участником их разговора, как они уже прислушивались к его речам и не забывали наполнять его рюмку. Может быть, это было бы странно, не будь они уже навеселе, а в этом состоянии любой подсевший к ним за стол мог стать их собеседником. Да и речи, которые вел незнакомец, были затейливы, и мало-помалу они стали внимать им не без сочувствия.

«Надо вам сказать, что я недавно вернулся из Припорожья. У нас в газетах почти ничего не пишут об этой замечательной стране. Не пишут, потому что не знают и не понимают. Да и попасть туда не просто, а уж выбраться... Итак, мне повезло: я там побывал, а вам повезло вдвойне: вы там не были, но узнаете все из первых рук.

Так вот. Наступил Новый год. Припорожье достигло невиданного процветания. Никогда там не было так хорошо, все ломилось от изобилия, порядок и чистота приобрели почти немецкие черты. Престиж человека стал как никогда высок, человеческое достоинство, личность были единственным мерилем всего и вся. Любовь друг к другу, вероятно, тоже существовала, хотя бы потому, что ревность обуревала сердца. Теперь никто никогда не прошел бы мимо захмелевшего собрата, если он был не в порядке, чтобы не довести его до дома или до такси. И вот что еще важно. Велика была любовь к братьям нашим меньшим. В домах жили по две-три собаки, кошки, мангусты, суслики, хомяки, морские свинки, ежи, обезьяны. Проводились бесконечные выставки, парады, шоу, конкурсы. Животных ласкали, тормошили и тискали. Люди были переполнены любовью и нежностью ко всему живому. Хотелось чего-то еще большего, высшего, идеального, раздавались даже неясные призывы слиться в едином гимне, в Оде к Радости — вот, может быть, почему новогодней речи Президента ждали с особенным воодушевлением. Его давно уже любили за все хорошее, что он сделал. Это был молодой и резкий, хотя и воспитанный че-

ловек. Большой ученый, он умелыми, не тревожащими налаженный порядок мерами поддерживал в стране спокойствие и вел ее к дальнейшему процветанию. То одну гайку подкрутит, то другую — и вот ничего не дребезжит, напротив — поет и лишь чуть постанывает от удовольствия. Выступал он редко — и так все шло своим чередом, однако каждое его появление сопровождалось чем-то новым и неизменно подбадривало общество. От него всегда можно было ждать неожиданности, и все же новогодний спич Президента оказался необычным даже для припорожцев.

Президент был зол и с трудом сдерживал себя. Он приветствовал, говорил о процветании, был горд и счастлив, но что-то не давало ему покоя. Наконец он заговорил о том, как внутренне тревожна жизнь нации, как низка рождаемость, как смутны и неопределенны идеалы граждан. Взамен детей, сказал Президент, твердо глядя в экран, люди заводят животных. Во имя чего мы живем? Кому мы оставим эту землю? Почему коты и собаки стали для ослабленных духом припорожцев милее всего на свете? Президент отечески посоветовал всем задуматься над его словами, пожелал веселья и счастья и пропал. Выступление закончилось, пробили куранты, заиграла праздничная музыка, и наступил Новый год. Коты и собаки мирно спали на своих подушках и подстилках. Но Президент ничего не говорил просто так...

Не прошло и нескольких дней, как начались выступления ученых, людей большой внутренней дисциплины и особенной духовной стойкости. Ученые предупреждали: человек находится в опасности, его духовная экология загрязнена. Человеку нужен человек, венец эволюции, прямой контакт разрушителен для его природы. Все это было бы малопонятно, но решительные складки у губ, ясные глаза, твердый очерк подбородка и белый треугольник сорочки с темным отвесом галстука вызывали уважение и невольное сочувствие к ученым речам. Все же звучали они как на иностранном языке, требовался перевод, и тут уже журналисты стали разъяснять высказывания специалистов. Дело в том, что тут как раз случилась жуткая история в семье Дементьевых, когда сибирский кот, считавшийся ручным, загрыз новорожденного младенца. Затем последовало несколько нападений собак, сорвавшихся с поводка, на детей. Все они закончились трагически. По телевидению показывали разодранные тела, исполосованные когтями лица. Журналисты смотрели с экрана, глаза в глаза, с мужественной

затаенной болью, губы их подрагивали, голос срывался, к горлу подкатывал комок, и люди вскакивали с мягких кресел и бродили по комнате. Детям стали сниться странные сны, они боялись выходить на улицу и просили родителей не оставлять их дома одних. По радио зазвучали надорванные женские голоса.

Общество защиты животных повело себя глупо и дерзко. Были организованы акции, пикетирование, демонстративные проходы по улицам со зверьем. Люди сумрачно провожали глазами хозяев, ведущих на поводке огромных откормленных псов, хозяек, прижимающих к груди кошек и ступающих, как Сикстинская мадонна по облакам. «Зла на них не хватает», — читалось на лицах простых людей, и даже еда и питье как-то не так стали радовать: хотелось морального удовлетворения и восстановления справедливости.

Справедливость не замедлила явиться. Она называлась «Народной»: так именовала себя партия молодежи, предпринявшая действия в защиту Человека. Они мало кого трогали, но были вооружены крючьями, дубинками и цепями, могли замахнуться, могли и ударить, больше для остротки. Они любили фотографироваться с детьми, которых провожали из школы домой, с которыми братались, обнимались, целовались. Люди они, конечно, были молодые, недалекие, но хорошие, это было видно по тому, как терпеливо они себя сдерживали. Эксцессы были, но говорили скорее о задавленных волкодавах, чем о замученных котах. Кошек мучили больше подростки, ни в какую партию не входившие и просто чувствовавшие общий энтузиазм. Все же в воздухе носился слабый привкус анархии, и с этим надо было кончать, нужны были решительные действия и законные формы. Нужен был порядок, общество не могло находиться в состоянии возбуждения, так что указ Президента об изъятии биологических агуманитарных систем был воспринят как исход из патовой ситуации. Общество защиты животных распустили еще раньше, без особого шума, так что акций и шествий не было уже никаких.

К знакомым, у которых я жил, пришли под утро, часа в четыре-пять, втроем, с понятными из «Народной справедливости». Кот был большой, гладкий, черный, вызывавший у пришедших отчетливую брезгливую неприязнь. Он умел говорить одно слово: «мало», он спрятался под диван, забился. Конечно, его нашли сразу, ограничили, потом зафиксировали. Молодой красивый спросил у кота:

- Жрал?
- Мало, — ответил кот.
- Много? — переспросил красивый.
- Мало, — повторил кот. Посмеялись, дали коту леща.

К нам относились сдержанно, холодно, с подчеркнутым уважением. Сели составлять длинный обстоятельный протокол. Кот принадлежал к европейской короткошерстной породе, был взят двухмесячным котенком три года назад, родился в марте. Характер имел независимый, ласк не любил, на колени никогда не прыгал. Ел рыбу и мясо, больше всего любил жареную курицу. «Губа не дура», — посмеялись дружелюбно. К ребенку относился без любви, царапал, кусал. На улицу никогда не ходил, любил сидеть на лоджии. Спал вместе с хозяевами, в их постели.

Кота спеленали, и он нервно бил хвостом. Потом к спине ему привязали палку, взялись за два конца, попрощались с нами и ушли.

Когда я вышел из дома, у нашего подъезда стояла группа ребятишек. Сколоченный из двух досок крест был вкопан в землю, к нему был привязан серый пушистый кот, неярко горел костерок, обвевая собравшихся дымом. Ребятишки галдели. Мальчик лет пяти нагревал в пламени палку с железным наконечником. И вы знаете, господа, я ускорил шаги, а потом и побежал, чтобы не слышать, как отчаянно закричал кот».

На Ополченцева услышанная история подействовала самым неприятным образом. Он опечалился донельзя, и даже лицо его болезненно сморщилось. Казалось, это сам он, а не незнакомец, побывав в Припорожье, и он то сжимал кулаки, то шумно вздыхал, то нервно сплетал пальцы и хрустел суставами. Лебяжьев был не так возбужден. Он изрядно выпил, как-то весь огрузил и только сказал, тяжело ворочая языком, что история напоминает процессы над ведьмами эпохи Возрождения, когда возбуждение человека, если оно не находило выхода в творчестве, обрушивалось на всех слабых и непохожих. В Европе уничтожили всех черных котов... Иное дело — Шекспир или Сервантес. Люди они были суеверные, но суеверие только вносило мистические краски в творчество, а разума не затмевало. Шекспир был человеком практическим, животные были для него предметом охоты, он ведь был браконьером в молодости — этот факт, долго оспаривавшийся, кстати, теперь можно считать доказанным, — а на черных котов этот браконьер и

гений охотиться не стал бы никогда, не такой он был дурак. Незнакомец посмотрел на него насмешливо, подхватил тему браконьерства, Лебяжьев настаивал: факт неоспоримый, стал достоверным совсем недавно, источники надежные. Незнакомец чему-то обрадовался и повеселел. Тем временем Ополченцев рассказывал свою историю, и по мере того, как он говорил, его лицо то мрачнело, то светлело.

«Есть у моего приятеля чудесный пес, ирландский сеттер Дарлинг. Собака — чудо и блеск, длинная волнистая шерсть, уши, свисающие, как волосы с головы гениального музыканта, — Моцарт, ей-богу, Божий дар, собачий талант и наслаждение для глаз. Ласковый, добрый, умные, живые, яркие, влажные глаза, повадка, нюх, стать, радость и сила, ставшая одухотворенной и тонкой, как у композитора, слышавшего звуки, слетевшие с небес. Конечно, преданность, та особая утонченная преданность, которая бесконечно далека от солдатчины и рабства. Одно слово — друг. И друг, который все поймет, которого не надо ни о чем просить, не обидит и не предаст. А тонкость чувств — клубок нервов, откликающихся на малейшее дуновение, дыхание, аромат. Создание! Улыбка и шалость Творца! Господи, кого ты посылаешь на нашу грешную землю нам в объятия...

И была у Дарлинга подруга, да что там — жена, суженая. Его же породы сучка, Милка, Мила, Милена. Красивая, чуть светлее, чем Дарлинг, светло-русская сука. Приводили ее к Дарлингу, а тот уже радовался задолго до ее прихода, и тосковал, и сетовал, и роптал, и трепетал. Любовь! Ну а потом — танец, пляска ароматов и обоняния, страсть. Мила рожала щенков, и свет наполнился новыми Дарлингами и Милками, благо, попадали они в хорошие руки. Но вот беда: у таких собак, как Дарлинг, и помет очень дорогой, волшебные щенки, родословная, порода. И соблазнила Дарлингову хозяйку ее подруга подсунуть псу другую суку, посулила большие деньги — очень хотела от Дарлинга щенков на продажу. Вот что значит талант — опасная это вещь, купить ее норовят. Да... Ждал Дарлинг Милку, роптал, трепетал, а пришла другая сука. Он так и растерялся, завыл. А его науськивать, знакомить, подначивать. Долго Дарлинг кружил, голос подавал, недоумевал. Любви-то ведь нет никакой! Однако науськали! Полез Дарлинг на суку в растерянности и тревоге и осрамился с нелюбимой. Убежал, в угол забился. А сукина хозяйка, разобиженная, стала на него кричать, срамить, дескать, хваленый пес,

а гроша ломаного не стоит. Дарлинг заметался. А потом подошел к ней, посмотрел с ненавистью и зарычал. Никогда он ни на кого не рычал, и так это было странно от него слышать, что хозяйка-умница все поняла, спрятала его в другую комнату, выпроводила гостей и долго потом Дарлинга успокаивала.

Мораль сей басни такова. Впрочем, это, господа, не басня, а жизнь — а в ней с моралью дело обстоит значительно сложнее».

Незнакомец усмехнулся. Лебяжьев тоже. Принесли и выпили еще.

Коньяк плеснул в гортань, действие метнулось на сцену. Испепеленный юноша с застывшим ликом и античным локоном, сказавший как-то, что Русь — жена его, стоял в лучах прожектора и цепенел. Голубоглазый друг с высоким лбом и детским ртом, пьяневший от единой рюмки и заговаривавший людей до обморока, жестикулировал и ташевал неподалеку. Крючник и грузчик в рубаше с поясом опирались на плечо названного брата, орловского оперного брүнета с мучительными глазами и бутылкой водки в простреленной в миг неудачной попытке самоубийства руке. Георгиевский кавалер под руку с дамой, рюмочно тонкой в талии, прогуливался вдоль ramпы. Сколько их было здесь, несчастных, перееханных эпохой, как трамваем, и все же выкричавших свою боль, несмотря ни на что. Гул голосов тревожил и пьянил...

Хлопали двери. В буфет потянулись зрители, и он наполнился праздничным шумом театральной толпы. Народ был возбужден, пьян без вины. Спектакль состоялся, был успех. Лебяжьев с Ополченцевым налици, выпили и только тут заметили, что рядом с ними их собеседника уже нет. Он ушел, ввинтился в толпу, растворился и пропал в ней. И руки на прощание действительно не подал.

ДВОЙНИК

Суть всей этой лавочки, на проржавевшей вывеске которой было размашисто написано: «Жизнь», была очень простой: с рождения, с младенчества или с юности — он не ведал точно, когда — ему было завещано огромное наследство, размеров которого он сам не знал, и все это богатство, непостижное и несметное, было свалено в кучу, под открытым небом, под солнцем, снегом, градом и дождем, в заветном месте, известном ему одному. К этой свалке сокровищ надо было только добраться, взять, сколько можешь унести, взва-

лечь на спину, распахнуть по карманам и перетащить к Большой Границе, сложить до времени там. Дальнейшее было не его заботой: туда, к Таможне, за ним сами придут, осмотрят груз, дадут карт-бланш и доставят по назначению. А пока, спотыкаясь, падая, вставая и кряхтя от тяжести, надо таскать добро из потайного места и идти вперед, молясь о том, чтобы не лопнула становая жила. Все — так, он был только вербованным черноработчим, но платой за труд было спасение, которому он поклялся оставаться верным до конца, и хотя, как и любой грузчик, он был прежде всего бездельником, но отлынивал и волянил он только до той поры, пока в висок не стучала ломом мысль о клятвенном преступлении. Тогда, опамятавшись, он собирался в дорогу и шел к задебреному кладу.

Все это было так понятно, буднично и просто, что когда стали твориться первые странности, он не придавал им особого значения. Странности заключались в том, что у него возникло неясное поначалу ощущение, будто его укромы посещает кто-то еще. Он ясно помнил, как, набивая торбу в последний раз, он подобрал упавшую сверху шпагу с дамасским клинком и воткнул ее в прорезь, туда, где червленые доспехи неплотно соприкасались друг с другом, так, что эфес, усыпанный брильянтами, ослепительно сверкал, как отметина или знак. Он пометил это место для себя, просто так, сам не зная почему. Теперь шпаги не было и, словно в насмешку, вместо нее из доспехов торчала нелепая золотая кочерга. Ладно, он плюнул, взял поклажу и ушел. Однако спустя некоторое время он увидел там драгоценную утварь, которую неведомый пришелец разбросал как попало по сторонам. Сам он беспорядка не терпел и мог поручиться головой, что это дело не его рук. Он продолжал над всем этим размышлять, когда в очередной заход увидел у подножия заветной горы порожнюю бутылку из-под вина, в которой еще дрожали непросохшие капли. Здесь был привал, и враг, побродяга, вор, праздновал здесь свою удачу и торжествовал над ним. Он знал, что не оставит это дело так, но хлопоты и беспокойства мимобегущей жизни до времени мешали ему сосредоточиться и предпринять решительные действия. Ему все было ясно: как воин, он должен был идти оборонять свой клад, дарованное достояние и честь. Он был спокоен, не ведал страха, и все же маленькая трещинка, как тень, уже царапиной легла в душе, — внутренним слухом он различал не полновесный чистый звук, а дребезжанье надтреснутого хрусталя.

Однажды на людной улице, когда он шел, как всегда глядя себе под ноги и размышляя — как будто ни о чем, пока в нем бился, нарастая, подспудный ритм, — он поймал на себе чей-то пристальный, долгий, преследующий взгляд. Сначала он вел себя спокойно, хотя и ощущал этот взгляд так, как будто ему в спину упиралась трость, потом затосковал, стал озираться по сторонам, оглядываться, останавливался, замирал, срывался с места и ускорял шаги. Все было тщетно, его преследовали, и, теряя душевное равновесие, он чувствовал, что может заболеть и потерять себя. Так продолжалось несколько дней, пока он не попал на званый ужин во дворец покровителя-аристократа и там, пройдя бесконечной сияющей зеркальной анфиладой, в которой отражения, наплывая безумной чередой, уходили и прятались в миражную даль, там он испытал вдруг облегчение, словно его тревога, отразившись в зеркалах, легла на дно подводного, потустороннего и перевернутого мира. Вернувшись вечером домой, он осмотрел оружие, привел его в порядок и раним утром вышел в путь, спеша к заветному месту, которое приходилось оборонять, как свой дом, ребенка и жену.

Он лег в засаду. Трава укрывала с головой, цветы благоухали, бездонное небо и мать сыра земля по очереди забирали его к себе и обволакивали, как ребенка во чреве, он снова и снова появлялся на свет Божий, трепеща от прикосновения воздуха, будто у него открывалась рана, он исторгал беззвучный крик восторга, боли, ужаса и царапал землю скрюченными пальцами, как павший солдат, или безумный, или старик — мгновенно он пробежал весь круг земного бытия и устремлялся к его центру, немислимой слепительной точке, где сквозь туманы, росы, брызги, звезды сиял Господь — смиряя восхищение молитвой, он широко крестился, падал на колени, повергался ниц, и, не дерзая, восставал и становился Микрокосмом с огромной, пестрой, разноцветной, сверкающей душой. Душа распахивала театральный полог, он обнажал разымчивое небо, бездну с клокотавшим водопадом, звезды загорались и падали, очерчивая молнии и вспыхивая метеорами, пока один, сверкнувший гигантской снежинкой, не разорвал воздух над волшебной горой и не упал к ее подножию. Оглушенный и ослепленный, он прижался к земле и долго унимал сердце, колотившееся в груди. Наконец он вскочил на ноги и пошел к сокровищнице.

Это был манускрипт, плотный тугой свиток. Он осторожно развернул его и стал всматриваться в текст. Перед его глазами

было написанное им самим сочинение, точнее, его фрагмент, который он набросал не далее как третьего дня, перед уходом. Черновик, который он держал в руках, хранил все следы правки, сделанной им самим по мере того, как беспокойное вдохновение и трезвая ясность творческого рассудка чередовались между собой. Пометы, перечеркивания, вписанные и вымаранные слова, рисунки, кляксы — он узнал все. Сомнений быть не могло, он видел то, что написал сам, то, что вышло из-под его пальцев, но почерк! — почерк был не его.

Тогда он выпрямился во весь рост и стал рвать бумагу — пополам, в четверть, в восьмую, шестнадцатую долю листа, рассеянно глядя, как бумажный снег осыпает собой сочную зелень унизанного ягодами рябинового куста.

ВСЕ ЛЮДИ РАВНЫ

Геннадий и Евгений прославились на весь Университет своим спором о том, кто благородней. Геннадий переспал с первой девушкой Евгения, но наутро все ему рассказал и помирил влюбленную пару. Евгений украл у Геннадия стипендию, но потом одумался и вернул. Геннадий говорил Евгению невозможные гадости в подпитии, тому стало плохо, блевал и чуть не захлебнулся, но Геннадий его откачал. Евгений позвонил девушке Геннадия и сказал, что того убили в подворотне, но потом приехал с букетом цветов и извинился. Геннадий не выдержал и подкараулил Евгения, ударил его сзади по голове, однако затем дежурил у него в больнице. Евгений выздоровел и поджег Геннадия дверь в подъезде, потом собрал деньги и поставил новую. Наконец оба, накурившись гашиша, упали с эскалатора в метро, попали в пьяную травму и всю ночь ругались. Под утро соседи по травме, объединившись, отметили обоих, а они, выйдя на волю, еще и подрались, обвиняя друг друга в трусости. И по сей день Евгений и Геннадий выясняют, кто благородней, и склоняют друзей каждый на свою сторону. Мнения разделились: одни за Геннадия, другие за Евгения. Оба хороших кровей, по матери оба дворники, зато отцы известны с Петровских времен, один князь, другой граф, оба вышли и удачно и статью. Ситуация безвыходная. Вдвоем им на жизненной дорожке не разойтись, тесно им, узко им, душно им, дуэли запрещены, клинок и пистолет не разрешат их тяжбу, и остается без-

радостно влачиться по стогнам существования. А друг без друга они уже не могут, они нашли и обрели себя друг в друге, заклятые друзья, ревнивыцы, страстотерпцы. Университет надеется лишь на то, что рано или поздно они его закончат и выйдут вон.

Так Александр Сергеевич стоял у доски уведомлений и читал очередной приказ заместителя декана по студенческим делам, посвященный закадычной парочке. Внезапно он почувствовал, как кто-то робко трогает его за плечо. Он обернулся, это был Ильин. Лебяжьев сдержанно поздоровался.

Ильин все последнее время пребывал в странном, тревожном расположении духа. Ему казалось, он напрочь утратил путеводную жизненную нить и погрузился в сумятицу тоски, вины и глухой нелюбви к самому себе. Последнее было самым неприятным. Ильин знал: человек должен любить себя, так нам завещано, это закон, и только тот, кто любит себя, способен устоять на своем пути. Но он не любил себя. И ночью, когда он прижимался прыгающим сердцем к кровати, и днем, когда он метался по дольным весям существования. Он чувствовал, как отчуждается от себя самого, как этот внешний Иван Ильин, студент, мечтатель и гордец, становится противен и гадок тому внутреннему Ивану, который нарождался в нем и болезненно чутко откликался на малейшее дуновение извне. Да, Иван переживал раздвоение, как будто острое лезвие топора расщепило его надвое, и одна его половина была смятенной и оглушенной, тогда как другая холодно наблюдала за ней, отколотой, и изощрялась в логическом сыске. Порою Ильин метался и недоумевал, порою отчуждался и ледяной бритвой анализа рассекал себя, но чаще — это было особенно мучительно — оба голоса звучали в нем одновременно, пока он искал хоть какой-то опоры, твердой почвы под ногами. Ее не было, и Иван висел в воздухе. Все, что он делал, а порою он лихорадочно писал, сочинял, фантазировал на бумаге, спустя какое-то время представлялось ему не просто плохим, но ужасным, отвратительным, кошунственным. Он принимался править текст, вставлять оговорки, включать противоречащие только что сказанному замечания и тут же с отчаянием замечал, что выходит еще хуже, лицемерней, продажней. Он перечеркивал и брал чистый лист бумаги, спасительный и невинный, убеждался, что вышло еще хуже. Мало-помалу он стал замечать, как изменилось отношение к нему его приятелей и знакомых. В незначущих словах, кивках и полуотвотах он читал

знаки отчуждения, обиды, брезгливости, осуждения. Он стал избегать друзей, потом заискивал перед ними, искал объяснений и откровенности, с отчаянием замечая, как люди все более странно и враждебно относятся к нему. Собрав всю волю в кулак. Иван подверг себя, свою жизнь и связи с людьми беспощадному анализу и вдруг, когда тот второй, холодный, логический и трезвый голос зазвучал в нем, открыл, что кризис, который он переживает, начался с того злосчастного вечера у Петражицкой. Он вспомнил, как изменилось отношение к нему Ополченцева, Висконти, Лебяжьева... Да, именно Александр Сергеевич Лебяжьев, его любимый преподаватель и старший товарищ, отвернулся от него после этой истории. И неслучайно к нему в общежитие приходил этот странный человек, назвавшийся не то Глазовым, не то Глазьевым — вот он, магический тайный знак, Всевидящее Око, — и навязчиво и упорно расспрашивал его обо всей этой компании: о Висконти, Разецком, Ренатове, Ополченцева, Лебяжьеве. Глазов, или Глазьев, как его там, уже знал, что все они отвернулись от Ильина, что все они подозревали его, и кто знает, быть может — он сжимался и холодел, — подозревали не напрасно. Слухом земля полнится... Иван сжимал голову руками, как будто заслоняясь от этого неясного, враждебного гула, и в отчаянии смотрел в зеркало. Это было нехорошее лицо. Воспаленные темные глаза, ввалившиеся щеки, искусанный рот. Быть может, это было лицо преступника. Между тем тот второй, холодный, отточенный, режущий голос вступал в свои права и говорил, что еще есть шанс во всем разобраться и все разъяснить. Главное — Лебяжьев. Ничего, что он отчуждается и отворачивается. Главное, есть повод, есть основание поговорить. Скоро окончание Университета, надо разъяснить взаимоотношения. Но для этого надо хоть немного привести себя в порядок, в таком состоянии идти невозможно, неммыслимо, он откажется говорить. Иван был хитер, он не верил уже в свои силы и, достав у соседки-истерички успокоительного, выпил приличную дозу и, оглушенный, поспешил в Университет. Ему действительно стало легче, будто самые острые углы обернули вагой, и вот он стоял перед Лебяжьевым. Тот вздохнул и повел его на кафедру, где начал болтать, поить чаем и рассказывать историю, которую Ильин выслушивал, не перебивая.

Филологов трудно удивить: они рождаются с понимающим выражением лица, с этим же выражением отправляются в мир

инной. Собственно говоря, понимать и означает быть филологом. Но порою филологи удивляются, и удивить их может только другой филолог.

Когда Аргунов не вернулся из командировки на всемирный симпозиум, декан факультета Коловряжцев пригласил для беседы Галину Арцыбашеву, находившуюся в командировке вместе с Аргуновым. До Коловряжцева уже дошли слухи о поведении Аргунова на симпозиуме, и он хотел только одного: полной ясности. Арцыбашева, у которой на бледных щеках горел багровый румянец, сначала что-то мямлила и огнекивалась, потом стала колотиться и слово за слово выложила все или почти все. В последний день симпозиума Аргунов сделал короткий и внятный доклад о «Преступлении и наказании», остроумно парировал все возражения и в прекрасном расположении духа отправился вместе со всеми на банкет в гостиницу. Там вначале все было хорошо — «много шутили». Потом Аргунов стал подавать реплики, не свидетельствовавшие о его уважении к собравшимся. Ему начал поддакивать профессор Киндер, старый и малый быстро напpli общий язык и принялись провозглашать тосты. Пили и на брудершафт, и с отставленным локтем, и катая стопку по лицу, от уха к губам. Киндер, весь облитый красным шампанским, вальсировал с филологинями, танцевал танго, «барыню» и рок-н-ролл. Аргунов свистал, цитировал маргинальные тексты, утверждал, что его доклад перевернет науку о Достоевском. Потом они с Киндером стали бороться, свалились на пол и долго не могли подняться. Киндера унесли, Аргунова заташили в номер. Утром он напился кофе, обвязал голову мокрым полотенцем и весь день разбирал свои записи, сочиняя статью о творческой истории одного из стихотворений Блока. Часов в шесть к нему постучался Киндер, и они удалились в неизвестном направлении, так что в аэропорт ни тот, ни другой не явились.

Коловряжцев выслушал рассказ со скучающим выражением лица и спросил только, где статья Аргунова, не потерялась ли и она. «Да вот», — сказала Арцыбашева и достала аккуратно написанный текст. Коловряжцев углубился в чтение. Статья была написана превосходно. История создания стихотворения представляла ясно, четко и резко. Последовательность вариантов раскрывала смысл произведения в неожиданном ракурсе, а выводы, сделанные Аргуновым, сочетали иррациональность понимания с убийственной логикой рассуждений. Вот только что-то царапну-

ло Коловряжцева, когда он просматривал текст, и, тревожно переглянувшись с Арцыбашевой, он стал читать пристальнее, пока не добрался до места, которое отчеркнул ногтем. Коловряжцев был не просто удивлен, он был поражен. Цитируя Блока, Аргунов допустил вопиющую ошибку: в пятой строфе вместо четырех точек в конце строки стояли банальные канцелярские три. Между тем хорошо было известно, какое значение придавал Блок этим четырем точкам. Спутать отточие с многоточием! Лицо Коловряжцева болезненно исказилось. Он взял ручку с черной пастой, тщательно исправил ошибку и только после этого перевел дух. Потом подчеркнул исправленное и написал на полях — «так!». Статья была спасена, и Коловряжцев вздохнул с облегчением.

Однако забыть о непростительной рассеянности Аргунова он так и не смог».

Лекарство продолжало действовать, и услышанная история неожиданно умилила Ильина. С увлажнившимися глазами он принялся с жаром говорить Лебяжьеву о превратностях судьбы гуманитариев, об особой душевной организации историков и филологов, об их духовной ответственности за судьбу Родины. «Все люди равны», — вдруг сказал он, и какое-то особенное впечатление, казалось, пронзило его насквозь, так что он снова и снова повторял эту фразу на все лады и в разных вариациях с комментариями. «Да, все люди равны», — задумчиво повторил Лебяжьев. Он давно обратил внимание на чрезмерную экзальтацию Ильина, стал смущенно покашливать, поглядывать на него пристальней. Он мягко заговорил о будущем Ивана, просил его не беспокоиться и уверял, что дорога в престижный академический институт открыта. «Все люди равны», — восторженно откликнулся Иван. Лебяжьев поморщился, предложил сыграть в шахматы, стал жертвовать все фигуры подряд, Ильин отвечал ему тем же, и партия закончилась красивой боевой ничьей. Иван пришел в тихий умирительный восторг, но тут Лебяжьеву надо было идти на лекцию, и они попрощались.

Ильин в прекрасном расположении духа добрался до общежития, прилег на кровать и тихо заснул. Сквозь сон тот холодный рациональный голос, который жил в раздвоенном Иване, голос, смягчившийся и потеплевший, внушал ему, что весь смысл его кризиса заключается в том, что он все о себе да о себе, тогда как «все люди равны», и стоило ему прислушаться к другому человеку, как все

успокоилось и замерло. Дальше ему снился снег, ласковый новогодний снежок.

...Шел косой сплошной дождь, дорогу развезло, ноги вязли в грязи. Ильин шел рука об руку с кем-то знакомым, кого он смутно узнавал и не мог признать до конца, влага заливала ему лицо, как слезы, одежда промокла и липла к спине, плечам и груди. Впереди был редкий осенний лесок с голыми деревьями, и взгляд, брошенный на него, отзывался в сердце глухим, одиноким, сиротливым чувством. Там, у деревьев, стояло несколько человек, мужчин и женщин; они смотрели куда-то вниз, себе под ноги. Ильин и его спутник направлялись к ним. Небо было затянуто сплошной пеленой, пал туман, и дождь не переставал, сливаясь с ветром и татуируя лицо. Они подошли к деревьям и людям, стоявшим у них. Люди расступились. Ильин увидел не то яму, не то траншею или окоп — могилу, всю в тяжелых комьях глины, смешанных с листвой, и там на дне — лежащего ничком мертвого человека. Он как бы спал, но здесь, в глине, под дождем, этот сон мог означать одно — смерть.

Ильин напряженно всматривался в очертания фигуры. Лица видно не было, оно было обращено вниз, к земле. Человек был одет в ветхий, расползшийся по ниткам плащ. Чем больше Иван всматривался, тем большее горькое отчаяние охватывало его, как при потере близкого, самого дорогого человека. Он тронул спутника за руку и с надрывом, с надсадом спросил: «Это он?» Спутник обернулся, и Ильин увидел Лебяжьева. Лицо его было необыкновенно строгим, серьезным, печальным. «Это он?» — повторил Иван и понял, что он не ошибся. Рыдания сотрясли все его существо, глухие, как немота, рыдания, и приносившие облегчение, и терзавшие естество.

Лебяжьев опустил голову, и все стоявшие вокруг поникли в тревожном молчании, объединенные одним сиротством, в дожде, становившемся все более частым и резким, под режущим ветром, в упавших вниз глухих облаках, пока ключья тумана сливались с густой млечной облачностью и влага заливала небо, проступая вместе с маревом из-под земли...

Проснулся он влезално, как от удара. И все то, давешнее, что давило и мучило, обрушилось на него так стремительно и неотвратимо, как еще никогда прежде. Ужасное чувство вины мучило его. Какое-то неясное воспоминание, темное и страшное, давило на плечи. Иван с трудом завернулся в одеяло и, чувствуя острую боль

в груди, попытался утишить ее. «Все люди равны», — сказал он не-твердым голосом. Однако теперь ни облегчения, ни спасительного восторга эта фраза не принесла, и Иван уставился в одну точку, еще не зная, не ведая, не отдавая себе отчета в том, что ждет его, как развязка, — болезнь, судьба или нечто третье, о чем он еще не имел ни малейшего представления. Впереди были полночь, утро, безжалостный день. И успокоительное, которым он так счастливо разжился, снова пошло в ход.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЗВАЛИ ПРОСТО КАПРИЗ

У леди было все: внешность, деньги, здоровье, страсть. Она умела желать, и желания, как правило, исполнялись, у нее были прихоти — им повиновались охотно, воображение ее не имело ни края, ни дна, а причуды любви могли соперничать с воспаленной фантазией турецкого султана.

Госпожа Томпсон, напротив, была богата только годами и опытом существования. С точки зрения леди она представляла собой пожилую женщину, точнее — пожилую девушку: ей было сорок два, и мужчин вокруг нее не наблюдалось. В сознании леди эта ее знакомая занимала маленький уголок, и ему было бы суждено становиться все меньше и меньше, если бы вдруг не произошло странное событие: госпожа Томпсон с шумом и грохотом вышла замуж за красавца, аристократа, богача — человека, принятого при дворе, широкого человека, которому судьба не посмела отказать ни в чем и который все ее дары по непонятной, невероятной причине отдал в руки ничего не стоящей старой деве. Разумеется, леди не имела мужа только потому, что этого не желала, и о какой-либо зависти или ревности не могло быть и речи, и все же случившееся дразнило не только ее любопытство, но и самолюбие. Леди хотела, чтобы был порядок, чтобы каждому принадлежало свое. Исключения из этого правила она допускала, но им должны были быть разумные, понятные объяснения. В данном случае таких объяснений леди не находила. Тогда она решила эту загадку разгадать и, выбрав удобный случай, поехала к госпоже Томпсон поздравить ее с замужеством.

Встретили леди сдержанно, хотя, в общем, вполне радушно. Хозяйка дома усадила гостью за стол, предложила вино, сладости

и фрукты. Леди, притопывавшая ногой от нетерпения, пристально всматривалась в лицо повобрачной. Та с механической интонацией в голосе, как будто твердя заученное наизусть, рассказывала какую-то ахиню о своем знакомстве с будущим мужем, о их свадебном путешествии. Мало того, что вся эта история была неправдоподобна, в ней заключалась еще какая-то странность, природу которой леди не могла понять. Госпожа Томпсон словно перечисляла сделанные покупки. Понятно, что она была женщиной вялой, но не до такой же степени, чтобы быть безучастной к собственному счастью. Впрочем, вдаваться во все эти тонкости леди не собиралась. Стараясь быть терпеливой, она расспрашивала госпожу Томпсон о муже и мимоходом намекала, что он ей все же не пара, пока та, сначала пропускавшая намеки мимо ушей, не посмотрела на нее с откровенной злобой и вдруг не рассказала леди совсем другую историю, которая единственная объясняла все.

История заключалась в том, что незадолго до замужества госпожа Томпсон встретила человека, которого звали просто Каприз. Все, что произошло с ней потом, случилось из-за этой встречи, и если леди хочет убедиться в справедливости ее слов на собственном опыте, ей необходимо только одно: обратить на себя его внимание. Дальнейшее превзойдет самые смелые ее ожидания, сказала госпожа Томпсон, и выпроводила ее вон.

Пока леди ехала домой, она все перебирала в памяти лица и имена и наконец вспомнила, что однажды она видела человека, которого звали просто Каприз. Он был не то актером, не то драмателем, и в нем не было решительно ничего примечательного. Неужели рассказанное могло быть правдой, повторяла леди, и вдруг она отчетливо поняла, что все так и есть, что это истина и в нее надо верить. Тогда она решила немедленно встретиться с этим самым человеком и обратить все его внимание на себя.

Тот, кого звали просто Каприз, встал со стула, морщась от боли, стянул с себя рубаху и, подойдя к зеркалу, принялся внимательно разглядывать свое правое плечо. Вчера, делая сальто на подмостках, он повредил его, и ощущение потерянного равновесия до сих пор преследовало его, как будто вместе с ним он утратил толику профессии или частицу самого себя. Кряхтя и стона, он попытался перебинтовать распухшее место, но сделать это левой рукой ему не удалось, а правая висела, как плоть, и отказывалась повиноваться. С проклятьем он бросил бинт на пол и, осторожно

поглаживая пальцами плечо, принялся расхаживать по сторонам. Внезапно в комнату постучали. Тот, кого звали просто Каприз, как был, обнаженный по поясу, распахнул дверь и замер на пороге. Леди, не церемонясь, прошла внутрь, едва не оттолкнув его рукой. Пока она презрительно разглядывала обстановку, он зажигал одну свечу за другой: комната разгоралась все ярче и ярче, и огоньки плясали в ее глазах. На мгновение ему показалось, что эти глаза пылают.

Когда на пол падали ее башмаки, платье, белье и что-то невесомое, как пух, нездешнее, немислимое парило и не достигало пола, он стоял и поглаживал плечо, раскальвавшееся от боли. Нагота наполнялась позором и соблазном, текли мгновения, сосуд захлебывался и влага текла через край. Пока он щурился, как кот, она разглядывала его лицо, торжествуя, — она была в своей стихии и ей мнилось, что где-то там, в поднебесье, птицы завидуют ей и поют в ее честь. Миновала вечность, и наконец она повелительно махнула ему рукой.

Человек, которого звала просто Каприз, гибко изогнулся и вдруг сделал сложное, с винтами и подкрутками, сальто — воздушная волна смела со стола исписанные листы бумаги, свечи погасли, и комната погрузилась в непроницаемый, как театральный занавес, мрак.

Прошло не так уж много времени, когда он получил от леди надушенное ароматами письмо, в котором она приглашала его приехать к ней в гости. Отныне она была полновластной хозяйкой целого острова. Ее подданные повиновались ей раболепно, в храмах ее имени дено и пощно совершались богослужения в ее честь. Сотни прекраснейших юношей погибли или были изувечены на турнирах и ристалищах, наградой в которых были ее улыбка или взгляд. Толпы людей, стоявших на коленях, ожидали леди там, где она должна была появиться, придворные поклонялись одному ее изображению, а в ее присутствии повергались ниц. Власть леди на острове была безраздельна, малейшее ослушание или ошибка жестоко каралась самими подданными, доносившими друг на друга в безумной жажде абсолютного повинования, которое не только граничило с самоубийством, но порой и оборачивалось им — то тут, то там совершались ритуальные самоубийства и жертвоприношения во славу леди, о которой затем слагали и распевали гимны. Были случаи, когда новобрачные завершали ритуал бракосочетания тем, что бросались под колеса ее повозки и погибали, раздавленные ею. Когда

того, кого звали просто Каприз, провели в покои леди, она стояла у окна и рассеянно смотрела вдаль. Леди медленно повернулась на звук распахнувшейся двери и, проведя рукой по лицу, казалось, с трудом стерла выражение тупой пустоты. Пока человек, которого звали просто Каприз, шел к ней, она медленно оживала и вдруг с усталым, тоскливым, угрюмым торжеством вскинула руку вверх. Гость и хозяйка смотрели друг другу в глаза и молчали. Наконец она произнесла: «Сегодня я счастлива».

И тогда тот, кого звали просто Каприз, сказал, что людей, дарящих счастье, много, что многих он встречал на своем пути, что некоторые полагали, будто сам он из их числа.

НИКТО НИКОМУ НЕ РАВЕН

Все последнее время господин Ренатов пребывал в тяжелом, подавленном настроении. Будь он человеком чести, он пустил бы себе пулю в лоб, но он был человеком дела и потому искал выход. Выхода не было. Ренатов чувствовал, что он как будто бы оказался в мрачном подземелье, сыром и душном склепе с низкими сводами. Стены сжимались, потолок давил, ловушка захлопывалась, капкан терзал плоть. Впереди маячило позорное и трудное бегство, дальние бега — трусцой, с пожитками, по пересеченной местности, петляющим зайцем или волком (это все равно), под прыгающие прицелы винтовок. Охотники уже рыскали вокруг, собак натравили на след — спасения не было, и приходилось думать о том, как прежде всего спасти шкуру, а затем — как затащить в нору то, что удастся унести. Все пошло прахом, а причиной была проклятая предприимчивость, затмившая чувство самосохранения, даже не предприимчивость, а удаль, молодечество, купеческий размах, никого еще не доводивший до добра. «Воистину, кого Бог захочет наказать, того лишает разума», — повторял Ренатов, грузно ворочаясь на пышной постели. Подушки душили, одеяло угнетало, пух набивался в уши и глаза — это была мука и ад. Вскочив с кровати, Ренатов забегал по дому, превращенному им в музей, с ненавистью глядя в лазурные глаза мертвецов, смотревших на него с портретов. Лазурь жгла, золото, парча, шелк и кисея глумились, фарфор и мрамор бесчувственно насмеялись над ним. Им было хорошо, мертвым нарядным вещам, из которых была изгнана живая

душа, а он страдал и задыхался. Жестоко колотилось исколотое сердце. Страх наступал, ловил за шею, за лодыжки ледяными об-ручами, и в животе вдруг возникали холодные провалы, как будто он срывался в пустоту. Ренатов понимал, что впал в самый страш-ный грех — поссорился с чудовищем, с Государством, с системой, безликой, с блином вместо лица, что он бежит впереди танка, на-стигающего его неотвратно, и что сталь сомнет его в кровавую лепешку. Он был не лишен воображения, и это не имеющее ни лица, ни даже облика чудовище, Государство, представлялось ему Франкенштейном, гомункулусом, выращенным в гигантской кол-бе, уродом, укутанным в плащ, усеянный множеством глаз — как Смерть в средневековом миракле. Теперь он попался под ее косу, под лезвие, и пропадет так же нелепо, как появился в этом мире — не знаемый и не ведомый никем, тростинка, возникшая на пути стального взмаха. Он вытирал пот и понимал все явственней и от-четливей, что гибель его будет позорной и страшной.

Ренатов налил полстакана коньяка, жадно выпил. Он тер ви-ски, он хотел видеть живую душу. Не домочадцев, не секретаря, не друзей с их постным соболезнованием — все это было не то. Ему нужен был человек, живой, грешный, простой в своем грехе, пусть даже погрязший в нем — он поймет ситуацию. Тут важно именно понять ситуацию, остальное пустое. Нужен был человек безза-стенчивый и органически циничный, конкретный, задубелый, ко-торому есть выгода все это выслушать, человек, не способный на ахи и охи, стоны и пристоны. Погибающему нужен погибший, ко-торому удалось спастись, — так это сформулировал Ренатов. И та-кой человек был. Был! Ренатов грохнул кулаком по столу и налил еще. Через полчаса к нему привезли Разецкого, поспешно одетого, не выспавшегося, продирающего глаза. Они остались наедине.

Разецкий закусывал, пил, снова закусывал, моргал глазами. Он искренне не понимал причину волнения хозяина. Он спешил подкрепиться, по старой привычке, впрок, изживая подкожный лагерный голод. Ренатов расхаживал взад и вперед и терпеливо объяснял, что произошло. Не так давно он отправил в Лондон, на аукцион, большую коллекцию художественной старины. Конъюнк-тура, сложившаяся на рынке, должна была обеспечить не просто выгодную — роскошную, баснословную продажу. Вещи были по-добраны тщательно, каждая с прошлым, со своей легендой, с изю-минкой. И так все было прекрасно, не было никакого повода для

беспокойства, но Ренатову все было мало, и он придумал грандиозный номер, о котором сейчас даже говорить противно. Для потехи, для форса, на потребу поганой иностранщине, он взял из одного места одну вещь, представляющую немислимую художественную и историческую ценность, национальное достояние России, реликвию, святыню... «Ну что, шапку Мономаха, что ли?!» — вернул Разецкий. Ренатов поперхнулся и побагровел: «Ну ты говори-говори, да не заговаривайся», — прохрипел он. Взял, используя все свои связи, просто вырвал у академика-хранителя, с которым, кажется, случился инфаркт, взял в полной тайне, чтобы привлечь внимание к аукциону, на котором эта святыня должна была быть выставлена для обозрения, не для продажи, упаси Господи. Успех грандиозный, немислимая сенсация была обеспечена! И вот самолет — бац! разбился, и святыня накрылась вместе с ним. Все!

— Ну и что? — спросил Разецкий, выпивая и закусывая. Ренатов усмехнулся со страдальческой иронией.

— Академик поднимет вонь, — с трудом сказал он.

— Да в рот его граблями, — хохотал Разецкий.

— Святыня погибла, — констатировал Ренатов мрачно.

— Нет, — веско сказал Разецкий, глядя Ренатову в глаза. — Святыни не погибают. Сошьют новую, условно говоря, шапку. Умельцев на Руси еще хватает. Скорняки, золотошвейки, малахитных дел мастера и прочая братия. Будет еще лучше.

— Копия? — с ужасом сказал Ренатов. — До Президента дойдет. Затравят меня, Разецкий, спуска не дадут, на кол посадят, на собственных воротах повесят.

— Какая ерунда, — задушевно сказал Разецкий. — Кому это надо? Все шито-крыто. Святыню на место. Тому, кто дал, последнее предупреждение. Да кого это вообще сейчас волнует? До того ли... Нет, конечно, действовать надо быстро и осторожно, в связке с теми, кто давал, они тут подельники и первые виновники, это в их интересах. Но если я что-то смыслю — на кол в случае чего посадят только вопиющего академика. Если будет вонять... Еще академикам давать волю. Это куда ж мы докатимся! Западная пресса в курсе?

— Нет! Появление реликвии должно было быть сюрпризом,

— Отлично. И не узнают ничего. Нет, тут главное — крепкая связка с теми, кто давал. Вы дали, я потерял. Давайте думать, как теперь это дело поправить. Все просто. А с академиком, боюсь,

надо кончать. Но это вопрос второстепенный, технического порядка. Вы никакой шапки никуда не возили, знать ничего не знаете. Вот она — шапка. Носите на здоровье.

— Нет, не так все это просто. Привяжутся.

— Да, действовать надо быстро. Главное — положить на место. При непосредственном участии тех, кто давал. Главное, чтобы они приняли. Вы вернули. И нет проблем. Никому этот вопрос сейчас не нужен. Не то время. Не тот уровень проблем. Что вы! Это яйца выеденного не стоит.

Ренатов сомневался, бегал, крутился. Однако надежда, рожденная не то Разецким, не то алкоголем, уже появилась.

— Аналогичная ситуация была недавно в Джорджии, — напомнил Разецкий. — Там пропили сокровища царя Джорджика. Заложили их в банк, выкупить, естественно, не смогли. Ну и что. Перезаложили под двойные проценты. Получили сумму. Прошел срок. Перезаложили под четверные. Получили сумму. И так далее... Говорят, четыре поколения смогут жить-поживать на сокровища царя Джорджика. А потом — откуда мы знаем, что будет потом. Кому сейчас до этого дело. Что-нибудь произойдет. Выпугаются. Да и никого уже в живых не останется. А тут шапка. Шапка кругла на четыре угла. Нет никакого резона беспокоиться. Дело житейское. К тому же трагедия — самолет разбился. Форс-мажорные обстоятельства. Но копию, конечно, надо сделать. А то неудобно может получиться.

— Форс-мажор... Копия... — чертыхался в сердцах Ренатов.

— Кстати, — сказал Разецкий. — Из другой оперы. Тут вертелся вокруг меня один кент, очень противный, похож на сыскаря. Хотел купить шекспировское «кварто», которое пропало у Петражицкой. Я говорю — нет у меня. Так он недавно снова возник и вроде достал, теперь хочет продать вам. Не знаю, наверное, блефует. Мое дело передать.

— Передай, если объявится, что если у него есть, я возьму. Ворованное не ворованное — вещь стоящая.

— Сыскарь, — убежденно сказал Разецкий.

Ночь катилась к утру. Изрядно нагружившись спиртным, они еще долго обсуждали детали и подробности того, как окончательно решить вопрос с реликвией, которую Разецкий упорно продолжал называть «шапкой Мономаха», несмотря на вялые протесты Ренатова. Когда Разецкий ушел, Ренатов еще долго сидел за

столом, перебирая все тонкости так и этак, прикидывая подходы, связи, последствия и дела. Надежда, несомненно, была, но ситуация оставалась очень неприятной, под ложечкой сосало, в желудке возникала предательская пустота, так что Ренатов решил себя добить. Он выпил полный стакан, свалился на диван и впервые за последние дни провалился в глубокий сон. Очнувшись спустя несколько часов, он принял душ, побрился, плотно позавтракал и с ошущенным внезапной бодрости и свежести принялся раскручивать маховик своих связей, умоляя, путая, предостерегая, обещая и памская. Через очень непродолжительное время его деятельность принесла первые плоды.

СЧАСТЛИВЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ

И дымчатый, розовый, искрящийся Лондон цвел, как майский сад. Юный Алан Грей, эсквайр,пил вино весеннего воздуха, пока теплая ладонь солнечного зайчика гладила его щеки, еще не знавшие ни бритвы брадоброя, ни девичьих поцелуев. Алан Грей приехал посмотреть столицу и повидать детского своего приятеля. Мальчишками они много дружили, юношами мечтали о славе и любви, и вот Алан остался скучать в своем захолустье, а дружок его пустился на поиски приключений и по слухам уже снискал известность на театральном поприще. Он бушевал и буйствовал на сцене, он сочинял, витийствовал, знал гром аплодисментов — он жил. Алан Грей мечтал. Он ждал любви и ехал к другу, как к волшебнику, познавшему всю тайну бытия.

Маг и чародей пришел к нему на подворье, и они бросились в объятья друг к другу. Нисколько он не изменился, все то же воинственное выражение весеннего кота на круглом лице, вот только глаза — порою в них мелькало отсутствие интереса к происходящему, точно они обращались зрачками внутрь и вглядывались во что-то притягивающее взор. Это продолжалось мгновение-другое — потом они снова вспыхивали и с необыкновенно живым, горячим, ласковым блеском смотрели в лицо Алана. О театре он говорил сквозь зубы, без восторженности, твердо и серьезно, о жизни — легкомысленно и беззаботно. Реальность и игра в его рассказах то и дело менялись местами, и Алан помирал со смеху, когда он изображал влюбленную старуху, и чуть не заплакал, когда он рассказал о девушке, умер-

шей от любви. Когда они пришли к подмосткам театра и уселись в толпе народа, Алан уже не знал, что призрак и сон, что явь — Лондон, Вестминстер, Тауэр, дворы, закоулки, подворотни, с которыми были связаны странные, возвышенные и дурацкие истории, или это зрелище потехи, крови и забав, или лицо девушки, прекрасное, как туманящееся в рассветной дымке утро. Юная зрительница, румяная от волнения, хлопала в ладоши, а Алан, чье сердце билось сильнее и сильнее — там, в ее маленьких руках, — сидел с раскрытым ртом, косился на позорище страстей и чувствовал нешуточную страсть. Он воспылал, судьба его сбылась. Друг понял все — сцену, любовь и жизнь, — театр умолк, народ рассеялся по сторонам, свист разрезал воздух и затих, экипаж прекрасной незнакомки они преследовали, задыхаясь на бегу. Так Алан обрел обитель, где был единственный приют тоскующему воображению первой любви. Но пока он плакал, сетовал и воспарял душой, друг разыскал служанку юной госпожи. Они открыли все: леди жила со старой теткой, вздорная старуха не спала по ночам, одежда горничных была приятелям впору — друг их разжалобил, уговорил и одарил. Настала ночь признания, ночь молитвы у подножия Любви.

Переодевшись, они проникли в дом и разошлись: Алан в чертоги юной леди, хранить ее золотые сны, друг в покои старой ведьмы, чтоб исполнять глупые ее причуды и развлекать чуткий недремлющий слух.

Алан был у порога волшебного блаженства — признания, готовые сорваться с его уст, томили, ранили, но — пленительное сонное дыхание, прелестная линия капризного тела, изгиб ноги, округлость плеч, овал щеки — о, это покрывало, под ним сокровищница свежести и чистоты! Спи, чаровница грез, и грезы брезжут, бредят, мерцают, меркнут, и я бреду и берегу — на берегу — то, что во мне разбередила ты...

Друг примостился у постели старухи и, сторожа ее сон, монотонно читал по книге. Время от времени он неодобрительно поглядывал на всю эту рухлядь, накрытую одеялом, рухлядь, которую и телом-то нельзя было назвать — студень из костей. О, эти старухи, Господи, помилуй, о святое таинство любви и дружбы, о низость всех, кто смеет восставать на юность, страсть и чистоту! Старуха очнулась от забытья, гибко изогнулась под одеялом и выглянула из-под него. Однако! У старой ведьмы необыкновенно живые и яркие глаза, как обожженная луной летняя ночь! Он стал

читать еще монотонней, еще бесстрастней. Старуха не засыпала, глаза ее мерцали. Внезапно она вскочила и села на кровати. Ах! О Боже... Перед ним была Венера, сотканная из розовой пены волн.

Алан томился и страдал. Он то карабкался по увитой плющом стене, то молился, коленопреклоненный, то уносился страстью к небесам. Чудо как хорошо! Изваянная молитва, храм неги, торжество любви, ее безбрежная ласкающая греза. Возлюбленная, обожаемая, желанная всегда, вовеки, с истоков дней и до конца времен! Райский рассвет, блаженство! Еще лишь миг, любимая, еще мгновение, раскрой уста... Ты просыпаешься, ты возвращаешься из мира снов в царство волшебной любви. Ах! О Боже...

Старуха с всклокоченными волосами сидела перед ним на кровати и, потрясая кулаком, звонила в колокольчик, звеневший странно — погребальным звоном с далекой деревенской церкви. Но он уже бежал со всех ног, в коридоре столкнулся с ошарашенным своим приятелем, и кубарем они вдвоем вылетели из дома и понеслись стремглав, пока ветер юности бил в ее парус, упругий и чистый, словно девичья грудь с твердым, как ранняя земляника, соском.

Спустя некоторое время Алан Грей и леди обвенчались и благодатное воображение юного эсквайра торжественно бракосочеталось с еще более счастливой действительностью.

ДАЛЬНОБОЙЩИК КОЛЯ

Незадолго до того как Висконти попал в больницу, он читал принесенный ему на рецензию роман. Роман назывался «Абсурдная жизнь абсурдиста», и его автора Висконти знал хоть и не близко, но достаточно подробно. Автор был неудачником, быть может, не классического толка, а своеобразной его разновидностью. Он был талантлив, работал в постмодернистской манере и видел мир как абсурд — смешной или трагический (это не важно) хаос, лишенный целесообразности и смысла. Восприятие нашего мира абсурдист сравнивал с первым впечатлением пьющего человека от только что выпитого стакана водки: горько, жутко, стыдно, страшно (не пойдет ли назад) и — скоро должно быть хорошо. Стало хорошо. Поел. Потянулся за вторым, третьим. Отруб. Провал. Ужасное похмелье. Вот наш мир. Так живописал существование абсурдист.

Работал он в разных жанрах: творил и маленькие юмористические рассказы, почти реалистические, и повести, в которых абсурд уже пер, как тесто из кастрюли, и романы, лишенные и верха, и низа, и добра, и родства, и зла. Так шел за годом год. Абсурдист писал, изредка публиковался, в лучшем случае появлялись недоуменные отзывы, в худшем — никаких, а сам тем временем влачил существование моли — что-то на лету хватал на радио или в газете, ни чина, ни звания, ни жалования абсурдист не имел. Он был писарь, шуршавший пером, пока его более удачливые ровесники весело сыпали ему бумажный снег на голову. Обидно, конечно, тем более возраст, болезни, надвигающаяся, как паровоз, старость и ни одной близкой души в целом свете. Абсурдист стал замечать, как абсурд заполняет его собственную жизнь, и это был уже не литературный абсурд, это было по-настоящему. Порой ему хотелось расправиться с миром и изобразить его в тонах черного юмора, как выгребную яму, на дне которой людишки копаются в поиске золотинок, которые тащат в скупку, порой он начинал заискивать перед этим чудовищем и жалко подмигивать ему в своих сочинениях, изображая, как где-то в Зазеркалье все преломляется в отточенный огранный смысл. Так родился роман «Абсурдная жизнь абсурдиста», где автор описал свое существование как грязный каламбур, безжалостно выставив себя в роли марионетки, зажимающей уши, чтобы не слышать смех богов, а порою хихикающей этому смеху в унисон. Впечатление было жалкое, Висконти морщился, кряхтел, и все же боль, сквозившая в этих строках, была подлинной, кривляния прятали слезы, гримасничанье, как грим, скрывало лицо, сведенное судорогой отчаяния, и Висконти, чертыхаясь, дочитал сочинение до конца, впервые за время знакомства с автором испытал ощущение чего-то подлинного. Это была молитва абсурдной букашки, светящейся моли, порхающей бесцельно на морозе жизни, но — молитва, и это искупало все. Висконти принялся писать рецензию, но тут болезнь его обострилась, и он угодил в больницу, в хирургическое отделение, ему сделали операцию и уложили в палату. Здесь его ожидало бездействие, книги, журналы и — знакомство с соседом, шофером-дальнобойщиком Колей.

У Коли была забинтована шея, которую ему продыривила ножницами его зазноба, отчаянная и странная девка Любаня. Она была диспетчером — она и отправила Колю в рейс, отмечая ему путевой лист, и эту Любаню Коля и любил больше всего на свете.

Но странная это была любовь, дикая, странная и пустая. Бешеный мужской напор Коли быстро дал плоды, но Любана не успокоилась, не стихла, а наоборот, вроде как обиделась на себя за проявленную уступчивость и стала Колю мучить, отвергать, высмеивать и отрицать. А Коля, как муха в клею, увязал в своей страсти все больше и больше. Вместо водки он теперь покупал цветы, только их она брала с удовольствием, он безумствовал и тосковал, лишенный ее уступчивости. А смех товарищей? А ухмылки начальства? А гнев напуганной родни? Коля терпел многое, но еще хуже было то, что у него на Любана начала ехать крыша. И он рассказывал Висконти, как в ту пору, когда он гнал машину по шоссе, он начал бредить, и виделось ему, что он не здесь, не дома у себя, а в Англии, где его зазноба каким-то образом стала королевой и жестоко мучает английский народ. Здесь появляется Коля и уходит в леса, собирает отряд вольных стрелков, отряд ширится, множится, в него стекаются и окрестные крестьяне и горожане, растет движение, а Коля становится легендой и надеждой. Любана правит все круче, погибает всем салазки. Отряды Коли продвигаются с боями по стране, громя Любаниных наймитов, и вот наконец им удастся захватить телецентр. Коля выступает с обращением к народу. Тут он спросил Висконти, как будет по-английски: «Я пришел дать вам волю». Висконти улыбнулся и сказал: «Ай эм э стрейндж рашэн дримэр». Коля задумчиво повторил. И больше — ничего. Пусть восстание погибнет, пусть Колю захватят в плен и казнят. Для него был важен сам миг его выступления по телевидению перед английским пародом и надменной Любаней. Это было его торжество, и даже в мечтах оно поражало его своей невыразимой сладостью. Коля дремал, и Висконти дремал, пока дальнобойщик не принимался травить байки про своих приятелей, про злую, околдовавшую его девку, про нелепую и все же милую его шоферскому сердцу жизнь, дорогу и путь. Висконти слушал вполуха, нога болела, Коля трепался довольно бессвязно, но все же одну его историю он выслушал с вновь проснувшимся интересом. Вот как это понял Висконти из сбивчивого рассказа Коли.

Жил такой Витя, и была у него в жизни большая любовь и большая ненависть. Он больше всего на свете любил свой завод. Каждый день с личным разводным ключом Витя являлся на работу и крутил гайки, прикручивая их к днищу подводных лодок. Это был труд настоящего мужчины: впотьмах, в тесноте, понукаемый

руганью грубых товарищей, Витя крутил гайки, и ничто на свете не могло ему помешать. Сколько подводных лодок построил Витя, он уже и сам не помнил, знал только, что они ходят по Мировому Океану. Его дело было крутить. Существовало только одно неудобство: ключ на работе оставлять было нельзя, Витя должен был забирать его с собой. Из-за этого возникали сложности в транспорте, да и люди посмеивались над Витей, дети, завидев его еще издали, кричали: «Мужик с ключом идет», и как он ни крепился, было все равно неприятно. В конце концов он нашел-таки выход: купил футляр для виолончели и стал класть ключ туда. Получалось, что идет музыкант, виолончелист. И смеяться перестали.

Больше всего не любил Витя в своей жизни Пушкина. Этот похабник, как его называл Витя, занимал в русской культуре совершенно неполюболюбимое место. Похабщина Пушкина заключалась в беспорядочных половых связях, в длинном донжуанском списке и вообще в неправильном поведении. Витя грозился вывести его на чистую воду и твердо знал, что рано или поздно так оно и выйдет. Но Пушкину еще суждено было принести Вите решающую неприятность. Все получилось так. После работы Витя со своим футляром пошел в стояк и крепко выпил. Когда он вышел на улицу и, еле-еле передвигая заплетаящиеся ноги, пошел к остановке, навстречу попался мент. Мент этот посмотрел на Витю с неудовольствием, но трогать не стал, а вот сам Витя сплоховал: страж порядка внешне очень был похож на Пушкина, и это так Витю поразило, что он не удержался и, погрозив кулаком, громко произнес: «У, злодей!» Тут же его и замели, прокатали на машине, выгрузили, раздели и бросили на койку. Самое же обидное, что Пушкин-мент так на него обиделся, что едва не избил и обругал как-то особенно жестоко. В довершение ко всему утром, когда разбудили всю пьяную шатобратию, потерялись Витины ботинки, так что всех уже давно отпустили, а Витя все сидел и сидел на жестком диванчике. Было бы совсем грустно и тяжело, но внезапно Витя почувствовал что-то, напоминающее вдохновение. Тогда он достал бумагу, перо, и полились стихи:

Я заключен в недобром месте.
Несправедливо заключен.
Супруга милая, мы вместе,
Хоть я с тобою разлучен.

Зачем мешал я водку с пивом?
Кому конкретно я мешал?
Порядка страж с лицом глумливым
Схватил, повлек, арестовал.

На Пушкина похожий внешне.
Он был такой же и внутри.
Арап душой меня, конечно,
Продержит долго взаперти.

Стихи писать умею тоже.
Из космоса ловлю сигнал.
А мент сказал, что даст по роже,
И хамуидом обозвал.

Какое грубое прозвание!
Какая горькая судьба!
Но верю я в свое призвание
Разоблачать страстей раба.

Ты, Пушкин, грешную свободу
Посеял в недра борозды,
Я разверну лицом к народу
Другую сторону звезды.

Прощай, невольник низкой страсти!
Сейчас отворится замок.
Противник твой до самой старости,
Шагаю смело за порог!

Внезапно распахнулась дверь, и Пушкин в милицейской форме вырос на пороге: «Ну ты, поэт, получай свои чоботы и выметайся отсюда». Перед Витей шлепнулись два рваных, невероятно старых башмака. Обувь была не его, но он уже рад был и такой. Обувшись, он вскочил, побежал к двери, обернулся, погрозил курчавой голове и бросился вон. И только на улице вспомнил, что футляр с гаечным ключом забыл. Приходилось возвращаться, доказывать, требовать... И снова Витю посетила ненависть к Пушкину, этому маленькому, вездесущему, всепроникающему человеку,

который не оставляет его в покое нигде, который отнял у него любимый разводной ключ и лишил тихих радостей и семейной неги. «У, злодей!» — сказал Витя и пошел вызволять свое орудие труда. Но вернули ему только ключ, куда делся футляр, выяснить так и не удалось.

Выслушав рассказ Коли, по мере которого в голове у Висконти сплелась собственная история, он спросил:

- А как его фамилия, этого Вити?
- Опушкин.
- Бедная Россия, — пробормотал Висконти.

Скоро он заснул, и снилось ему, как Опушкин преследует бедного гениального любовника, разбирает его в товарищеском суде, пишет о нем в стенгазете, пока Пушкин воровски урывает от жизни радости любви и шалит все больше и больше, лишь изредка по-волчьи оскаливаясь и огрызаясь. Сон уже плавно перетекал в кошмар, когда его разбудил Коля. «Пока, — сказал он. — Рана неглубокая. Обработали, и привет. Выписывают меня. Мне завтра в рейс. Пожелай, что ли, удачи».

Висконти пожелал, Коля улыбнулся и ушел. Его ждала дорога, странствия, лёт — одним словом, дальнбой.

УБИЙСТВО ПОЛОНИЯ

У крысы родился цветок, и она принялась за ним ухаживать: окапывать и поливать. Утром, когда на лепестках, обрызганных росой, дробилось и ломалось солнце, крыса думала о своем ребенке и молилась о его судьбе. Цветок был голубой, как крысиные глаза, и когда он отражался в них, зрачки становились ярко-синими и излучали свет.

Трагедию ломили во всю ивановскую, народ валил валом. Ему пожаловали роль Призрака — ломака говорил замогильным голосом, подражая чрево вещателю, которого слышал на ярмарке. Тучный молодой человек с навостренной шпагой и больным сердцем заслонял в миг его появления лицо ладонью, как от огня, хватаясь рукой за грудь и говорил так, словно каждое слово резало глотку ножом.

Народ торжествовал, как мечь, которая должна была свершиться, лишь только наступит срок. Срок наступал. И тут он

покидал бесплотные покровы Тени и воплощался — незримо для актеров и для зала — в увесистое тело, казалось, созданное для того, чтоб унавозить землю, он прятался за занавесь и плотно-ядно, подло, самозабвенно обращался вслух. Он был придворным, подданным, слугой, нижайшим, раболепным существом. Он был хозяином, отцом, распорядительным и мудрым, законопослушным гражданином. Две ипостаси сливались воедино — раб и господин встречались в извивах плоти, сладострастно выпытывали друг у друга тайну рабства, секрет господства, шушукались и обжимались, шепча на ухо заветные слова. Меж ними возникала дочь, и осторожно, чтоб не обдать дыханьем чеснока — чесночная подливка к мясу была вкусна, — они внушали ей запреты, заклинания. Добродетелью не одолажаются — ее пускают в рост. И тело, девичье тело — только заклад, под него дают хорошие проценты. Так-то, дочь, так устроен свет, невинность пользуется спросом, избави Бог продешевить или потерять — враз подхватят, унесут. Обворованные и обиженные смешны и жалки. Так же и талант, хе-хе, он что невинность — каждый норовит попользоваться, откусить и надругаться. Будь скромненький, сочинитель, будь прост, приятен и любезен в обращенье и под шумок старайся оставаться самим собой — не приведи Господь лишь прилюдно похвалиться независимостью. Кропай, покуда цел твой дар; ты, доченька, играй, пока цела твоя невинность — я найду ей примененье. Мне пора — безумец может развалить наш мир...

И занавесь круглилась, овевая очертанья сосуда тела. И молодой одутловатый человек, борясь с одышкой, хватался за шпагу с криком: «Крыса? — пронзал и радовался: — Мертва!» Старик захлебывался кровью и еще силился дать последний — наипужнейший — совет.

Цветок благоухал безумием.

Он распахнул окно. В лицо била волна цветущего ветра с лугов, прохладная дразнящая свежесть. Дым вдохновения, полный гари и запаха крови, унесло вдаль, чадный аромат слился с мирозданием, утонул в нем, как капля в кубке, и горечь исчезла без следа. Смятение развеяло, и мир принял его без остатка — окно было распахнуто, Вселенная раскрыта настежь, и в ее просторы струился воздушный вал.

Рукотворный космос хрустальной сферой плыл среди миров, и его творец растворился в толпе людей. Поднимаясь ввысь, плечом

к плечу, отдельно друг от друга, они шли, как снегопад, опрокинутый в небеса.

В окно лилось дыхание лугов, реки и дальнего леса.

СМЕРТЬ СТАЛКЕРА

Пока Висконти лежал в больнице, он, благо у него было много свободного времени, мало-помалу предавался размышлениям о краже у Петражицкой. Преступление было занятной игрушкой, он как будто чиггал детектив, участником которого (а может быть, и героем?) был он сам, и он на разные лады прикидывал, как было совершено преступление, которое мог содейть любой из них, гостей того званого вечера. Старые мысли о преступлении крутились у него в голове, и Висконти то вел охоту на преступника, то сам был им, вновь и вновь переживая совершенное тогда вечером, и прикидывал, как лучше замести следы. Процесс охоты, поиска, игры в прятки захватил его не на шутку, и когда в его палате появился неожиданный посетитель, представившийся ему довольно невнятно, но чем-то, быть может, каким-то наивным цинизмом вызвавший у него интерес к себе, Висконти был уже готов к диалогу. Незнакомец интересовался происшедшим в тот злополучный вечер. Объяснений больной у него не потребовал; Висконти даже обрадовался: теперь процесс его размышлений обретал законченную форму и, как следствие, — аудиторию. Он разглагольствовал, он размышлял вслух, его гость — жадно внимал, изредка прерывая его вопросами, но прежде всего терпеливо и внимательно выслушивая. Висконти был весьма польщен таким искренним и сочувственным вниманием.

— Видите ли, — говорил он, — на первый взгляд дело не стоит выеденного яйца. Есть безусловный кандидат на роль вора — это Разецкий; есть очевидный мотив — его собственная жадность или приказ Ренатова. Ренатову, конечно, безумно было жаль расставаться с этой вещицей, он мог подарить, потом одуматься и приказать Разецкому вернуть подарок таким оригинальным образом. Быть может, это так и есть, это было бы по-своему нормально. Но что-то мешает мне с этим согласиться. И видимо, именно нормальность. Преступление, вообще говоря, вещь всегда ненормальная, граничащая с болезнью, плавно перетекающая в нее. Так что нормальных мотивов здесь искать не следует.

— Иван Ильин болен, — тихо, но настойчиво сказал гость.

— Совершенно верно, — подхватил Висконти. — И это только доказывает, что в этом деле присутствует элемент безумия. Однако Ильин, так сказать, безумен слишком очевидно. Тем более, что сам характер его болезни таков, что, соверши это преступление он, о нем давно уже всем стало бы известно. Так что едва ли это Ильин — бедный парень в последнее время находился в таком состоянии, что даже возводил на себя напраслину. Однако в его бреде мотив кражи не присутствовал. Так что нет, не Ильин, — задумчиво сказал Висконти и вдруг подмигнул собеседнику. Тот напряженно вздохнул:

— Кто остается?

— Остаются трое, — весело сказал Висконти, — я, Лебязьев и Ополченцев. И тут, надо сказать, шансы абсолютно равны. Мотивов никаких, то есть множество и все чисто психологические. Психология на редкость, так сказать, психична, а следовательно, граничит с патологией. Патология — нравственная, душевная, духовная — называйте как хотите — имеется у всех троих, так что выбирайте на любой вкус.

— Объяснитесь, — довольно грубо сказал незнакомец. — Что за патология? В том смысле, что все негодяи?

Висконти вздохнул:

— Все мы занимаемся искусством. Это и материал, и мотив для преступления. Творческие натуры, надо вам сказать, вообще редко бывают нормальны. Конечно, существует уравновешенное искусство, но не о нем речь. Есть искусство и искусство. Есть служение, послушание, восхождение — есть ремесло — есть поучение — и есть дерзание, безумие, магия. Последним занимаются люди крайне неуравновешенные, неуправляемые, возбужденные, ранимые и безумные. Все мы трое принадлежим именно к этому типу людей искусства. Такие люди всегда преступники, независимо от того, совершают они уголовно наказуемые деяния или нет. Они преступны по природе, живут на черте и — часто оказываются за чертой. Все они страдают маниями: преследования, величия, вины, греха, все и осознают свою болезнь, и живут ею, и хотят от нее избавиться, и стремятся ей отдаться. Все это давно известно: люди сумрака, ни свет, ни мрак, тени, скользящие из тени в тень. Часто они очень талантливы, порою им удается, в конце концов, обуздать себя, по все они — так или иначе — совершают множество

ошибок. Спасение этих людей в том, что в них бьется живая жизнь, через них проходит какой-то существенный излом существования, поэтому покуда они живы, их бытие и их подвиги — подчас очень некрасивые — имеют объективно важный для жизни смысл. Эти люди несовершенны и поэтому живы. Они — часть жизни: та, в которой воплощается ее мятущаяся и мятежная стихия. Впрочем, я очень далек от того, чтобы их нахваливать: преступление есть преступление, и коль оно совершено, ловите вора.

— Найдем, — мечтательно сказал гость. — И все-таки, кто из троих?

— А вот этого я вам сказать не могу. Хотя бы потому, что не считаю себя лучше других. Я, или Ополченцев, или Лебязьев? Какая разница? Не я, так мог быть я. А может быть, и я, а может быть, должен был сделать я, да не успел... Не в этом тут совсем дело. Тем более, что чисто криминальная сторона этого поступка, я уверен, скоро исчезнет, книга вернется на свое место. Художники того типа, о котором я вам говорил, принадлежат к саморегулируемым — живым — системам. В этом, кстати, вся соль. Любая система — и человек, и общество — должна саморегулироваться. Способность к этому есть, быть может, единственный признак жизнеспособности. Его отсутствие означает смерть. Художник, о котором я вам втолковываю, постоянно нарушает закон, но существует он на свете до тех пор, пока действует закон саморегуляции — механизм равновесия. — так как есть Высший Суд, которому все мы подложим. Ошибка ошибкой, но способность к ее осознанию остается решающей, необходимо, так сказать, извлекать уроки. Все мы теперь знаем, что происходит с обществом, лишенным способности извлекать уроки из происшедшего. Так же и с человеком. Так что дело не столько в ошибках, сколько в том, что произойдет с человеком после того, как он их наделал. Но тут еще и общество может помочь, топорно, но действительно — взмахом топора. Так или иначе — все вернется на круги своя, и книга вернется на место, и маятник качнется в обратную сторону, — это только эпизод. Исчезнет конкретный повод, послуживший толчком, и все образуется. А насколько мне известно, он уже исчез, — Висконти загадочно улыбнулся.

— Что такое? — насторожился посетитель. — На что вы намекаете?

— Молчание, — сказал Висконти, поглаживая себя по груди. — Потерпите еще немного.

Гость настаивал, Висконти отнекивался. Они зашумели, и пришедшая медсестра попросила посетителя не утомлять больного разговорами, а потом и выпроводила его вон.

Висконти задремал и проснулся только под вечер, в предзакатную тревожную пору, поужинал, потом долго читал, курил, разговаривал с медсестрой и снова уснул. Его разбудил шум в коридоре.

— Сталкера, сталкера привезли, — кричали голоса.

Висконти вышел в коридор. На каталке мимо него провезли молодого мужчину с белым, как известь, лицом.

— Что случилось? — успел спросить он у медсестры. Та отмахнулась:

— Плохо... Сталкер...

Висконти вернулся в палату, лег, но заснуть так и не смог. Какое-то время спустя в коридоре снова послышались голоса: «Поздно... Как же он так... Какое несчастье...» Висконти гадал, что произошло, и ему уже казалось, что он это знает.

О сталкерах он впервые услышал лет пять назад. Тогда газеты и телевидение сообщили об очередной научной сенсации: врачи открыли способ передачи физической боли от больного реципиенту-добровольцу, который был согласен взять чужие страдания на себя. Способ был нужен при операциях, во время которых было невозможно применение наркоза, а также для облегчения страданий безнадежно больных, которым наркотики уже не помогали. Суть состояла в том, что путем электронно-биологической связи между больным и добровольцем-реципиентом первый не чувствовал уже никакой боли, тогда как второй испытывал за него всю полноту физического страдания. Помогали прежде всего больным детям и обреченным старикам. Добровольцев прозвали сталкерами. Их было не так много, но они были — любимцы боли, и тогда в печати появилось несколько статей и интервью с ними. Потом сообщений стало меньше, были слухи о том, что сталкеры создали подобие рыцарского мистического ордена, что они создают или уже создали некое тайное учение. Потом было несколько сообщений о трагической гибели кого-то из них, об уголовных историях, связанных с ними, историях, носивших достаточно неприятный характер. Эксперимент заглох, видимо, его стали свертывать, и поговаривали, что отныне этим делом занимается военное ведомство. Понять, что произошло с движением сталкеров, было труд-

но, но Висконти не так давно услышал от знакомой, связанной с медициной, версию того, как в действительности обстояло дело с добровольцами, которые пришли на помощь детям и старикам.

Знакомая рассказала Висконти об одном случае (и, как она сказала, уже не первом), когда сталкер спровоцировал свою любовницу на принесение ему физической боли во время любовных утех, в результате чего, когда игра зашла слишком далеко, получил тяжелые повреждения. Выяснилось, что он приобрел привычку к болевым ощущениям, возникли определенные физиологические реакции и на их основе — психологический комплекс, который он и пытался реализовать во время этой злополучной встречи. Был суд, закрытый, подругу сталкера пришлось оправдать, так как со стороны ее партнера была явная провокация, и дело замяли. Но потом эта история повторилась еще в двух или трех случаях. Возникла печальная закономерность, и врачам пришлось еще раз задуматься о сложности человеческой природы.

Когда Висконти вышел в коридор, там было уже тихо, и только в комнате медсестер шептались о том, что, к сожалению, на этот раз сделать уже ничего было нельзя и сталкеру, который помог многим, хирург не смог помочь ничем.

— Финиш, — повторяла медсестра.

Висконти нервно запахнул халат и пошел курить последнюю сигарету.

СТАРЫЙ ОТЕЦ ДЖОН

Пока сумрак, еще разреженный светом, медленно наполнялся темнотой, тонкой и древней, как театральный прах, они сидели за столом, под деревом, и уже неясно различали друг друга, словно глаза укутала милосердная, легкая и нежная, точно пыльца, врачующая и обволакивающая пелена. Мир затих, моря стояли в чайных блюдцах, и ветер дул на воду слабым дуновением малого ребенка или глубокого старика. Отец Джон бесшумно вздохнул. Когда-то в юности он вырывался на свободу из объятий плоти, теперь эти объятия перестали быть оковами, душа была поводырем, а не смирителем брата Осла, и тот уже готов был завалиться набок, в песок, под глину, в комья. Напротив него сидел Старатель, зарывавший душу в комья плугом,

встававший на колени в сочной жемчужно-черной грязи и промывавший грунт. В распадке он увидел небо, там было солнце, дождь и облака.

«И некий свет», — сказал отец Джон, глядя перед собой в чуть белеющие очертания его лица. Он выслушал рассказ о тайнах ремесла, о вдохновении и воплощении, о нюансах и ударах топором, о балаганном промысле и о базарной мишуре. Все было так: жажда, мякоть, сок, женственная влага, питье из лепестков и мандариновая долька розового мизинца, пятна губ, их уголки; лунки, овалы, порою глупость, порою жадность, дерзость, любовь и самолюбие, восстанье, благоговение и робость, пожары, дым, развалины дымящейся пурги, фонтан туманов, брызги росы и капли пота, пена загнанных страстей, колючки, волчья ягода и острое жнивье. Ребенок на руках у матери — он родился в шуме раздвигаемого занавеса, в шелесте бумажной листвы, под скрип телеги с хламом, костюмами, отрубленными картонными головами и срезанными косами париков. Клюквенный сок оборачивался кровью, грушечный меч пронзал по рукоять, и гром аплодисментов грохотал громом небесным, чрево вещало, черпак размешивал, утроба, потревоженная бороной, плодоносила, крестьянин шел к храму унавоженным возделанным путем. Отец Джон знал этот путь, как знал, что загогулины и петли петляют не дорога, не лучезарная стремнина, не свет, — огоньки, болотные, срывающиеся с места вертушкой, так что порой волшебный ручей, в котором были смешаны услада, перегной и желчь, мстилось мостить железным камнем. Но эта месть, это железо, вырванное из-под земли, как жало изо рта змеи, грозило истощить и рудники, и скалы по всей округе.

Отец Джон не пришел в волнение и не смутил свой дух. Он лишь еще раз взгляделся в то белеющий светом, то чернеющий провалом овал лица, перекрестил его и, глубоко задумавшись, ушел в себя. Когда же он снова поднял глаза — никого не было, и он остался один.

Старатель, тяжело ступая, вошел в дом и, не зажигая света, разобрал постель, разделся и лег в кровать. Ровный, как жужжание улья, гул церковной молитвы рос и полнился в голове. Он парил в воздухе, не касаясь постели, и незримая ладонь, казалось, бережно поддерживала его тело и не дрожала, и не сжималась в кулак. Слабое прикосновение чуть уплотнившегося воздуха вдруг коснулось

его губ. Он робко улыбнулся и произнес: «Это ты, Кристофер?» Он вдруг понял, что может и должен задать только один вопрос, и тут же спросил: «Кристофер, Бог слушает только своих?»

Он ждал и не ощутил никакого ответа, лишь прохлада, как тонкая ладонь, овеяла губы и лоб.

ТЕАТР ДЛЯ СЕБЯ

Роскошное итальянское палаццо на одной из красивейших пабережных города, танцующего на болоте, заключало в самой своей сердцевине волшебное магическое зеркало, маленький театр, театр для себя. Крохотный зал, сцена с нависающей над ней ложей, мраморные стены, лепнина, резные подсвечники, люстра-звезда, расписной, в купидонах, гоняющихся за нимфами, потолок. Хозяин театра, рослый вельможа в расшитом камзоле, держал его себе на потеху да на усладу любимых гостей, страсть к театру была у него в крови. Труппа — полсотни крепостных, парни и девки, бабы и мужики — играли так, как и не снилось ни немецким трагикам, ни итальянским комедиантам. Для тех театр был профессией, для крепостных здесь была воля, страсть к игре была одновременно и порывом к свободе, выходом из клетки рабского существования. Здесь с шеи сваливалась веревка и трескалось ярмо, здесь разгибался хребет, и игра была уходом в другой мир, где любовь, свет, тепло, нежность — все было по-настоящему, ибо на этом позорище и гульбище страстей происходило волшебное освобождение: раскрепощение душ. С тех пор прошли века, но раскрепощенность так и осталась сердцем маленького театра, и играли в нем для себя. Здесь уже давно собирались актеры, устраивали в узком кругу спектакли и зрелища, здесь было театральное кабаре, и успех в нем стоил гула восторженных похвал огромного зала. Здесь знали толк свободе и пытались найти равновесие между законами сценического мастерства и благодатью творческого вдохновения.

Именно сюда, в этот маленький зал, Витя Ополченцев пригласил однажды вечером компанию, которая собиралась достойным званым вечером у Татьяны Пстражицкой. Пришли Ренатов с Разецким, Висконти, Лебязьев, сам Ополченцев — все, кроме Ильина, находившегося в больнице. Рассевшись в зале, гости внимательно смотрели на сцену, убранную тяжелым занавесом.

весом, пока между его складок не появился Ополченцев, одетый, как конферансье: темный костюм, белый треугольник рубашки, ярко-красный галстук-бабочка. Ополченцев выдержал паузу, обвел взглядом рассеившуюся по залу компанию и сделал приветственный жест.

— Господа, — начал он. — Я собрал вас, как вы уже знаете, по просьбе нашей доброй знакомой Тани Петражицкой, которая, так сказать, незримо присутствует среди нас. Злополучное событие, разразившееся в доме Татьяны, не должно и не может остаться без последствий. Совершено преступление, раритет утрачен, преступник остается безнаказанным. Таня убедительно просила меня провести с вами то, что сейчас называют сеансом театральной психотерапии. Когда-то это гениальное открытие одного из знаменитейших деятелей русской сцены называлось театром для себя. Что такое театр для себя? Это зрелище, в котором каждый становится актером и проживает какую-либо роль. Часто такую роль, которая связана с его потаенными желаниями и страстями. Это тайное тайных находит сценическое воплощение, и человек освобождается, раскрепощается, обретает покой и волю, и — счастье, господа. Представьте себе, что у вас есть заклятый враг, которого вы ненавидите всеми фибрами души. Пожалуйста: театр для себя к вашим услугам: ваш враг в вашей власти, и вы вольны казнить его или миловать, проявить благородство или отдаться чувству мести. Вообразите, что недоступная, обожаемая, страстно желаемая женщина томит вашу душу и плоть. Вот театр для себя. Она в ваших объятиях, и вы можете осуществить самые немыслимые, самые дерзкие свои желания. Гарем раскинет для вас свои покои, гурии слетятся на ваш зов, Изольда возляжет на ваше ложе, и вы сможете утвердить или убрать меч Тристана, который вас разделяет. Вы бедны, больны, несчастны и задавлены жизнью: пустое — театр для себя открывает свой полог, и в мире нет богаче, могущественней и властительней вас. Смелее — переступите порог: в театре для себя всегда зажжены огни, он пуст и полон зрителей одновременно, в нем тихо, и он кипит шумом возбужденной толпы. Вы его хозяин и раб, король и подданный, суверен и вассал — в одном лице. Итак: театр для себя!

Наш театр освободит всех нас от чувства вины за то, что произошло тогда в доме у Тани, а заодно — кто знает? — быть может, и устыдит преступника. Сейчас, пока он не открыт, каждый из нас в той или иной мере является участником преступления, хотя бы

потому, что на всех нас лежит тяжелое подозрение. Я предлагаю вам — каждому из вас — сыграть роль преступника на этой сцене, а попросту говоря, разыграть кражу «плохого квартета». Мы поочередно будем актерами и зрителями и каждый войдет в театр для себя. Войдет почти интимно, хотя зрители на этот раз все-таки будут. Я закончил. Прошу вас высказываться, господа, — Ополченцев обращался к каждому.

Лебяжьев и Висконти нашли идею забавной. Ренатов, хмыкнув, сказал, что не видит в этом никакого смысла и что валять дурака не собирается. Разецкий, помявшись, согласился, но сначала попросил слово для важного сообщения. Слово ему тут же предоставили.

— Я должен вам сказать одно, — начал он, взбираясь на сцену. — История эта уже закончена, и вор признался. Так или иначе, а все вы знаете это. Студент, Ванька Ильин, который сейчас в психушке, незадолго до того, как туда попасть, признавался друзьям, что он преступник, твердил, что совершил преступление. Парень бредил об этом в общаге — соседи по комнате прекрасно это слышали. Теперь мальчишка заболел, ну и гора с плеч. Винават он или нет — неважно, может быть, и воровал цементаемый. Это тонкости. Важно, что он раскололся. Когда его подлечат, заставим его вернуть книгу. Если же она пропала, то придется, разумеется, искать другие пути и средства. Но сама история, повторяю, уже закончена: парень сознался.

— Я категорически протестую, — сказал Лебяжьев, поднимаясь с места. — Ильин все последнее время находился в плачевном состоянии и явно возводил напраслину на себя. Кроме того, в его отсутствие такие обвинения не уместны. Я знаю, что он не преступник. Сейчас он несчастный больной.

Висконти горячо его поддержал. Ренатов молчал, неопределенно хмыкая.

— Хорошо, — откликнулся Ополченцев. — Мы примем ваше сообщение к сведению. А пока не угодно ли вам, господин Разецкий, сыграть роль преступника, предварив ее вступительным словом о том, почему бы вы совершили преступление, если бы вы его совершили. Вот я кладу на стол книгу.

Разецкий наморщил лоб.

— Ладно. Пожалуйста. Если бы я это сделал, я сделал бы это просто потому, что захотел. Во времена этого Шекспира говорили,

кажется, так: человек — это микроб космоса. То есть он сам космос и все заключает в себе и в то же время сам ничтожно мал. Ничего чужого поэтому вроде как и нет. Вот я подхожу к столу, беру книгу, кладу в карман и ухожу. Вот. Все.

Разецкий спрыгнул со сцены. Ему вяло похлопали.

— Теперь вы, Александр Сергеевич, — напутствовал Ополченцев.

Лебяжьев вышел на сцену и стал говорить о том, что мысль о совершении преступления могла бы зародиться у него только в одном случае: если бы он пристально занимался Шекспиром и эти занятия стали бы для него своего рода манией. Тогда стремление овладеть книгой, к которой могли прикасаться пальцы самого Шекспира, могло бы стать для него наваждением, с которым он не смог бы совладать. Дело в том, что книга, до которой дотрагивался Шекспир, означала бы для него что-то неизъяснимое, как само счастье: она стала бы для него как бы слитком души самого гения, и он мог бы потерять рассудок и захотеть завладеть ею, чего бы это ему ни стоило. Так что для него это означало бы прежде всего помрачение рассудка, и действия его были бы прежде всего автоматическими, как если бы край одежды попал в механизм, и его стало бы затягивать. А сделал бы он это так: Лебяжьев осторожно подошел к столу, быстро взял книгу и сунул ее под ремень.

— Прекрасно, — сказал Ополченцев. — Теперь я.

Он начал сбивчиво говорить о том, что всегда мечтал играть шекспировский репертуар, что великий драматург был богом театра и что погружение в его образы действительно может поднять со дна души нечто такое, от чего не застрахован никто. Тем более, что об этом нечто человек может и сам не подозревать. Контакт с гением, который предполагает театр, и спасителен и опасен, поэтому он, вероятно, действовал бы, как сомнамбула, — и он показал, как в гипнотическом полусне подходит к столу, ласково гладит книгу и бережно уносит ее, пряча за спиной.

Следующим был Висконти. Он просто сказал, что если бы это сделал, то только повинуюсь неясному капризу, прихоти, о которой, конечно же, потом бы сожалел, но не подчиниться которой порою не имеет сил. Человеческая природа прежде всего капризна. Прихоть — своего рода психологический закон, и раз уж он начинает действовать, устоять человек, как правило, не может. По-

чему это так, объяснить невозможно. Может быть, это оборотная сторона свободы, которой предан каждый человек. Может быть, это просто кто-то зло шутит над человеком, маня его лишь призраком освобождения. Бог знает. Но каприз царит в этом мире, и капризны не только женщины и дети. Насвистывая какую-то мелодию, он приблизился к столу, взял книгу, повертел ее в руках и сунул за пазуху.

Роли были сыграны. Ренатов на повторное приглашение ответил отказом, и тогда Ополченцев вздохнул и предупредил его, что в этом случае он как хозяин театра для себя будет вынужден показать его сам.

— Извольте, — буркнул Ренатов.

— Пожалуйста, — еще раз вздохнул Ополченцев.

Он вспрыгнул на сцену, мгновение постоял на ней и вдруг ментально перевоплотился. Перед зрителями стоял Ренатов — с точной его повадкой, статью, жестом. Воображаемый Ренатов постоял несколько секунд в задумчивости, а потом лениво хлопнул в ладоши. Тут же Ополченцев превратился в Разецкого. Он встал на четвереньки, он был собакой и в то же время Разецким, точнее, злой карикатурой на него. Собака стала виться у ног хозяина, жаться и ласкаться к нему. Тогда Ополченцев-Ренатов спустил собаку-Разецкого с поводка и повелительно указал рукой. Тот подбежал к столу, обнюхал книгу, схватил ее зубами и принес хозяину, который с надменным выражением небрежно погладил собаку по спине.

Сцена закончилась. Воцарилось молчание. Перевоплощение Ополченцева было настолько актерски-точным и карикатурно-верным, что становилось не по себе. Вообще всем стало вдруг чрезвычайно неприятно — картина была слишком живой. Лебяжьев смотрел в пол. Висконти крутил головой, как будто ему жал воротничок. Внезапно Разецкий, красный от злости, сорвался с места и закричал: «Да, книгу взял я. Но не потому, что он... Я сам... Мне так захотелось... Все равно доказать это невозможно. Вот вам! Сам захотел и сам взял! Книга моя. И на Шекспира мне наплевать. Я делаю, как я сам хочу. По собственной воле! А вы... Эх, вы, что вы обо мне знаете? Вы думаете, я слуга? Да я столько о всех вас знаю, что если я вас заложу, вам всем будет плохо. И ему... И ей... Всем! Что вы о себе думаете, что воображаете? Да я...» — он махнул рукой и выбежал вон из зала.

Спустя несколько минут грузный Ренатов, развалившись в кресле, заговорил о том, что, дескать, вообще-то, может быть, Разецкий превратно понял некоторые его намеки, но он его не науськивал, это точно. Однако если он действительно украл «квартиру», это его дело. А раз он признался, управу на него он так или иначе найдет...

В это время в маленькой ложе, нависающей над сценой, за плотным занавесом Татьяна Петражицкая благодарила своего еле различимого в сумраке соседа за доставленное удовольствие. Она сказала, что находит его работу выполненной, и пообещала увеличить сумму вознаграждения за нее.

ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ

... Когда они лежали в постели и курили, отдыхая после любовного поединка, огоньки сигарет кровоточили во тьму, млечно наполняемую чуть видимым дымом, и он, еще держа руку на ее теплом бедре, говорил какую-то невнятицу, вроде: «Все хорошо, ты ведь понимаешь, как все хорошо, и через неделю будет так же хорошо, и еще через неделю, и еще», — а она капризно ежилась под одеялом, как будто выпуская коготки, точно кошка, и бормотала: «Отстань, дурачок, что ты в этом понимаешь, в самом деле?» — и действительно, было так замечательно укрыться от недоброго идиотского мира в этой маленькой квартирке под куполом темноты — как хотелось порой, чтобы так и не наступил рассвет и можно было затеряться в вечности, чтобы не было ни нас, ни времени, ни работы, ни звонка будильника, кричащего петухом и прогоняющего милых ручных демонов ночи, даже не демонов, а так, домовых, малых сил, хранящих твой покой и твою любовь, так далекую от страсти, так пронзенную нежностью до самой мякоти плода. В том-то и была поэзия, чтобы каждый раз расставаться чуть ли не навсегда и не думать и не тревожить друг друга, чтобы потом, вдруг, как из-под земли вырасти на пороге и снова окунуться в негу покоя, уединенности, полнейшей безучастности ко всему происходящему вовне — да, надо было предоставить всему идти своим чередом, не вмешиваться, не тревожиться, не трогать, чтобы почувствовать всю целостность той бестревожной близости, которая была любовью для двоих, как будто они были

первыми мужчиной и женщиной на остывающей от бешеного вращения на Божьем гончарном круге рукотворной глиняной земле. Так будет вечно, думалось ему, и в этом чередовании ярких вспышек и пауз, длившихся аккуратно из недели в неделю, был какой-то природный ритм, послушный высшему началу, как дыхание моря с его приливами и отливами, таинственно подчиняющимися ровному металлическому блеску луны.

Она была согласна, она лишь думала, что это отнюдь не море, а бассейн, нечто геометрически правильное, прирученное, отмеренное — и никаких приливов и отливов, вечный штиль — изученный, как стиль Флопера, — и его гладкопись не надоедает никогда. Каждую субботу с той же загадочной точностью, как человеческий голос проходит сквозь телефонные провода, они просачивались друг к другу сквозь каменные ходы, пробитые в городской тверди, упавшей звездой прямо с небес, — и в этой путанице, по которой вдоль и поперек неслись намагниченные желаниями тела, они притягивали друг друга с неизменной верностью, доходившей до пунктуальности. Они были верны себе, и изменить что-либо в их отношениях было невысказанно, кощунственно, безбожно. Это означало бы просто самим отказаться от себя. Они хотели прохладного тепла, и вот это невозможное лежало на ладони, и его можно было погладить, как котенка.

Когда настало утро — не безучастный серый и жесткий, как рентген, рассвет, а ослепительное, сияющее, сверкающее солнечными алмазами утро, — она легко вскочила и, мягко ступая босыми ногами, пошла на кухню варить кофе, все больше окунаясь в его знойный, плотный, плотский аромат. Чашки дымились на столе, белый хлеб, масло и сыр притягивали взгляд и манили, клубничный джем алел в розетках — все было чисто, просто и ласково, как в детстве. Они сели завтракать, чему-то смеялись, шутили и все как будто боялись дотронуться друг до друга, словно были стеклянные. И верно: все вокруг, они сами, предметы, вещи, обстановка, сам воздух были такими хрупкими, точно сделанные из легчайшего хрусталя, который тихо звенит даже тогда, когда его никто не касается, быть может, от одного дуновения или скольжения пылинки. Малейшее прикосновение грозило разбить это хрустальное утро, невозможно было пошевелиться и перевести дух, и все же он собрался с силами и произнес те слова, которые она уже знала: «Таня, пропавшее «квартира» взял я».

Слова были сказаны, и он медленно посмотрел ей в лицо. Все то же непроницаемое счастливое выражение, безмятежность и покой. «Продолжай», — тихо сказала она.

Он встал со стула, сходил в комнату и принес старинную книжку в кожаном переплете.

— Продолжать, собственно говоря, незачем. Вот она.

— Я об этом знала, — устало и лениво сказала она.

— Да? Как ты догадалась? — механически спросил он.

— Видишь ли, я наняла частного сыщика. Ты в пьяном виде, когда вы сидели в фойе театра, распространялся о браконьерстве Шекспира как установленном факте. А в «кварто» лежал документ, вложенный в письмо английского шекспироведа, в котором обосновывался этот факт. Ты прочитал и забыл, откуда тебе стало известно об этом, и стал болтать. Сыщик стал искать мотив, попутно проверяя остальную компанию, и узнал от кого-то, от Ополченцева или Висконти, не знаю, что ты написал цикл новелл о Шекспире и Кристофере Марло и что у тебя была какая-то странная теория о том, что, чтобы создать произведение искусства, необходимо перейти через черту. Хорошенькая, кстати, теория для известного ученого и преподавателя Университета, каким ты являешься. Это тебе не приходило в голову?

— Видишь, Таня, — сказал Лебяжьев, — литература и наука о литературе и Университет — это, как бы тебе объяснить, это храм. Поэтому, кстати, все мы и бедны, как церковные мыши. Но храм этот очень странный. Представь себе церковь, которая одновременно является сумасшедшим домом. И священник, и клир, и прихожане в храме литературы несколько не в себе. Однако идет служба, и молитва в этом храме остается молитвой, а священник не отлучен от сана. Просто искусство — это очень страшная вещь, и храни тебя Господь от знакомства с ней. Конечно, я совершил преступление, но это было необходимо и неизбежно. Это мучительно, но это так. Единственным моим оправданием является то, что я никогда не скрыл бы от тебя, что это сделал я. И еще: я действительно написал о Шекспире и Марло, и не сделай я того, что сделал, этого не было бы.

— Все это очень печально, — сказала она. — Но я по крайней мере тебе не судья. Мне приходилось делать вещи похуже. Правда, не с друзьями. Бог с тобой. И, кроме того, знаешь, я недавно кажется, тебя поняла. На свой лад, разумеется. В кои-то веки я попала на

днях в метро. Давка, ругань, духота. И тут меня притиснули прямо лицом к стеклу, под которым висели правила поведения пассажиров на станциях открытого типа. Так вот, там каждый пункт начинался словами: «Запрещается», «Пассажирам не разрешается», «Пассажиры обязаны» и т. д. И я почему-то вспомнила тебя и всю эту историю. Тебе-то ведь в метро приходится ездить каждый день.

— Да, — сказал он рассеянно.

— Ну ладно. Тащи свои рассказы. Только читать я буду в одиночестве. Ты меня не беспокой.

Когда она прочла, был яркий полдень и впереди был теплый и легкий день, сумерки, вечер, полночь, ослепительный и мягкий свет любви, бережная и осторожная ночь. Под утро ей приснился сон.

Она лежала на берегу моря. Рядом с ней был кто-то незримый и волшебный, и ей было легко и чудесно с ним. Высоко шумели деревья, травы шелестели под знойным ветерком, и весь сон был согрет каким-то особенным, светящимся теплом. Никогда ей не было так легко. Рядом с ней был Кудесник, Мастер. Он подул ей на волосы, и это было еще приятней, чем дыхание ветра. Птица села ей на руку, и звери выходили из леса и клали головы на колени. Кудесник шептал ей на ухо, слова его согревали сердце, но смысла в них как будто бы и не было — особенного смысла, лишь простота и ласка. Она пыталась заглянуть ему в лицо — он оставался незримым, и все же присутствие его было вполне вещественно, телесно и осязаемо рукой, кончиками пальцев. Она чувствовала, как его десница касается ее головы и гладит волосы. Внезапно она ощутила тихий и в то же время пылающий ласковым огнем восторг.

Тогда неведомо откуда возникла Волшебная Книга, и звенящий ветер разнес по лугу волшебные магические слова, от которых земля стала вращаться чуть быстрее, и у нее закружилась голова. Тогда она, как в воронку, стала соскальзывать в еще более глубокий сон, по отношению к которому первый сон был реальностью, и там над ней, над головой, в небесах, тихо, как нежная музыка, как шум деревьев и пение птиц, звучали слова, сладость которых манила и увлекала за собой:

Забава наша кончена, Актеры,
Как уж тебе сказал я, были духи
И в воздухе растаяли, как пар.
Вот так, как эти легкие виденья,

Так точно пышные дворцы, и башни,
Увенчанные тучами, и храмы,
И самый шар земной когда-нибудь
Исчезнут и, как облачко, растают.
Мы сами созданы из сновидений,
И эту нашу маленькую жизнь
Сон окружает...

РЕПЕТИЦИЯ

Из журнала Энтони Тапмэна

От автора

Так и не преодолев свою лень — труд напрасный, поскольку безделье есть природное и сокровенное мое достояние, — я, как паук паутину, соткал из себя новый опыт: памятные повествования, посвященные дорогим мне друзьям, отчасти покровителям, коих поспешу назвать поименно, поскольку все они суть лица реальные, а то, что иных уж нет, едва ли не утверждает эту реальность на новых — и уже высших основаниях: Иван Ильич, Виктор Ополченцев, Александр Аргунов, Иван Архипович Лебяжьев — имена, которые звенят у меня в ушах маленьким, чистым, словно льдинка, серебряным — с хрустальной колющей звездной россыпью. всеобъемлющей, точно пчелиная цветочная пудра — колокольчиком.

Милые, милые призраки ушедшей юности — на алтарь какой банальности мог бы я еще вознести свои молитвенные приношения, — нет, мне остается только внутренне — горестно и одиноко — сжиматься и выпускать коготки: сладкого и терпкого минувшего вернуть невозможно, поэтому такие излишества повседневности, как Волшебный Фонарь, Магическое Зеркало и Заколдованный Глобус, оказываются предметами, животворящими самый быт, а дыхание ночи, льющееся через край... (вот она, пошлость, не успевшая стать таинственной) — я забиваюсь куда-нибудь в угол, и только шум в ушах, только шум, рядом с которым сами слова не более, чем вскрики и хрип. Да, эти истории есть попытка воскресить ушедшее время, попытка дерзновенная, как сказали бы, и скажут, не одни здравомыслящие люди, после чего немилосердный ропот закономерно коснется не столько творчества, сколько личности автора. Несомненно (рано или поздно) автора разъяснят, так что у него есть только малый промежуток времени, наполненный пересудами мнений, — в дальнейшем скандал, после которого, как сломанную куклу, его выбросят туда, где уже валяется много целлулоида и тряпья. Что делать — автор не дает себе труда ломать голову над тем, к

чему ведет столь курьезная судьба, надеясь, впрочем, перенести ее с хоть сколько-нибудь приличествующим случаем достоинством, и продолжает настаивать на том, что не хотел ни провести публику за нос, ни выкинуть еще какой-нибудь номер, а лишь вернуть, хотя бы на бумаге, те времена, когда сам не то что не брался за перо, но и не помышлял об этом, тогда как друзья и отчасти покровители его знали подлинную известность в кругу немногих знатоков, которым единственно стоит доверять. Вот о чем речь — единственно лишь о людях, достойных своей юности, и о юности, удостоивших их многими знаками своей милости, когда в их головах, осененных, как многие полагают, свыше, не различались ни дары, ни подарки, ни, наконец, удары, оказывавшиеся по дальнейшему рассмотрению лишь рыцарственными прикосновениями меча; о глотках вина, в котором яд уже заключал в себе противоядие, о всех моралите, опровергавшихся прежде, чем они успевали прозвучать, чтобы тем вернее запечатлеться на сердце, подчас вовсе минуя рассудок, что, раз пошатнувшись, шатался все более и более, как зуб, который пришлось удалить; наконец, о последствиях, ибо важнее всего только лишь частные подробности и последствия, оказывающиеся сплошь и рядом весьма и весьма отдаленными — об этом мой журнал, подписанный подлинным моим именем, которое обрел не сразу, а лишь испытав многое и многих пережив — многих запечатленных в памяти, теперь же и на бумаге, далее подпись, не более затейливая, чем самое сочинение, приличествующее своим тоном и стилем событиям, о которых в нем повествуется; подпись, восходящая к собственноручному автографу, о чем свидетельствует рукописный оригинал: сочинитель (вопреки разнообразным обстоятельствам жизненного пути, о которых умалчиваю) Энтони Тапмэн, сочувствователь, сотрудник и сопечальник.

От издателя

Журнал Энтони Тапмэна был уже готов к печати, когда пришла печальная весть о том, что продолжения, обещанного автором, не последует. Это тем более грустно, что многие обстоятельства жизни Ильина, Ополченцева, Аргунова и Лебязьева, не проясненные или даже мистифицированные автором, могли быть раскрыты — теперь надежда, которую питают преданные истории литературы специалисты, увы, остается тщетной. В то же время появилась новая на-

дежда: если удастся получить доступ к бумагам Тапмэна, в них могут отыскаться такие факты и свидетельства, которые, быть может, сам автор не намерен был предавать огласке. Пока специалисты находятся в ожидании того, подтвердятся ли предположения доктора Спиридонова о патологическом инфантилизме Лебяжьева и Аргунова, о сумасшествии Ополченцева и об инцесте, совершенном Ильиным, предлагаем вниманию знатоков отрывки из журнала Тапмэна. Это законченные фрагменты некоего повествования — или самостоятельные произведения (мнения публикаторов расходятся), посвященные описанию обстоятельств жизни и творчества героев в разную пору их существования. Независимо от художественных или документальных достоинств повествовавший Тапмэна, они обладают определенным фактографическим значением и своеобразным ароматом эпохи, выражающим дух «интересного» времени в жизни России. Публикуя извлечения из журнала Тапмэна, мы считаем необходимым подчеркнуть, что преследуем исключительно научные цели, отвечающие в какой-то мере запросам знатоков и любителей историко-литературных изысканий.

В заключение один нюанс или — как угодно — штрих. На памятном академическом собрании доктор Спиридонов выдвинул несколько доводов — одни коллеги сочли их интеллигентными, другие импрессионистическими — в пользу того, что Энтони Тапмэн принадлежал к высокоорганизованным малопочтенным существам, уклоняющимся от полезной деятельности и всем занятиям предпочитающим сон.

К доводам Спиридонова мрачно прислушивался его закадычный недруг пьяный профессор Гварнери. Внезапно он вскочил, с отвисшими, как от медвежьей болезни, штанами, в засаленном перхотном пиджаке, с шелковым шарфом на апоплексической шее, в протекших страшных растоптанных башмаках.

«Додумался, блин, — рывкнул он и показал аудитории красный невымытый кулак. — Хотя, — тут же впадая в пьяную рефлексию, пошел он на попятную. — Не то чтобы котяра... Слишком ленив... Едва ли... Котишка не то, что перо — палку в лапы не возьмет... Но вот навсять, помурлыкать, набарабанить хвостом... Резоны есть...»

Тут у Гварнери зарябило и задвоило в глазах, в ногах возникло сильное нестроение, он запрокинулся назад и тяжело просел.

Спиридонов меланхолично вздохнул, аудитория загудела, и с усов Энтони Тапмэна осыпалась золотая пыльца...

ВИДЕНИЕ НА НЕБЕ

В морозный млечный мраморный полдень, когда Санкт-Петербург колеблется и зыблется и, восставая, рушится — беззвучно — а солнце еле касается земли лучами и плывет бледной яичницей в растопленном бесцветном мареве, как в масле, и в сердце вдруг возникает, точно звук оборванной струны, предчувствие, что все мы лишь капельки масла на обожженной льдом сковороде и нас не снять с нее, чугунной, пока, мучительно срастаясь, как в гипсе сломанная кость или водопроводная труба под сваркой, не воссоединится человечество, заброшенное, точно театральные хлам, и мировая коммуналка — не расселенная, склерозная, пьющая всклянь — вдруг, на пустой манер, на шару — воссияет в лучах, рвущихся в купол.

Дымка мороза, брезжущий снежок, слепительные вспышки и взвихренные сполохи — призрак пурги в каждом закрученном пружинной упругом свитке — змеи, мелькающие тут и там и ускользящие вдаль, — дорога, несущаяся вслед за ними, — вдруг буранный посвист и удар ветра в лицо, пронзающие иглы, внезапно безмолвие, в котором кроется и гром, и рык, и звон, и грай, и клеткот степных бездопных перепутий... Иван Ильин предстоял в сгустившемся до сметанной белизны воздухе, в пространстве площади, в пустоте — казалось, фата-моргана сама и выткала, и вытолкнула его вон — из чрева, из хрустального шара, червленного узорами снежинок — намороженной рыбой, что вся как лед — в теплый круг лампы, в обжитой комнатный полумрак — мне, сочинителю, вам, публике — с мороза в разноцветные ромбы домашнего театра.

Он был поэт, живородил слова, вонзал, плел, бередил, свистал. Ильин жил с приподнятой грудной клеткой, выпирающими ребрами и лопатками, как полурастворенные окна: он горел, обугливаясь, и в этой худобе и смуглости был пожар, набег, всхрап и посвист: мосластый, с татарскими скулами и черной челкой, походил на лошадь с запавшими боками, шалую от гона.

Ильин с усмешкой глядел в мои бумаги, листал, отодвигал устало: «Красивости, нецеломудрие, брснчание и абсолютная нетрезвость, даже не рассудка, а воли — не знаю, куда ты клонишь — тем более, что ты твердишь о голой правде — почему голой? — такой бывает ободрачная туша — Тапмэн, я отобрал бы у тебя перо,

когда б не знал, что все это только шутка и способ отогнать черные мысли, развеять скуку. Пускай. Ты хочешь переиродить Ирода, и глицерин уже течет по скулам, звучат рыдания и на позорище страстей веет нешуточным поджогом: рукопись тлеет под рукой, но где же холод, где глазомер, где мастерство. Нет, я не вмешиваюсь и признаю: ты научился коротать безделье. И все же ближе к суги. а не одни лишь шорохи и вскрики.

Дух бьет навзмах. Вот он летит морозным утром: в осеннем пальто, нелепый, с клубящимся дыханием, с обнаженной головой — как на похоронах — он устремлен стрелой и все же мечется по городу, на разлинованной бумаге он чертит ломаный, с острым локтем, зигзаг. Город дробится и хрустит, как битое стекло, промытый бокал туманится, скользит, гладит ладонь — круг обегает его мгновенно, пока кристальная льдистая волна набережной не бросает его к мосту, и город весь вытягивается в линию роскошной панорамной перспективы. Как будто гвардейский полк в строю, на марше, ощерившись холодной красотой, с усмешкой: не на дымящихся развалинах, что поражают на пепелищах двухтысячелетних столиц — нет, мозговая судорога недавнего прошлого, голубая кровь в черных жилах, выдумка, восторг забавы, потеха воспаленного сознания», — Ильин протягивал руку к сфере, рукотворная, она ложилась в ладонь и оборачивалась черепом, Иван глядел в пустые глазницы и цитировал, цедея сквозь зубы монолог. Город-череп бесстыдно обнажался до кости — и кости летали по сукну, стучали, выбрасывали цифры. Игра, давнишняя прихоть зимних вечеров капризной бабочкой накрывала площадь, пепел мертвел, алый огонек прожигал покров насквозь и лезвие вылетало из рукояти — Ильин метал карты пестрым роом, и город загорался усмевающимся бубновым королем.

Тогда Иван обретал монаршую милость и преклонял колена, пока меч не касался его плеча. В тот же миг он срывался с места и со всех ног бежал по мостовой к свинцовой пучине Невы, движущейся под уклон, смятенной, увлекающей за собой отраженное небо.

Тут под рукой возникает белизна бумажного листа, чернила кажутся розовыми, бумага отликает серебром и осенний желто-зеленый достоевский лист с подгнившим краем ложится на столешницу, чтобы отрезать мне пути назад. Итак: пластилиновый Иван Ильин, что автор мял в руках, оборачивается если не человеком, то марионеткой, прыгающей на поднобесных нитях, — Иван попался и уже бежит к ловушке.

Сюжет? Он есть, но прежде несколько замечаний. Ильин существовал буквально, затем он стал героем, и вот упругость, неподатливость, непроницаемость живого существа ложится контурами на бумагу, ножницы вырезают силуэт — готовый профиль украшает сочинительскую тетрадь. Что делать с Ильиным? Он вдруг становится безделицей, кривлякой, побрякушкой. Власть автора записок оборачивается произволом, любое обстоятельство судьбы выскакивает, как чертик из шкапулки, пружина, стянутая в узелок, выбрасывает игрушку вон, механизм начинает танцевать, заученно, затверженно, отмеривая такт за тактом. Немога раскрашенной персоны — молчание, оборачивающееся лишь беззвучием, и колокольчики стучат костяшками, пульс тикает бегло и сухо. Без всякого притворства автор разымает живую ткань — и волокна высыхают под его рукой. Вот она, опасность воображения, восторга мозгового бреда. Тогда я отрекаюсь от проклятой своей мечты, я принимаю новые обеты — и шпага, что глотал факир, дрожит в руке дождливым жидким переливающимся оловом.

Ильин бежал по набережной, вывороченные плиты на месте недавней бомбардировки преграждали путь — казалось, мозг был также перепахан и вздымался пластинами, ломтями хлеба с грубой, влажной, покрывшей скатерть крошкой, — здесь был дворец, укромный, вырубленный, точно церковь, в скале — весь город был изваян в огромном куске породы — метеорит, чиркнувший по небу, обернулся мягким сырмом, и люди-мыши проделали в нем ходы, проели переулки, площади, дворы — Ильин не чуял ног, дыхание стало острым, в боку торчал книжал, Ивана кидало из стороны в сторону, как пьяного, — ему был нужен мост, и мост съезжал к подножию горы грохочущим в вязге сочленений, в звоне разбитых стекол трамваем — символом, вечно сующим изуродованный нос в каждую дырочку прохуdivшейся судьбы. Иван был уже у цели, в перекрестье прицела той винтовки, что он сам навел — самоубийца, прохожий и снайпер; прицельный крест осенял, бил рикошет, Ильин стряхивал каменную крошку, осыпавшую голову и плечи.

Он был у цели. Он озирался по сторонам. Картина, исполненная чудного, немного, ослепительного, сверкающего духа, простиралась перед ним. Раззолоченные палаты сильных мира сего, железный посох, поверженный враг, — змея, раздавленная у подножия дворца — несущийся скакуном в огромную даль мир, что лежит во зле и упивается своим земным величием — торжество

двуликой блудницы — надо всем бесстрастное северное небо, скорлупа яйца в чуть видных паутинках, проклонувшийся птенец иного неба и иной земли. Но Ильин уже терял себя, опускаясь на колени в снежную пыль, — клюв ранил его в висок, который изнутри он ощущал черным проломом, куда хлынула кровь — вместе с ней он терял силы, рассудок, обладание собой — болезнь, долго гнавшаяся по пятам, занимала его опрокинутое обмороком сознание, как опустевший дом...

Ильин безумствовал и — погибал, лишь для того, чтобы по вене ударили чернила и он, фигляр, марионетка, гаер, вдруг прыгал по ступенькам строчек, сорвался — и полетел в пролет, пробитый в рукописи, как пролом в стене, — одним ударом топора в пружинящую пустоту прошлого, загнанного груженым товарняком в тупик, и будущего, свистящего миражным экспрессом на дальних подступах.

Слова пегляют зайцем по взбитой перине, по яичной пене — и птица крестит лапками пылающий вдоль лезвия луча снег, раскаленный добела и вновь сожженный чернотой зрачка.

Стоп: пауза, каданс. Излишества возобновятся, но прежде — в щелочку раздерга занавеса длинный пригляд за тем, что делают актеры, готовясь к представлению.

Юность — это терпение судьбы, внезапно его сменяет гнев. Девятнадцатая весна принесла студенту Ильину телеграмму о смерти отца. Телеграмма нашла его на четвертый день. Шли майские кутежи, Ильин пропадал сутками. Он забрел домой случайно, на миг — его ждала вечность. Потом он метался по городу, доставал деньги, летел в свою провинцию. На похороны он не успел. Свежая земля дышала сырой землей, не было еще ни надгробия, ни ограды. Горе Ильина было упорным и молчаливым, его нельзя было заслонить ничем. Иван тосковал о том, что не разделил земного прощания с отцом, и чувствовал себя преступником.

Вскоре Ильин вернулся в Университет. С матерью он простился невнятно и смутно, как в чаду. Они были больны своей болью, и реальность теряла очертания и расплывалась, точно в дурном сне. День перетекал в ночь, наполнял ее странным мертвенным светом, в котором предметы и люди не отбрасывали теней. Сознание плескалось под рукой Ильина, застывало в холодную зеркальную гладь. Там, на дне, за его собственным отражением возникало лицо матери. Она гладила сына по голове и, уже опуская руку, замечала какое-то пятнышко на его щеке, досадливо терла. Мать наклонялась над Ильиным, и тут возникал крен, и вся зеркальная плоскость приходила в движение и переворачивалась. Обратная сторона зеркала, слепая, матовая, прихлопывала отражения, словно крышка. Сам этот момент потери равновесия и особенно мгновенного переворота был для Ивана невыносимо тягостен. Ощущение прошло сквозь сон, как сквозь кожу, и уже не отпускаяло его и после отъезда из дома.

Вернувшись в Университет, Ильин стал сторониться друзей. Он всегда понимал толк в занятиях, а теперь отдавался им с упорством и страстью. Со стороны казалось, он одержим тяжелой настойчивой волей. Но та, что тревожила и вела его, была несвесома, как вздох. У Ильина была мечта. Никогда, даже в дни падения и разброда, она не обрывала незримой нити, схлестнувшей ее с Ильиным. Мечта требовала от данника книжного изыска, но укоренена она была в его плоти и потому так сладко томила голову. Дело в том, что Ильин был историком. Он познавал историю России, прикасался к ее тайнам, влагал персты в ее раны. Но не загадка русского корня и русской государственности, не крещение

Руси, не тайны смут, опричнины, переворотов и самозванства, не цари-сфинксы с женственной улыбкой на властительных устах, не сам Петр, поправший не то голову Змеи, не то материнское чрево России — нет, не только это пьянило Ильина так, что порой, ему казалось, страницы книг, к которым он припадал, источали дурманящий аромат. Иван хотел большего, ему нужно было все — или ничего. «Чем все это кончится?» — вот с каким вопросом стоял Ильин над свитком истории. Он искал ту пружину, которая приводит в движение механизм. Он хотел понять главное и ждал откровения, как взаимности.

История была для Ильина бесконечным лабиринтом комнат в недостроенном доме. Дом не имел крыши. Его заливал дождь, молния пронзала насквозь, желтые слежавшиеся сугробы не таяли в нем и летом. По дому рыскали лесные звери, их травили собаками, собаки дичали, сбивались в стаи. Бил колокол, птицы радости и печали били крылами.

Падали стены. То шла охота на лебедей, густо валил снег, пух летел в небо. Метель стелила поземку, перекурчивала в вихре и завивалась столбом. Мутная млечная вертикаль раскачивалась над бескрайней равниной. Ильин видел ясно, как в снежном перехлесте роями носились люди-пчелы, как люди-птицы взмывали и уносились ввысь, никли и падали на землю. Метель слезила глаза, кровь и слюни запекались льдом, и в вое и храпе кликала Дева-Обида злые небесные клики.

Два чистых музыкальных тона — жестокость и жалость — слышал Ильин сквозь гул истории. Две нити, сплетаясь и расплетаясь, вышивали сплошные диковинные узоры. Лазурное поле ковра было исчерчено золотом. Ларец, доверху наполненный хрустальными слезами, стоял неколебимо. Кругом шел плотный орнамент: брат вырывал глаза брату, отец казнил сына и сын восставал на мать.

Нити бежали рядом. И то и дело наступал миг, когда они сливались воедино, смешивали и помрачали цвет. Этим мигом было убийство детей. Тогда небо сплющивалось о землю, и безобразный пузырящийся блин растекался по вселенской сковороде... Будущее улетало вдаль, куда несет река, замирало на дне омута. Странное противоречие сквозило в том, что история хоронила будущее. Порой Ильин готов был признать весь росчерк Минувшего дурацкой загогулиной или зигзагом ведьминского полета с

шабаша на шабаш. Но он не верил в бессмыслицу и насмешку. Он ждал откровения.

Ильин знал, что может надеяться только на чудо. Он был книжником, но не был ученым. В его отношении к истории не было той здоровой предвзятости, которая венчает робкое дитя на царство торжествующей мысли. Вместо багряной академической порфиры Ильин носил холщовое рубище школяра. Он не ведал законов и правил, он восходил на все вершины и неизбежно возвращался на распутия. Онпил воздух истории всем телом и платил за это кислородным опьянением, сумятицей и безудержностью.

Последнее время Ильин жил между сном и явью. Его сознание, натянутое как струна, грезило любовью и отцом, дребезжало, взвизгивало. Вязкий узор идей тянулся вдоль канвы судьбы. Бледнел, но не гас он и в другом бывании Ильина — его снах, его подлинных снах. Белокожая леди приходила к нему, и звали ее Ночь. Ночь была царственна, жестока, таинственна, изнеможена. Волшебное Зеркало доставала она из складок плаща, и со смешанным чувством восхищения и стыда вглядывался Иван в дразнящий облик звездочета, пленника луны.

Читая звезды, Иван предавался географическим разысканиям: он странствовал по частям света, и все это была его душа. По ходу дела он перемещался и в трехмерном пространстве. Одно наемное жилье сменяло другое, пока извилистая череда коммунальных коридоров не привела Ильина в огромное студенческое общежитие на набережной. Отныне это древлехранилище юных судеб стало его домом и его лабораторией.

Жизнь Ильина протекала в стенах, оклеенных журнальными портретами спортсменов и актрис. Красивые неустомленные лица бесстрастно взирали на происходящее. Сходились и разбрелись компании, комната пустела и переполнялась, синий табачный дым резали ножом, клали на тарелки и поедали с жадностью. С голодным блеском в глазах набрасывались на разговоры и обгладывали их до костей. Кости бросали за борт — неповоротливый тысячеоконный корабль грузно переваливался с боку на бок в каменном море. О борт бились бутылки, их поднимали ленивые вахтенные, опорожняли, доставали подмокшие послания. В своем алфавитном гнезде Ильин нашел письмо из дома и, распечатывая и читая его на ходу, поднялся к себе в комнату. Она была полна народу.

Здесь были филологи, востоковеды, Нолин, Волин и, конечно, сосед Ильина, добродушный алхимик Костя Петров. Речь шла о материях неизъяснимых и неизбежных. Филологи витийствовали, гуманисты и естествоиспытатели охотно внимали. Словесных дел мастер владел аудиторией и говорил красно:

— «Бывают странные сближения», заметил однажды Пушкин. И вот по какому поводу. 14 декабря, день в день, Пушкин закончил своего «Графа Нулина», сущую, по всей видимости, безделицу. Тем временем рванул динамит, и на поверхность всплыли приятели Пушкина. Тогда гений и бросил на бумагу сакраментальную фразу, царапнул ногтем и махом вырыл под нею некий подвал. Надобно полагать, гений имел в виду совсем не контраст легчайшей поэзии и бьющей наповал реальности, а их прямое совпадение. В тот достопамятный день Пушкин по какому-то странному наитию занялся пародией на римскую историю. Тарквиний-царь обесчестил, если мне не изменяет память, добродетельную Лукрецию, а она не вынесла позора и покончила с собой. Народ стал сотрясаться от гнева, сделалось возмущение. Так Рим упал в первый раз, еще не сильно.

Под пером Пушкина сия история обрела бесхитростные очертания. Нулин совершал ночное путешествие к дверям Натальи Павловны, прелестница гнала его прочь. Смеялся Лидин, смеялся заразительно.

На Сенатскую площадь выходило отечественное остроумие. И кто мог знать — сам Пушкин день в день догадался, — что современность уже вся нашпигована фарсом, что в век искушения просвещенных девиц повсюду таится насмешка, а история лупит затверженный мотив и в хвост и в гриву и норовит прикончить.

Пушкинский норов чудом все пересилил. Не сходя с места, гнал скиталец в Михайловском свой бешеный аллор, и, храпя и оскаливаясь, роняя ядовитые капли пота, кентавр разодрал плоть на всадника и скакуна, вылез из кожи, сбросил змеиную, назвал — поэмой. Однако наваждение не кончилось: Пушкин открыл пустоту, бесконечность обернулась нулем, также бесконечным.

Когда нули полезли со всех сторон и выкатили свои бельма, Пушкин обмолвился: «Бывают странные сближения». Сказано между делом и сквозь зубы, а мысль, смею уверить, — с подвалом, откуда тянет сыростью и холодом.

О Нолине и Волине — говорившим был один из них — Ильин ничего не мог сказать. Он помнил только, что однажды тот или другой захлебнулся водкой, и она пошла носом, как в цирке. С ними все могло быть, это Ильин, не удивлявшийся ничему, знал вполне и подробно.

Ильин отчуждался, уходил в себя, терял нить. Филологи пели на два голоса. Один протяжно тянул о том, что современная литература не чета прежней. Она стала, как это называют англичане, софистикэйтид, то есть искушенной и отягощенной познанием. Ныне уже не взять бродячий сюжет, не разыграть его на свой лад. Теперь концы прячут заподлицо. Нужен подвох, культурный слой, глубина текста. Даже непонятно, изощрились или притупились наши вкусы. Простое стало грубым и примитивным, сложное — привлекательным, и только непонятное — истинно художественным.

Другой вторил ему, но не в унисон, а в терцию. Он соглашался: литература пропитана фарисейством, она устала, измельчала, изогалась. Ну и черт с ней, ведь дело не в этом. В состарившейся культуре создать текст — значит издать его. Делается это просто. Рукопись с заранее заготовленным отзывом кладут на стол академику в тот самый миг, когда он снял запотевшие очки. Академик устал и дремлет, но его рука, сызмальства привыкшая водить пером по бумаге, еще совершает произвольные движения. По мановению ока запечатлевается затейливая подпись, и вы со стремительной грацией отбегаете прочь. Теперь, минуя искательную толпу клиентов и паразитов, вы проникаете в покои крупного писателя-реалиста. С реалистом сложнее, чем с академиком. Человек он хоть и патрицианского толка, но грубой отчетливой складки. Он знает, что почем, и держит ухо востро. Однако и у реалистов есть своя мистика. Почему он подписывает заготовленный заранее отзыв, не знает ни он, ни вы. Между тем ваш текст становится достоянием культуры: он сопровождается предисловием и послесловием, все подписано и заверено. Начинается игра в волейбол с журналами и издательствами, машинопись взлетает над сеткой, мечется по площадке, вы режете ее сплеча. Наконец ваш труд оплачен. Именно это и требовалось, по сути, доказать.

Ильин бросил письмо на книжную полку, оделся и ушел. Компания сидела допоздна. Когда все разошлись, сосед Костя не удержался и полюбопытствовал. Ожидания не обманули его. Мать со-

общала Ильину, что вышла замуж, интересовалась делами и спрашивала, не приедет ли он как-нибудь погостить.

* * *

Самолет опустился в дымную котловину большого промышленного города. Ильин рассеянно выслушал рассказ стюардессы о месте, где родился и вырос, о его прошлом и настоящем. Потом включили классическую музыку из оперетт. Пассажиры, приободряясь, расправляли затекшие члены. Подали трап. Стюардесса напутствовала.

Иван обошел аэропорт, постоял у газетного киоска, у лотка с сувенирами. Спустился в огромный, как конюшня, туалет. Там бродил алкоголик в чудовишных раскисших сандалиях — туалет был затоплен по щиколотку. У Ильина мелькнула мысль о том, что здесь неудержимо мочился весь город.

В зале ожидания отдыхали. Ильин смотрел, как играет в шахматы тщательно одетый господин. Рядом скучала дама в золоте и мехах. Господин не замечал соперника, играл безразлично, будто с умной машиной. Цыгане, привязчивые, точно грипп, галдели здесь и там. Блестел и трещал светляк телевизора, около грелись люди. В буфете Ильин взял холодные, болезненного вида пельмени с рыбой, надменно именовавшиеся сибирскими, и с их вкусом на губах поехал рейсовым автобусом домой.

Не прошло и часа, как его уже целовала мать. Ильин смотрел в милое припухшее лицо. Мать предупреждала все его вопросы. На стол летели банки, закуски, консервы. Звенела и хлопала дверца холодильника, выставлялись ледяные разноцветные бутылки. Хлеб отваливался ломтями под ожесточенно сновавшим ножом. Вслед отваливалась тяжелая сыроватая ветчина. Хозяйка мешала по тарелкам сыр и колбасу и то и дело отдергивала руку, будто обжигаясь обо что-то. Она летала по квартире, Ильин ходил за ней по пятам.

Колдунья хлопотала у плиты. От кастрюль шел густой, питанный съестным духом пар, со стола взлетала мучная пыль. «Я манты сварганила», — молодая подмигивала, жмурилась от бывшего в лицо жара. Все ее существо дышало здоровьем, природой и пылом. Ильин стряхивал наваждение и порывался доказать, что все случившееся — злой фантом, игра туманов, но вдруг мерещилось — она в цепкой ладони, и он на миг заболел.

Обладатель ладони не замедлил появиться в доме. Он пришел сам-друг. Это было как в бреду: их было двое. Но и в бреду Иван безошибочно отличил воина от оруженосца.

Муж теснил Ильину руку, бил по плечу. Он знал его плоть и откровенно интересовался душевными заботами. Избранником удачи был конструктор кораблей Ренатов, пригожий мужчина, крепкого, настоенного на годах, состава. Четкий и резкий, как шахматная фигура, он любил поиграть с человеком.

Ренатов ходил по квартире, вбивая в пол тяжелые каблуки. Под их мерный стук Ильин навязчиво думал о том, что в каблуки вбиты крепкие железные пятки. Конструктор косил круглым смеющимся глазом. Он знакомился с Ильиным, дразнил его жестом и словом. Враг был являсь, вызов брошен, знамена развернуты. Но тут Ильина посетила мучительная непроницаемая обида, и он окаменел. Ренатов был далеко от него. Их разделяло железо и камень, но огонь не пылал между ними, и облегчение не приходило к Ильину. Он не слышал Ренатова. Обида торжествовала, и в ее ревнивом кольце Иван терял последние мыслимые силы.

Меч лежал в вате, трещала чернеющая бенгальская шутиха, неоткупоренное шампанское блазилось замерзшей рыбой с черной ледяной кровью...

Новый год стоял на дворе. Ильин был мал, на нем красовалась новая рубашка с расшитой блестящей грудью. Он смотрел, как по стене ходила ходуном его огромная тень, и тосковал от непомятого счастья. Отец нагибался к нему, шептал на ухо. Иван не мог разобрать слов, он только видел, как мерцали глаза отца, как нестерпимо ярко горела звезда матери. Она была чиста, и тихое темно-синее небо раскрывало бездонные глубины. В комнате лежал мягкий пушистый снег...

Ильин одичало глядел в окно. Ренатов уже увел мать с кухни. У батареи грел руки его спутник, молодевавший, слегка засаленного вида старик, похожий на отставного николаевского солдата, ныне швейцара в кафешантане. Старик участливо и в то же время насмешливо смотрел на Ильина. Он церемонно представился: Разецкий и вдруг с поразившим Ивана мгновенным актерским вывертом переменялся в лице, фигуре и голосе.

— Я позволю себе дать вам один совет, — бросил он небрежно. — Постарайтесь хотя бы ненадолго перестать быть самим собой. Я несколько минут следил горестное выражение вашего лица и могу су-

дить: это совершенно необходимо. Скажу больше: это единственное условие. Без него успех вашего предприятия немислим. Вы слишком хотите узнать истину. Забудьте об этом, отдохните, развейтесь, и вы вновь обретете душевное равновесие и способность к самопознанию.

Взгляните вокруг себя. Истина должна быть простой, ходячей. Взять хоть меня, инвалида. За душой у меня три рубля и табачная крошка, но при этом — бычье сердце, воловьи жилы и внутренности боевого петуха. Все малопривлекательно, зато до крайности достоверно. Вы охотно допускаете существование подобного индивида, вы верите ему на глаз и начинаете прислушиваться к его речам. Они неприхотливы и непритязательны. Всемирное тяготение... великая цепь бытия... — твердят повсюду. Я одобряю, но замечаю вскользь: «Не надо бравировать. Вы забываете о трении, о всемогущем трении».

Жизнь есть трение. Подгузник натирает младенцу нежную промежность, покуда грубый ворот савана не перетрет костлявое горло старика. Люди трутся друг о друга под коротким и колючим одеялом, а поэт тем временем трет карандаш о бумагу, марая стихи о любви. Сильные неумоимо тиранят слабых, и кто может сказать, сколько подтирки наделано от века из человеческих судеб и душ... Везде одно и то же. И миры шуршат сочленениями, бессмысленные, как тараканы за печкой. Все — так. Оттого умнейшие люди повсюду и предаются единственно верному занятию: употребляют влагу. Ибо только влага смывает нас с кровоточащей терки существования.

Ильин невольно усмехнулся. Инвалид уже разливал невесть откуда взявшуюся в его руке бутылку по стаканам. Иван пригубил. Разецкий опорожнил.

— Так, — сказал Ильин. — Но Ренатов... чего он хочет от вас?

Старик поморщился:

— Он премудрый, искушенный. Ему не хватает немногого: доказательств. Без них сей муж чувствует себя не вполне уверенно. Тогда он приходит ко мне. Я начинаю рассуждать. Да: смерть, небытие, иронический запах тления. Но давайте смотреть на предмет непредвзято. Когда светлый и ясный ум падает на земном пути, возникает недоумение: куда девалась ясность? Человек умер, голова рассыпалась в прах, но ясность, что произошло с

нею? Вот о чем не устаю я размышлять, пока этот умелец чертит свои чертежи. А мысль, что мысль? Мысль продажна, как вино, с той лишь разницей, что вино не обещает и не обманывает.

Рассуждая о добре и зле, мы вступаем в область подвижных границ, и наш рассудок потрясается, мысль — дрожит. Мы обманываем себя: не так уж нужны нам и добро, и зло. Нас влекут красота и свобода. Они-то и повергают нас в трепет, а прочие предметы при сем присутствуют, не более того. Замок защелкивается намертво, резать к нему ключ падо на свой глаз и по живому мясу. Это больно. Так что и тут на помощь приходит шумливая и пенистая влага. В звенящих струях козловидный старец совершает непринужденное омовение и выбегает на сушу лобастым мальчуганом. Так обретается новая резвость, перед которой ничтожна даже ловкость канатного плясуна.

Разецкийлил вино в стаканы. В его речах звучало нечто нервное, затверженное. Старик торопился. Ильин тронул его руку и спросил, почему он боится Ренатова.

Солдат стал зол. Его растрескавшийся нос вспыхнул, глаза налились кровью. Вдруг он горячо и бессвязно заговорил о былом, о старых делах и длинных этанах, о Северо-Западном фронте и петергофском десанте. Надтреснутый старческий голос двоился по надлому. Вот взялось откуда-то умственное поветрие — дрожала, напрягаясь, струна, — что одни правы, другие — нет. Раскололась наша братня на крещеных да кровью перекрещеных. Обиделись друг на друга сильно, до беды. Сказано было: Будь посреди, но иди с краю... Обеспамятели мы, человеке, и заповеданное не зрим.

Под струной дребезжало призывчье. Разецкий суетился. Он кричал, что жил как жил, как время судило, а Ренатов — просто сноб и специалист, человек без прошлого. «Чего мне его бояться?» — повторял он и пытливо заглядывал Ивану в глаза. Тот отмалчивался и, казалось, видел Разецкого насквозь. Наконец Ильин отключился и беседовал уже с вымышленным Разецким, стариком, которого он придумал, раскусил и выпотрошил.

Новый Разецкий говорил прямо и начистоту о том, что болело у Ильина. Секретом Полишинеля называл он мечту недоучившегося историка, брал парня за живое и говорил, что знает его тайну, она написана у него на лбу. Старик советовал Ивану не заигрывать с прошлым, откуда, как из первобытной чаши, может высунуться воплощенная дикость. Юному следопыту надо бы понять, — твер-

дил Разецкий терпеливо, — что он родился в пору общей неопределенности и частных, но шокирующих происшествий. Попутно Иван узнавал о способном человеке, который плохо кончил. Всю жизнь он сидел между двух стульев, никак не мог устроиться точнее, а проваливался на пол то и дело и самым скандальным образом. Касательно надежды, разыскиваемой в прошлом, Разецкий был особенно непримирим. Он говорил, что это чувство внушено литературой, перевернуто и обожествлено. Эпоха уважает подлость, историк должен уважать эпоху, а не стоять в сторонке и рассуждать о честности... Но тут Ильин взрывался и захлопывал Разецкого, как непристойную книгу.

История, переталдыченная инвалидом, еще звенела в голове, когда мать усадила всю компанию за большой праздничный стол. Вино пили из чаш, водку из лиловых рюмок. Мать переполняла тарелку Ивана, жаловалась, что он плохо ест. Ренатов колдовал, пронзал словом тонкости кушаний и питья, заводил разговор об изысканных редкостях. Он вращал указательным пальцем с причудливым перстнем и говорил о достоинствах драгоценных камней. Лаская жену, звал ее аметистом, камнем неверным и переменчивым. Она отрецировалась от напраслины, закидывала голову назад и смеялась. Ренатов настанвал: человек — это камень, и он падает. Разецкий, налитый спиртным до краев, твердил, что всю жизнь любил слова больше, чем дела, но проклятые обстоятельства вечно вынуждали его действовать.

Ильин пил. Продажно прохладное вино было ему как раз по душе. Он попевал за Ренатовым, шел по извилистому следу.

Ренатов говорил о промысле и ремесле, о забытых секретах и утраченных навыках, об искусстве отгадывать мысли и предсказывать будущее. Его мозг работал четко, как прибор: он брал каждую вещь специально и совершал над ней точно рассчитанные операции. Конструктор избегал общих умозаключений и выводов. Когда же с его языка срывались запальчивые суждения, он тут же спохватывался и на мгновение мрачнел. Правда, запутался и осекся он только раз. Речь шла о том, как умелые люди склеили фильм с правильно построенным трагическим сюжетом. Поведая о специальной стороне дела, Ренатов перескочил и вдруг сказал, что вся трагедия нашего времени, если она только существует, заключается в отсутствии трагедии. Таким образом, нас мучает то, что воображаемое, уже разъеденное нашим сомнением, в реально-

сти воплощения не имеет. Это пытка пустотой, пытка замыканием круга. Мысль прозвучала отчетливо, но, в отличие от всего ранее сказанного, неуверенно. Она явно не принесла Ренатову логического удовлетворения. Более того, Ильин готов был поклясться, что в глазах конструктора мелькнули непонимание и растерянность. Впрочем, Ренатов тут же перевел разговор на другое.

Застолье перевалило за полночь. Хозяйка, уже переодетая в розовый пеньюар, желала спокойной ночи, уходила и вновь присаживалась за стол. Ес поступь была нетверда, глаза восторженны и туманны. Она обнимала Ильина за шею и говорила несвязные речи. Зорко приглядывавшийся к ней Ренатов грозил пальцем и отправлял в спальню. Наконец она ушла.

Разецкий привалился на диване и сомлел. Ренатов растряс его, послал за шахматной доской. Ильину было сказано, что одна хорошая партия способна переменить весь состав в человеке, разом привести его в чувство, а это как раз то, что всем им сейчас необходимо. Конструктор усадил Ильина перед собой, расставил фигуры и погасил верхний свет. Пока Разецкий искал лампу, была крошечная темнота.

Но вот на квадраты доски легло желтое пятно, и фигуры, расстроив свои порядки, двинулись в путь. Это привычное для каждого игрока вращение деревяшек по черно-белым полям — вначале лишь механическая игра на механическом инструменте. Для того, чтобы сквозь дерево прорезались черты лица и хотя бы тень выражения скользнула по нему, — нужно совсем немного. Игра сама уводит в свой лабиринт, и там есть все: живая тайна, пробуждение скрытого в игре закона, судьба, желания, развязка. «У игроков недаром так дрожат пальцы, когда они трогают фигуры, — думал Ильин. — И теперь от рук на шахматной доске кажется странной, точно и лицо земли вот так же трогают иные руки».

Ландшафт доски менялся на глазах. В нем проступала новая стройность — уже не первозданная, а рукотворно хрупкая. Вдали от укрепленных замков и насиженных кругом мест, по узким прогалам и диким свистящим ходам хлопали одиночные выстрелы. Но не это было звуком сейчас. И настороженные уши гончих фигур пробовали на вкус дыхание, метавшееся здесь и там. Позиция дышала, будто на доске лежала проекция двух душ, и голоса их звал к себе огромный третий голос...

Поезд наваливался всей раскаленной тяжелой тьмой, волочившей за собой тысячью свитых жгутом арканов упирающийся, но уже вырванный с корнем мир. Под колеса падал ветер и метался там, как сумасшедший в агонии. Железные суставы лязгали друг о друга, не в силах ни вывихнуться, ни вправиться, и поезд зверел от отчаяния и боли. А вуалева дама с разметавшейся простоволовой головой валилась под поезд, не забывая слышать французский бред, и вместе с нею, взявшись за руки, на железный плат, как на плаху, шли много поездившие по свету умники, бретеры и денди. В воздухе кружилось окровавленное батистовое кружево, выписывая замысловатые вензеля. Заслоняясь рукой от срезанной дробью птичьей стаи, Ильин отступил назад, и тут под его ногой детской косточкой хрустнуло допотопное пенсне со змеистой извивающейся шнуровкой...

Поезд пронесся мимо игрока, и неистовый грохот еще долго сотрясал все его тело. Поборов дрожь, Ильин осмотрелся вокруг и пошел от насыпи к одинокой точке, пылившей вдали.

Голая степь расстилалась перед ним во все стороны. Жгучее солнце висело над головой. Кругом не было ни души, лишь окутанное пылью нечто двигалось на Ильина в зыбком мареве. Ильин дорисовал очертания боевого корпуса раньше, чем смог разглядеть его вполне. Огромный деревянный конь приближался к нему во всей своей нелепой красе.

Из брюха коня ползла длинная шеренга. Ильин вглядывался в странные движения врагов недоумевая, пока не отшатнулся, охваченный мгновенным огнем. Он понял, что существа, приближавшиеся к нему, были нездешней природы. Иван не знал, кто это — мертвецы, роботы или бесы, но знал одно: они не были людьми. Они шли за жизненным пространством туда, где он был только досадной оплошностью, диковиной, прочтенной перфолентой. В целом мире не оставалось ни души, и все вокруг выталкивало вон.

Новые колокола прозвонили к неупокою. Жизнь унеслась в пыльную взвесь над степью, мелькнула, истомилась в дым. Пелена тут же рассеялась, и время налетело на укол. Иван выпрямился. «Фора героям Трои!» — крикнул он в плотную пружинящую мглу...

Ильин смотрел на разобранную, как постель, позицию, испытывая унижительное, известное только игроку ощущение. Все было позади, он отдался. Соперник доминировал по всем пунктам, владел

каждой клеткой тела. «Трение, господа, трение», — успокоительно бубнил Разецкий. Он был прав. Ильин чувствовал, как сердце перетиралось в груди, как нило и холодело опоганенное нутро.

Ренатов с Разецким все понимали, успокаивали и просвещали. Пить можно помногу, подолгу и разнообразно. Опохмеляться надо осторожно и качественно. Питие лекарственно, оно погружает в себя, дарит забвение и помогает человеку найти свои пределы. Наивность смешна и губительна. В жизни все должно быть понятно и схвачено. Девушку берут нахрапом, женщина требует времени и денег. Красивая женщина дорого стоит. Она не дарит, она отдаивает себя. К проституции прибегают в крайних, увы, естественных и закономерных случаях. Увлечься ею нецелесообразно, это портит человека, смещает его центры, уводит от борьбы. Пока есть деньги, здоровье и осознание своей необходимости, можно бороться. Отчаяние недостойно. Человек сам за себя платит, и это великолепно, надо только, чтобы у него было чем платить.

Коньяк накрапывал в рюмку, провожал в аэропорт, препровождал к вылету. Голова клонилась долу, самолет воздевал клюв горе. Он неугомимо прокладывал путь в пространстве и чуть дрожал от возбуждения. Повинуясь законам аэродинамики, он летел, потому что падал.

* * *

Ильин вернулся к себе в общежитие совершенно разбитым. Он поднялся в комнату, запер дверь и лег на кровать не раздеваясь, лицом вниз. Он еле дождался минуты, когда можно будет, наконец, лечь вот так. Вскоре в комнату постучали. Ильин встал и, чувствуя неимоверную слабость, открыл дверь своему соседу.

— Что с тобой? — спросил тот изумленно.

— Кажется, я заболел, — ответил Ильин, махнул рукой и лег спать.

Он проснулся сразу, как от толчка, не понимая, где он и что было до сна. В комнате горел синий ночник соседа. Ввинчиваясь в этот свет, Ильин вернулся к реальности и сразу же ощутил наплыв прежней непроходимой усталости. «Господи, что это со мной?» — подумал он с тоской, готовясь встретить давешнее состояние, как надвигающийся приступ боли.

Он вдруг почувствовал внезапный пронизывающий страх, и долго подбирившийся холод сразу пробрал до костей. Ильин при-

стально смотрел на спящего соседа. Словно другая часть судьбы лежала здесь перед ним. Ее можно было потрогать, разбудить и поговорить по душам, но Ильин не хотел или не мог этого сделать.

Внутри все дрожало каким-то скверным дырявящим ознобом. Заворачиваясь в одеяло, Ильин чувствовал, что он вместе с тем как будто бы заворачивается в одно старое, забытое и неотвязное впечатление. Вот-вот оно должно было вывалиться из мотка памяти, и он со страхом ждал, что же окажется там, внутри. Внезапно в его голове точно включился яркий свет, и он разом вспомнил, что мучило его.

В комнату с содранными обоями он зашел погреться и вскипятить чай. Это была брошенная комната. Только он бывал здесь, потому что все же это было место, где можно погреться. Но он тоже боялся быть здесь и никогда не ночевал. Он знал, что есть в ночи такой час, когда земля притягивает назад все страшные сны, приснившиеся людям, и они падают камень за камнем. Но на этот раз он остался здесь. Он вскипятил чай, погрелся и стал ложиться спать, хотя был уверен, что делать этого нельзя. А потом он почувствовал, что он не один в комнате, и что его тело уже не держит душу, и она готова уйти от него навсегда. Он повернул голову, точно сдвинул гору, и увидел тяжелую тень. Она тянула его душу, как мокрое белье с высокой веревки, она вставала на цыпочки и, теряя равновесие, висела на нем, и он задыхался и леденел. В том, как она торопилась, была надежда. Ильин чувствовал: она не успевает, что-то не рассчитав. И вдруг в комнате вспыхнул свет, и все пропало, и тут же заговорил транзистор, передававший нечто нелепое и спасительное. В транзисторе не было батареек, и он замолчал так же внезапно, как махнувший рукой глухонемой после сотворенного чуда...

Соседу снился хороший сон. Он сидел за столом, дома, перед тарелкой благоуханных наваристых щей. Отец и мать, братья и сестры, прадеды в застекленных рамах делили с ним нескучную трапезу. И его незамужняя пока жена и неродившиеся еще дети были все в добром здравии и полном порядке.

РЕПЕТИЦИЯ

Однажды мы решили ставить «Макбета».

В смирительной рубашке переплета трагедия ворочается столкновением ошибок, стечением фатальных обстоятельств. Она возникает из ничего, туманится, глохнет и пропадает с возвратом закономерных будней. Все это было нам сродни. Мы доверяли судьбе, играли без расчета и вряд ли понимали, что получится, когда раздернут занавес.

В нашей студии нет идолопоклонников и в ней не любят истуканов. Мы все — актеры прокопченного очагом Университета. Каменный король давно не правит. Он изведал и горячего, и горького, и капля беды бежит по его венам, острая, как иголка. Капля трепещет, вытягивает жало, на нас во весь опор мчится медный царь, по городу и окрест снуют другие цари и герои, и время кроет стены домов звериными мордами, не ведающими зла...

Саша Прибыловский имел недолгую, но запутанную историю. У него было прошлое, скандал и отставка. Некогда, подобно многим юным мечтателям, Саша подавал блистательные надежды, но все эти надежды оказались тщетными, а взамен о нем написали в газете под крупным заголовком «Пачкотня». Речь шла о том, как некто Симонов, без определенных занятий и места жительства, оборудовал в подвале дома на Острове мистический притон. Притон стали охотно посещать студенты близлежащих Академии и Университета, отличавшиеся равно беззаботностью, упрямством и дурным направлением ума. К ним потянулись городские сумасшедшие, послушники указов, искатели забвения и неминуемые горлопаны. Здесь шарлатанство во всю ивановскую глумилось над очевидностями, здесь в ожидании магнетических таинств курили дым во славу новоизобретенного блаженства и с трепетом впадали в руки Неведомого Бога, пока светильник разума, отринутый, не отвратимо угасал.

Несвязный Симонов, не имея ни воли, ни охоты к трудовому промыслу, утратил ощущение реальности и отрицал сам факт существования Ньютона и созданную им картину мира. Вкупе со вчерашним еще школьником Прибыловским Симонов стал отрываться от земли, но упал да сильно разбился. Падение сотрясло весь дом. Притон был разгромлен, и взору охотников открылась роспись, покрывавшая подвальные стены. Неверная, но дерзкая

кисть разметала повсюду крылатых людей с рыбьим хвостом вместо ног. Все они кружились в одном немыслимом хороводе, разгуле веселия и скорби, манили, завораживали, увлекали за собой...

Когда рассеялся мистический туман, Прибыловский увидел, что он служит в армии под Семипалатинском и что жизнь проста, как степи вокруг. Он понимал, что призван сюда находиться вместе со всеми, что он малопригоден к этой общей жизни и должен прожить ее прежде, чем понять. Так Прибыловский отслужил два года, вернулся и оказался с глазу на глаз со своей памятью.

В сущности говоря, память была его единственным ремеслом — сам он работал оператором в котельной, — и знал он свое ремесло хорошо. Вся штука заключалась в том, чтобы встречать воспоминания лицом к лицу, не отворачиваться и не отводить взгляд ни на мгновение, ведь посещали Прибыловского гости неуслужливые и неприкаянные.

Симонов шатался у Саши по душе, обожженный, черный, с исколотыми лекарством руками. Неповоротливый, он весь скарб таскал за собой и разобранными разваливающимися пожитками, как плугом, надрываясь, ворочал. При себе он имел: бритву механическую, оборванный роман, походные писания о судьбах мира, изображение бога Виссу и крепко зажатую в кулаке последнюю записку. Симонов глядел на Сашу твердо, с тоской в застывших глазах, в глубине которых светилось странное, отрешенное от житейских забот любопытство. Весь он был как на ладони — вечный студент, физик, потом филолог, созерцатель с односторонним и воспламеняющим взглядом на жизнь. Он не настаивал на своем, и никаких лозунгов из его рассуждений Саша составить не мог. Дело было не в словах — они были для Прибыловского, скорее, случайностью. Симонов стал единственным, с кем он испытал сполна превратности искания путей через страну Себя. Там он узнал, что тот, кто пытал вместе с ним естество, был человеком без претензий, корабельным плотником, тоскующим по кораблю, только и всего. Мастеровой старался, он ладил память на свой лад, и допотопное старозаветное приспособление, сотрясаясь от натуги, уже дробило грунт и брало пробы. Добытая со дна весть была воспоминанием, стало быть, принадлежала самой реальности, и Симонов чистосердечно живописал свою находку братии, слушавшей его речи с неподдельным интересом.

...Огромный компьютер, банк памяти, ЭВМ, ставшая Богом... Она была соблазнительной и лукавой, Вечная Женственность, нашедшая наконец — Осанна Тебе, Мировправительница — нетленное воплощение. В ее электронных чреслах... о мука познания, мреющая череда мгновений, перелет от любви к смерти! Гниение плода, сомлевшая материя, плывущая по волокнам, и — брезжущее шитье иной ткани, челнок, сплывший взад и вперед, обмыливающееся тоненькое, скользкое, растаявшее время.

Непрерывная боль резала хрусталик оборотившегося внутрь глаза, сводила грани в чуть видную точку на острие иглы. Машина считала варианты и шелкала бичом. С каждым взмахом лавина цифр срывалась в черноту. Игла колола. Компьютер перевоплощался, мгновенно меняя облики Вселенной. Жизнь не выпадала на круг, пока тенеты Ее памяти не сошлись в одну бесконечную сеть. Ревущий водопадом пузырь взмыл ввысь и, рванув, хлынул потоками на землю. Мятущаяся требуха низвергалась лавой в кровавый перламутровый беспорядок. Слова носились тут и там, история болтала напрапалую. Гробы вспарывались неведомым ножом, как ржавые консервные банки, и с шипением и треском прах, вылетающий из них, вставал и одевался плотью. Живые теплые люди заполняли поверхность земли, качали зыбку океана. Нервы сплетались воедино, сросталось кровообращение, орех мозга оказался из треснувшей скорлупы небосвода.

Машина бестрепетно гудела, экран светился лунным сиянием. Солнце погасало. Очертания негатива проступали в багровом сумраке. Времени определенно не было...

Симонов умолкал, и братия азартно толковала. Старатель был опустошен и оглушен, он бессмысленно улыбался в ответ на прямые вопросы, согласно кивал головой. Прибыловский закусывал губу и отворачивался от этого воспоминания, колотившего ему сердце. Он не хотел забывать ничего и безмолвное понимание той странной истории прижимал к лицу, как детскую руку. Спустя мгновение к нему возвращалась растерянность, в размышления вторгались другие лица и голоса, изображение искажалось и погасало. Обезумевшая квадрига разрывала готовую было соткаться прозрачность, и Прибыловский вновь опускался в Город, Танцующий на Болоте.

Здесь Саша рано или поздно должен был встретить Канабеевского, и вот они сошлись, как давние знакомые. Артист взял Сашу

под руку и, бережно поддерживая, словно заболевшего или охмелевшего друга, провел к себе домой. Попутно, криво усмехаясь, он рассказал о приключившихся с ним непристойностях, повлекших за собою перемену мест. Отныне Канабеевский служил почти бесплатно в Университете, на театре, где еще были живы чистые предания о его юности. С душою вспомнив о мистическом притоне, артист поведал Саше, что Симонов по выходе из клиники поджегся на приятельской даче и скончался, не приходя в себя. Рассказ перемежался растерянным произвольным свистом. Саша забился внутрь и глухо молчал. Тут Канабеевский, чтобы смягчить удар, проговорился, будто невзначай, о постановке «Макбета» и с ходу пригласил в спектакль.

В квартире Сашу ждал ужин, а хозяина — рояль. Бродя вокруг да около, живописуя декорации и роли, артист примеривался, отчуждался, неподвижно глядел на инструмент и, наконец, не утерпел.

Канабеевский погладил скользкие клавиши, провел по холодному лаку черной мутно-зеркальной доски, в которой отражался так неявно и милосердно. Он любил этот маленький оркестр, этот театр звуков, откликавшийся движению души и трепету пальцев. Старинный инструмент был убежищем, хрупким и тесным, но стойко неподатливым на взлом и на приступ, и Канабеевский припадал к его ступеням с благодарностью и надеждой. Он импровизировал, наслаждался свободой, но темы его вариаций были прежними — почему, он не знал и сам, — и за круг их он не выходил. Из-под его пальцев кружился Седьмой вальс Шопена, билась бетховенская «Ода к радости», торжествовало со стоном «Боже, храни Королеву!» — рядом с невозможными тоскливыми вскриками безымянных лагерных песен, казалось, требовавших у небес списхождения на языке варварском, тарабарском.

Так или иначе — композиция составила, и через пару дней Прибыловский вошел в Университет через студийную дверь. Мы говорили о трагедии. Добро в ней накаляли до тусклого свечения и молотом выковывали зло. Миг перехода был отчетлив и резок. Жесткая светотень выгибалась дугой под напором энергии, коржила, дымилась, но охраняла заповедную границу. Добро и зло были прижаты к темени земли, как уши дикаря, почуявшего оборотня, и чутко вслушивались в беспримесную мелодию. Она твердила о чистоте добра.

Хмурясь и ежась, словно в непогоду, Канабеевский рассказывал нам об истории создания «Макбета».

Трагедия, как это ни странно, была написана, чтобы угодить королю. На престол взошел Иаков I, сын отверженной и убиенной Марии Стюарт, — трупна приникла к престолу. Юродивые и жонглеры трепали реальность за холку — что им было не подергать разок-другой за королевскую мантию. Но Боже упаси! Театр кроил пьесу и гладил подкладку с холодным и трезвым расчетом. Надо было учесть разное. Король имел немало чисто человеческих слабостей: он был шотландцем и шотландцем не из анекдота, он охотился за историческими преданиями и писал трактаты о ведьмах и колдовстве. Все это было схвачено с лету. Котел и тигель, реторта, семисвечник, копые — и странный запах театральной пыли, замешанный на лошадиной пене и детском сонном вздохе... Макбет бушевал, король блаженствовал, актеры получили звание «слуг его королевского величества», надежную прибавку к жалованью и новый реквизит. Выговорив всю эту историю, Канабеевский сильно и бесповоротно омрачился и, наскоро простившись, ушел. Мы стали обсуждать обстоятельства, сопутствовавшие рождению гениальной трагедии...

Канабеевский низвергался в город по отвесу. Он был зол на себя и падал торопливо. Книжная премудрость, о коей он давеча распространился, немилосердно колола глаза жестким, обрезанным в золото углом. Он не хотел ни многозначительной ясности, ни туманных намеков — он мечтал лишь называть вещи своими именами. Но то сокровенное, чего ради так чадно и чумно разгорался весь сыр-бор, сплошь отступало вглубь и там тайлось от него.

В захвате замкнутого круга, на дне раскручивающейся воронки, вновь возникало хранилище познаний. Глядя на книгу, Канабеевский проницал бумагу до подложенной в сердцевину еле видной тончайшей страницы. Она мерцала, серебрились в голубой паутине водяных знаков буквы изысканного набора. Текст струился под радужной аркой в невидаль, и Канабеевский, замирая, следил за его капризным течением, журчавшим о невнятице жизни и молвы.

Сей мот и забияка был женат, и неоднократно, но уже давно пренебрегал супружескими и семейными обязанностями, пукался в дорогие опыты, потакал соблазнам и прихотям, столь же взбалмошным, сколь и сумасбродным. С целю библиотекой в

голове, игрок и кутила, раздраженный вдобавок пренебрежением удачи, он прозябал в промозглом пашем городе, настойчиво искал тепла женских колен и обморочно засыпал, пугая заострившимся лицом. Любитель всю жизнь играть куклами получил в дар необыкновенно быстрый взгляд, стал кукольником и пристально разглядывал раскрашенное дерево; чуть было не увидел некий свет, как вдруг беззубая улыбка смерти исторгла из души сладкоголосый Реквием...

Канабеевский потянул ноздрями тревожный запах старинной книги. В мозг плеснула мягкая чувственная волна с колкими звездами брызг на гребне. Артист встал и побрел к молодой женщине, разбросавшей по столу белье диссертации. Мадам была обнажена. Каблук выстукивал, паркет дробился на куски. Там, рядом с ней, сидел его двойник (или он сам?), насмешничал, упрашивал и тосковал. Красавица смеялась и прищуривалась.

Посторонний смотрел на постылую парочку с неудовольствием, к которому примешивалась толика сострадания. Вот они провихлялись мимо, соскользнули вниз, юркнули в щель и узеньким крысиным ходом поспешили в укромные места, чтобы коротким и неярким пламенем спички чуть потеснить сплошную темноту и еще раз испытать желание, радугой горящее и пад зачатым во чреве, и над задавленным в толпе, — томительное желание смертника обрадоваться глотку вина в миг, когда меч луны крушит лучи до белых напряженных жил.

Тем временем артист вполне очнулся и, радуясь освобождению из плена, нашарил бумагу и карандаши и принялся запечатлевать воспоминание о Макбеге.

Свет погасал. Карлик-жокей, — о, то был Прибыловский! — горбун с мальчишеским лицом и старческой судорогой в членах, трепался по сцене, колобродил, спрыгивал в зал и приставал. Он возникал то здесь, то там, волочил за собой луч прожектора и им выхватывал из темноты картины обнажений и надежд.

Три женские фигуры ластились друг к другу, одна вся в черном, две нагие — по бокам. Посмеиваясь над поверженным законом, они ласкали плоть, бесчинствовали, расторопно прорицали о непобедном зле. Меж тем, опровергая их наветы, хрустальный, в струистых нитях корабль прорезал сгустившуюся черноту. Ковчег снял. Крылатая рыба и змея, танцуя, выторговывали у тьмы площадку для рассеянных страстей. Два юных тела любовались

отражением в зрачках любви, да крокодил и куропатка хлопотали на границе светотени и опрокидывались в сумрак. Светильник вспыхивал, все непоправимо пропадало.

Светлый Ангел склонялся над недвижимыми телами и отнимал младенца и бессмертие. Душа-бродяжка, вырезанная из чрева, дрожала, жалась к статуям, рванувшимся на волю, и окостеневала, вмерзая в пьедестал...

Куратор, преданный и подлинно ревнивый, посылал флюиды и шептал. Ему становилось не по себе. Молодые люди с нехорошим огоньком в глазах, объятые сомнительным единством, разыгрывали мистерию и с видимым блаженством глотали пыль кулис и свет прожекторов. Они прошли сквозь «Макбета». Куда? Этого тот, кто ставит свою подпись, не знал, но находил их путь опасным и вздорным, как танец пьяного с ножом и цветком в руке. Бесспорно, здесь за всем стоял и дергал ниточки артист со свихнутым рассудком. Приветливо поговорив с ним о достоинствах трагического жанра, куратор сделал несколько глухих, завернутых в мягкое, угроз, изящно пошутил, ободрил, стиснул зубы и пропал. Спустя неделю мы прекратили репетиции, Канабеевский прокричал, сколь неизбежно гиацинтоокие нимфы становятся зеленоглазыми наядами, и удалился с томной подругой.

Все — так, однако время, пущенное вспять, вновь возвращает в яркий сумрак перед сценой. Идет спектакль, куратор угадывает «Макбета», смягчается и — вынимает из-за пазухи отзывчивость, согретую отеческим участием в судьбе неуравновешенной юности. Незлой и очень трезвый человек, он признает, что сцену посетило вдохновение. Оно не очень нам необходимо. Но раз пришло, с ним надо что-то делать. И вот, отрезав и отмерив, куратор отправляет «Макбета» в Финляндию, на Мирный и Зеленый фестиваль. Мы едем, Прибыловский провожает нас с вокзала, куратор умиротворенно шепчет и, думая о Саше трезво и светло, идет домой. Да, у куратора есть дом, а в доме — дети, помогающие жить...

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ИВАНА ИЛЬИЧА ПАНИ

1. Польская любовь Андрея Облонского

Имя замечательного поэта Андрея Облонского никогда не покидало страницы школьных учебников. Мы знали его с детства: он был красив, загадочен, молод — без всякого суррогата, не моложав, а просто юн, об этом свидетельствуют хрестоматийные фотографии; он любил жизнь и пользовался взаимностью, стал счастливым любовником самой Судьбы и, следовательно, сон восьмиклассниц тревожил закономерно и по праву. Вообще Облонского у нас любили все: власть несколько навязчиво и ревниво, интеллигенция, близоруко щурясь и как бы во что-то прозревая, непонятно, впрочем, во что; рабочие и крестьяне, утираясь рукавом и нехотя размышляя, отчего это у нашего Облонского всегда была такая отутюженная блуза и белый воротничок. Что касается молодежи, то одним он нравился просто так, другие видели в нем опору своему стремлению оставаться лояльными и в то же время будировать и быть несколько не от мира сего, а третьи дерзали направить стопы по сходной творческой стезе. Дружная любовь к Облонскому имела много причин, среди которых, если отбросить очевидные (молодость, внешность, талант), остаются две. Прежде всего, дело в том, что Андрей Облонский принял революцию и сделал это как-то особенно откровенно и просто, прямо назвав разбой разбоем, разбойников разбойниками, пожарище пожарищем. Назвал и принял. В этом и заключалось величие его души. Другие его собратья по перу что-то крутили, что-то выдумывали. Но мы ведь сами все — вплоть до номенклатуры — смутно понимали, что вышло, в общем-то, неладно, нехорошо. Однако это дело наших рук, нашего умишка, так что не обессудьте, а совесть — совесть зарастет (что и подтвердилось). Полюбите нас черненькими! — Облонский полюбил, подошел, увидел, что нагадили, и стал не то чтобы там нюхать или ковырять (зачем же так, это лишнее, этого мы и не требуем), а только констатировать, принимать. Не побрезговал! Наш Облонский... Чувство любви к нему было тем более шемящим, что мы знали: поэт был человеком изысканного вкуса, недаром две трети его стихов оставались понятны только знатокам. Сумел Об-

лопский, следовательно, преодолеть свои блуждания, в лиловые уюты не убежал и нос рукой зажимать не стал.

Причина явственная, простая. Была и другая, которую можно высказать только предположительно. Как бы это сформулировать, чтобы было понятно и в то же время не грубо... Есть люди, в природе которых мужские и женские черты образуют единое гармоническое и неразложимое целое. Собственно говоря, вопрос об их поле даже и не стоит. Это — андрогины, существа, имеющие особую, двойную природу. Люди эти мужественны и женственны одновременно, одно в них оборачивается другим и наоборот, все колеблется, зыблется, мерцает, и их очарование внятно и мужчинам, и женщинам, так что магия личности андрогина, тайна его прелести завораживают и влекут. В глаза Андрея Облонского можно было смотреть, как в огонь, — неотрывно, затмеваясь рассудком, забывая обо всем на свете. Это было известно его современникам, знакомо это и многим из нас...

Размышляя, профессор Киндер рассеянно листал том дневников из собрания сочинений замечательного поэта. Что-то он там искал и сам не знал, что, метод его изысканий был сугубо интуитивным, и порою он и не предполагал, где его ждет очередная находка и каким путем он на нее набредет. Вот путевые впечатления Облонского, вот описание его встречи с проституткой, вот театральный роман и мимолетное увлечение акробаткой... Наконец Киндер, казалось, нащел, что хотел, и замер над страницей. Он напряженно всматривался в текст. Дневниковая запись, умещавшаяся в несколько фраз, гласила о том, как Облонский, находясь в состоянии тяжелого уныния, познакомился с «удивительным человеком» «пани». Душевный мрак его рассеялся, сердце забилося мятежней и чаще. Онпил с «пани» шампанское и испытал восторг. Другая запись, начинавшаяся с красной строки, была экзотическим восклицанием: «Нет, еще Польша не погибла». Под ней стояла дата, подпись, ниже редакторская сноска: в рукописи рисунок, изображающий неустановленное лицо.

Профессор Киндер забарабанил пальцами по столу. Сама эта запись и связанный с нею эпизод жизни Облонского были давно прокомментированы учеными. Польская любовь поэта легла в основу сюжета его известной поэмы, связь с Ханной Петражицкой была солидно документирована. Однако что-то смущало профессора, и он принялся перебирать в памяти факты. Знакомство с

Петражицкой состоялось спустя полгода после записи о «пани», потом сложился замысел поэмы, тогда как никаких «польских» сюжетов и впечатлений ко времени этой записи у Облонского, если не считать его упоминания о непогибшей Польше, не было. Киндер все более был склонен считать запись странной. Он перечитал ее еще и еще раз, отметил столь же взволнованный, сколь и уклончивый характер упоминания поэта о неведомой «пани». Конечно же, имя им было легион, возлюбленным поэта не было числа, и все же что-то смущало профессора все больше и больше. Решительно захлопнув книгу, он спустился в архив и заказал дневник Облонского. После того как он два часа прокурил в обществе очаровательных сотрудниц, которых небезуспешно развлекал анекдотами, заказ его был исполнен. Киндер, волнуясь, нашел нужную страницу и остолбенел: рисунок поэта, сопровождавший запись, изображал мужчину с остроконечной бородкой и франтовскими усами.

2. Догадка профессора Киндера

Удивление профессора было бы непонятным — мало ли что набросала в рассеянности рука Облонского и чьи черты вдруг пришли поэту на ум, — если бы не одно обстоятельство, которое заставляет нас обратиться к впечатлениям юности талантливого ученого. В те времена, когда Киндер был еще очень молод и только лишь подавал определенные надежды, он пользовался благосклонным вниманием великого профессора Чаликова. Чаликов явственно отличал Киндера среди прочих студентов и, что называется, «верил в него». Профессор особенно любил беседовать с Киндером о героях «серебряного века», блестящих, часто безрассудных господах, многих из которых он имел удовольствие знать обстоятельно и пространно. «Голубчик», — говорил Чаликов, переходя на шепот, и Киндер узнавал от него имена, события, подробности, струившиеся пестрой разноцветной змейкой, сплетающейся в причудливые кольца. Здесь важен был узор, мозаика, картина, и постепенно в юной голове возникало представление о том, как тысяча безумно одаренных людей создали культуру, которой суждено было увенчать собой цветущую крону русской истории. Волнуясь, Чаликов повествовал о временах, в которых опьянение

и трезвость, скитальчество и трудничество, прелесть и красота особенно мучительно и страстно прорастали друг сквозь друга. «Голубчик, — волновался Чаликов, — а сколько мы забыли, потеряли, утратили вместе со всем чудесным, что цело в их душе!». Чаликов особенно настаивал на том, что общий закон существования заключается в ситуации «не-встречи». Друг разминулся с другом, возлюбленная сошла кварталом раньше, мать на минутку отвлеклась и проглядела заплаканные глаза — все так, голубчик, но долг, быть может, только в том, чтобы догнать и разыскать и — предстоять, ожидая Суда вместе, а не порознь. Так говорил Чаликов, увлекаясь, путаясь и морща старческое страдальческое лицо. С особенным энтузиазмом рассказывал он Киндеру о тех, о ком не оставалось ничего — канувших и сгинувших, — напечатлевая их имена в подагливую молодую память. И вот теперь, когда под пальцами Киндера бился рисунок Облонского, одно из этих имен вдруг ожило в его памяти. Иван Ильич Пани. Да-да, именно так: Иван Ильич Пани.

Киндер взгляделся в рукопись. Да! Почему «пани»? Запись нигде о женском роде этого слова не свидетельствовала. Заглавное и строчное «П» Облонский почти не различал и, пристально всматриваясь в начертания, Киндер все больше убеждался: «П» все-таки заглавное, так что не «пани», а «Пани».

Киндер откинулся в кресле и блаженно прикрыл глаза. Он атрибутировал запись по-новому, в истинном ее значении. Это было открытие, и сейчас для него оно равнялось коперниковскому перевороту.

3. Пан и пони

П одлинного ученого отличает не исследовательская горячность, а интеллектуальный холод. Дилетант на месте профессора Киндера тут же принялся бы бить в ладоши и благовестить по свету о своей находке. Между тем Киндер перевел дух и стал листать дневник дальше. Вот! Спустя неделю после знакомства с Пани Облонский сделал запись: «Утром ездил к Пани. О Пани! Ты — бог и сам того не знаешь». Киндер раскрыл том дневников из собрания сочинений и прочитал: «Утром ездил на пони. О Пан! Ты — бог и сам того не знаешь». В комментариях сообщалось о том, что Об-

лонский в это время особенно увлекался верховой ездой, к которой «относился с чисто языческой страстностью, см. записные книжки поэта». Киндер ехидно улыбнулся. Он любил дурацкие ошибки коллег, поскольку это были готовые анекдоты, которые потом годами жевал академический мир. Киндер был далек от того, чтобы злорадствовать. Однако в удовольствии пошутить он отказать себе не мог.

«Саша, ты что-нибудь знаешь об Иване Ильиче Пани?» — спросил Киндер у руководителя Группы по изданию Полного собрания сочинений и писем Облонского Варфоломеева.

«Видишь ли, — задумчиво сказал Варфоломеев, — упоминания о нем мне встречать приходилось. Но ничего конкретного не помню. Какой-то записной литератор...»

«Именно записной, — улыбнулся Киндер и протянул Варфоломееву рукопись дневника Облонского. — Прочти-ка вот это место».

«Утром ездил к Пани. О Пани! Ты — бог и сам того не знаешь», — прочитал Варфоломеев.

«А вы что опубликовали?» — ласково спросил Киндер, указывая на печатный текст.

Варфоломеев взглянул и побагровел. Киндер смущенно покашливал.

«Кто готовил дневник к печати?» — вдруг закричал Варфоломеев нехорошим голосом и побежал в Группу.

Болтливая язвительность профессора Киндера была известна всем. В Группе по изданию Полного собрания сочинений и писем Облонского началась паника.

4. Старший брат подводит неутешительные итоги

С малых лет я носил одежду из разноцветных лоскутов и смотрелся в зеркало, разбитое на куски. Ни трагедии, ни быта, ни трагедии, ставшей бытом, — ни быта, оказавшегося трагедией: ничего этого для меня никогда не существовало. Как бы ни было мне одиноко — находилось меньшинство, терпеливо выслушивавшее мою невнятицу и прощавшее мне мои прегрешения — может быть, только за то, что на мне замыкался круг, а по кругу этому бежали все мы — поколение — цирковая лошадь в белоснежной попоне, мокрой от пота, ускользящий зверь с несатытым брюхом и оска-

леним поровом: философы-алкоголики, фарцовщики-теоретики, историки, которым было не суждено войти в историю, потому что сами же они ее отменили. Это поколение младших научных сотрудников — каких бы званий и должностей мои сверстники ни достигли, всегда они будут помнить, как откусывали, давясь и плюясь, свой первый кусок — к сорока годам погружается в состояние очумелой болтовни. Сегодня я встретил приятеля, который выразил все это наше Состояние, что мы, того гляди, завещаем даже не детям, взирающим на нас с недоумением, а внукам, — немногими, но точными словами. Я не видел его несколько месяцев, слышал о его — очередной — жепитьбе и, желая поздравить, спросил: «Говорят, ты женился?» Он растерялся и ответил так: «Я... нет... да... Все сложно... Я слышал... Тоже...» Я сказал ему, что мама его жалуется на жизнь, намекая, дескать, не он ли тому причина. «Сейчас все жалуется на жизнь», — заметил он, чему-то обрадовался, внезапно захохотал и побежал мимо бегущих навстречу людей. Смех его достал и потащил меня, когда я догонял автобус, увозивший меня на вокзал, во тьму, откуда многие тьмы народа разъезжались прочь от нашего престоля — кривого и дикого, как фонарь под глазом. Колеса стучали в мозг, и сердце ломилось в грудь, пока воспоминания не стали одолевать меня, замешивая совесть и стыд в крутое, пружинящее, детским мячиком подпрыгивающее тесто.

В юности мы с другом впали в грех: мы не написали книгу о Достоевском. Ее замысел родился под впечатлением поступавших из Англии сообщений о гибели объявивших голодовку ирландских заключенных-террористов. Они умирали один за другим в своих одиночках, под железной пятой Закона, и ледяное отсутствие Благодати в этих событиях, которые мы переживали так, будто они происходили в соседних комнатах наших коммуналок, выжигало душевную мякоть до угольной черноты. Накал льда отрезал нам путь к теплоте — она была тошнотворна, — и мы потянулись к огню. Тогда мы решили писать книгу, придумали название — «Сквозь Достоевского», отважно решили опубликовать ее в те диссидентские времена на Западе, увидели некий свет и — ничего не написали. Теперь прошло уже много лет, есть у нас бороды и седина, есть прекрасные воспоминания, есть опыт — нет только этой книги и нет нас, прошедших сквозь.

Когда я говорю «сквозь», я имею в виду сквозняк и пламя — свечу на ветру, и я боюсь только, что наступит в нашей печальной

отчизне день, когда сквозь русскую литературу начнут прогонять, как сквозь строй, и мальчик с русой, пахнувшей воробьем головой будет заслонять рукой лицо от палочных ударов восклицательных знаков. На филфаке нас этому не учили, и нигде больше я не встретил — и не встречу, наверное уже никогда — такого терпимого, корректного и бережного отношения к миру и людям.

Знаменитый профессор, читавший курс лекций о Достоевском, был мал и хрупок, как ребенок. Он едва возвышался над кафедрой, говорил тихо, был подчеркнуто старомоден. Он родился до революции — нам посчастливилось видеть и слышать людей, выросших еще в старой России, до потопа. Профессор был артиллеристом, знал толк в прямом попадании и начал с того, что первым снарядом разнес цель в пух и прах. Он говорил о том, что вся тайна творчества Достоевского, быть может, заключается в загадке перелома, произошедшего с ним на каторге, что это вопрос вопросов, и он предостерегает нас' от любого однозначного ответа на него. Обнажив проблему, профессор не стал предлагать своей концепции, более того, он словно забыл о том, с чего начал, и принялся детально анализировать тексты, причем, когда курс был завершен, схема так и не была выстроена, а вопрос остался без ответа. Профессор уклонился в сторону, и только много лет спустя я понял, что он хотел, чтобы каждый ответил на этот вопрос сам: искусство умолчания было для старика и жизненной позицией, и способом самосохранения, и воспитательным средством. Жизнь учит молчать, мы начинаем с лепета, потом бормочем и восклицаем, ругаемся, злимся и бьем себя в грудь, пока смерть не кладет нам на уста крепкую печать. И тогда вспоминают, как человек смолчал, замолчал, отмолчался.

Итак, мы впали в грех. И совесть, многократно вывихнутая и вправленная лекарем-стыдом в сустав, жметя в дырявом пальтишке на ветру. Холодно ей, и платье не греет. Грех лишает нас толики энергии, и у нас не остается ни времени, ни сил сделать что-нибудь стоящее. Тогда мы каемся и плачем. Наш грех тяжел влвойне, ибо совершен по отношению к мертвому. Осторожнее с мертвыми, господа! И еще...

Пьяный больной сказал пьяному врачу: «Доктор, я без сознания! Дайте градусник, может быть, поможет...» Врач размахнулся, ударил болезного кулаком в бубен, и клятва Гиппократа в очередной раз перевернулась в гробу...

Брат, ты найди его — Ивана Ильича Пани, — найди этого человека, и буквы прорастут семенами, слова брызнут росой, фразы, срезанные под нож, качнут бутонами, будто бы и впрямь в ответ на поклон. Человека всегда надо искать... Бог в помощь, малыш!

5. Архивные изыскания Митеньки Румянцева

Когда Саша Аргунов в очередной раз проямлил нечто невразумительное о своем дипломном сочинении, к работе над которым он тщетно пытался приступить весь первый семестр, профессор вдруг решительно ударил ребром ладони по столу. «Довольно, Саша, — сказал Киндер. — Право, довольно. Мы совершили ошибку: тема дипломного сочинения вас совершенно не интересует. Мучиться и ломать себя не надо. Мы просто поменяем тему, и вы за полгода напишете то, что будет читаться, как авантюрный роман».

Волнуясь и заражая Сашу своим волнением, Киндер рассказал о Иване Ильиче Пани. Таинственная полулегендарная фигура. Литератор, по-видимому, не печатавший своих произведений, а возможно, опубликовавший что-то под псевдонимом. Человек, о котором остались устные предания.

«Надо найти хоть что-то, — твердил Аргунову Киндер, — ни точку, обрывок, кончик. Эпизод с Андреем Облонским уже многого стоит. Но это только начало. Пани надо поднять, как затонувший корабль. Нужны архивные материалы, и если вы отыщете с десяток свидетельств о судьбе Ивана Ильича, вы напишете богоугодную человеколюбивую работу», — Киндер смотрел в лицо Саши детскими голубыми глазами.

Саша понял все: ответственность, долг, профессиональный престиж. И более того, в голове у него уже сложился план действий, твердый и ясный, как чертеж. Он вспомнил о Митеньке Румянцеве.

Пока Саша ехал в захолустную, заброшенную на окраине новостройку, где обитал Митенька, он поневоле еще и еще раз перебирал в голове историю этого несчастного, невинного, погибшего человека. История была короткой: Митенька, служивший в библиотеке, был кротким и тихим созданием природы, преданным библиографическим и архивным изысканиям. Незаурядный архивист, Митенька стал живой энциклопедией, хранившей бессчетное число

фактов о творчестве русских литераторов, причем он не делал различия между знаменитыми и неизвестными писателями — все они были для него служителями единого Храма, где и сам он тихо молился — потеснившись, укромя, в уголке. Знарок частных собраний и кладонискатель неразобранных фондов, монах без монастыря или монастырь, обезлюдевший до последнего монаха, — в одно прекрасное свежее майское утро он на работу не явился. Не пришел он и на следующий день. Миновала неделя, начались розыски, сообщили в милицию. Спустя месяц одна сотрудница библиотеки, выгуливавшая поутру собаку в парке, проходя мимо скамейки, бросила взгляд на сидящего человека и, осторожно приблизившись, с ужасом стала всматриваться в него. На человеке не было лица. Это было существо — без пола, без возраста, вне жизни и вне природы вещей. Собака обежала вокруг него, вернулась к хозяйке, тоскливо и глухо залаяла. Тогда человек медленно повернул голову, и сотрудница увидела слабое подобие улыбки. Сквозь стертые безжизненные черты она различила знакомый облик и, не решившись предпринимать что-либо на месте, поспешила сообщить куда надо, что исчезнувший Румянцев находится в немыслимом, невозможном состоянии на скамейке в парке. Приехала скорая помощь, и Митеньку увезли в больницу. Там он провел полгода и получил инвалидность как тяжело и неизлечимо больной. В чувство его привели, но то, что с ним стряслось, было непоправимо, сулило тяжелый прогноз, что и подтверждали глухие периоды прострации, в которую он, несмотря на лекарства и уход, погружался время от времени, теряя всякую связь с реальностью. Митеньку любили, ценили и уважали, и это погребение заживо подействовало на всех его друзей и знакомых необыкновенно мрачно. Человек, в светлые промежутки болезни способный к общению, он на глазах уходил в небытие, и вместе с ним уходили его доброта, невинность, его уникальная память, уже надорванная и еще хранившая события, имена, судьбы, которые угасали вместе с ним. Собственно говоря, каждый визит к Митеньке был прощанием, об этом знали все, включая его самого. Никто не знал только о том, что его ждет там, внутри — скрежет, шорохи, шум, молчание, безмолвие или тишина...

Митенька сидел на кухне и пил чай с абрикосовым вареньем. Выслушав рассказ Саши об Иване Ильиче, он не проявил никакого интереса и сказал только, что, разумеется, такой литератор существовал, о чем имеются свидетельства в дневнике Облонского. По-

том он сказал: «Было что-то еще... Очень важное... В коллекции...» Он надолго замолчал. «Да, — сказал Митенька. — Рукопись романа». «Где?» — взмолился Саша. Румянцев молчал. «Архив издательства? Журнала? Частное собрание?» — Саша сидел ни жив, ни мертв. Митенька долго смотрел в пустоту. «Это что-то сложное, — сказал он наконец. — Не вспомнить. Хороший роман. И еще стихи. Неопубликованное. Он не хотел печатать. Я забыл».

Митенька размешал ложечкой чай. Саша погладил его по руке и больше не спрашивал ни о чем. Когда он собрался уходить, Румянцев, уже на пороге, вдруг сказал: «Я вспомнил. Архив Пани в усадьбе Загрязцевых. Я был там на музейной практике, когда учился в Университете».

6. Экспедиция

Усадьба-заповедник Загрязцевых была приятнейшим местом с приятнейшими людьми. Заброшенная в живописной уединенной тиши, когда-то она посещалась толпами туристов, любителями старины, празднующими и странниками, находившими здесь и пристанище, и заботу внимательного музейного персонала. Увы, гостиница, стоявшая неподалеку, уже давно пустовала — Россия перестала путешествовать, у нее были другие заботы, и усадьба, нуждавшаяся в реставрации и ремонте, и запущенный роскошный сад с покосившимися беседками и заросшими тропинками, и лестница, певшая на все лады под легкими ножками сотрудниц, — все приняло вновь тот сиротливый, отчаявшийся и полный жизни облик, который всегда был свойствен сему старинному приюту искусств, одиноких мечтаний, прогулок, неги, любви. Казалось, сами хозяева давно вернулись сюда, и действительно, странные шорохи и стуки, никогда не перестававшие тревожить ночную музейную тишину, становились все отчетливее и явственней, слышны уже были и шаркающие шлепающие шаги по пустому коридору, и тень в белом — подвечном, бальном — мерцающем, светящемся — платье уже сбегала по ступенькам в сад, скользила по аллее, сливалась с газовым сиянием луны. Призрак дробился, и ломкий свет, багряневший острия лучей, кровавил лунный лик, и соловей, шелкавший трелью, вдруг ухал совой... Пустынно и одиноко было

в усадьбе и холодно: в летнюю жару сотрудницы вдруг зябко поводили плечами. ежились и странно поглядывали друг на друга.

«Сашенька, — сказала Ираида Бернгардовна, директор музея, ласково поившая Аргунова чаем в своем кабинете, — мы очень рады гостям, и ваше путешествие к нам оставит у вас приятные воспоминания. Но Иван Ильич... Митенька что-то перепутал. У нас нет и никогда не было его архива. Этот человек действительно провел здесь некоторое время в 1918 году. Но установить, кем он был, нам не удалось. Кто-то из знакомых владельца усадьбы, последнего Загряжцева. Вот и все. У нас есть только один экспонат, принадлежащий его перу. Странная вещь, хранится в запасниках. Мы не решились выставить ее в экспозиции. Я думаю, этого не надо делать и сейчас, когда все можно. Вам принесут ее попозже, к вечеру. А Иван Ильич... Есть у нас старик, старожил, работает ночным сторожем. Ветхозаветный персонаж. Просто Мафусаил. Так вот: он что-то о тех временах помнит. Но должна вас предупредить: я не раз слышала его истории о прошлом, он каждый раз рассказывает все по-другому. Так что это скорее легенды, фольклор». Ираида Бернгардовна перевела разговор на университетских своих товарищей и товаров, оставшихся в столице, и Саша много узнал бы о щедро обещавшей юности, охлаждающей зрелости и превратностях профессии филолога, когда бы был в состоянии слушать внимательно. Сердце его упало, и он механически отвечал на вопросы Ираиды Бернгардовны, подспудно размышляя о том, что же теперь делать. Хорошая женщина почувствовала его состояние, улыбнулась и вдруг сказала: «Пойдемте-ка в сад. Василий Глебович у нас еще и садовник. Посмотрим, в каком он расположении духа». Когда они, петляя тропинками, добрались до дальней беседки, на которую искоса поглядывала мраморная грациозная нимфа, со скамейки навстречу им виновато приподнялся древний старик в рваной телогрейке и ватных штанах, заправленных в рыжие стоптанные сапоги. Старик начал в чем-то оправдываться перед Ираидой Бернгардовной, комкая в руках видавшую виды шапку. Вкусно пахло вином. Наконец он понял, чего от него хотят, и охотно откликнулся.

«Иван Ильич? Был такой. Недолго он у нас прожил. Приехал в лаковых ботиночках, с тросточкой, в петельке цветочек. Чудной такой. Все гулять ходил, целыми днями гулял. Я, говорит, воздухом не могу надышаться. Бородка у него такая, клинышком. Ти-

хий был человек. А вот не выдержал, вспылил. Вызвал его комиссар, и был у них промеж собой разговор. Накричал Иван Ильич. Потом выскочил на крыльцо, комиссар и говорит: «Если бы не революция, я бы вас вызвал на дуэль». А Иван Ильич побрезговал. Говорит: «С вами мне стреляться невозможно». Не уважил, не допустил до себя. И так это сказал, будто кипятком ошпарил. Тот аж весь затрясся. Достал револьвер, а Иван Ильич не побежал, даже в лице не переменялся. Только папироску эдак задымил и что-то ему на иностранном наречии — по-птичьему как бы засвиристал. Последние это и были его слова».

«А могила? Похоронили-то его здесь?»

«Там уже заросло все. Столько лет прошло. Но место примерно указать могу. Обязательно могу указать».

Было солнечно, ослепительно светло, небо весело синело над головой, птицы щебетали, как в лесу, кладбище сияло радостным и ярким светом, словно пасхальное яйцо. Саша долго бродил между крестов, надгробий, заросших травой бугорков. Он был полон состоянием особой просветленной трезвости, и, когда опустился на колени в траву, а потом прилег, раскинув руки, у него уже не оставалось сил — лишь желание слиться с этим пронизанным солнечным теплом воздухом еще тревожило грудь. Здесь было тихо и чисто, он лежал долго, погружаясь в самую глубину покоя, переполненного звенящей летней тишиной, и только когда свет, потесненный сумерками, стал медленно и тревожно отступать, Саша поднялся и пошел в усадьбу, внезапно остро ощутив приближение вечера и темноты. Ему вдруг захотелось плакать, и он понял, что с солнечным светом, который завтра же непременно вернется и воссияет вновь, сегодня он прощается, как с любимым человеком.

В усадьбе уже рады были выполнить его просьбу. Ему принесли папку. Он раскрыл ее и достал плотный листок бумаги, на котором тушью, с отменной режущей четкостью, был изображен корчащийся на колу клоун в шутовских лохмотьях, а ниже бежала размашистая подпись: «Иван Ильич Пани».

7. Казнь клоуна

Вспыхнул цирк!
Торт нарезан кусками,
И на каждом свечка горит.
Лоскутами под облаками
Кувыркается шут вверх ногами —
Шутит шут,
И шутиха трещит.

Бармен лижет петух леденцовый,
Алый лед да пунцовый блеск.
По лицу подлеца
Жирной спинкой тунца —
Деньги в банке и пиво из банки —
Блик свинцовый,
Нездешний отблеск —
Он счастлив!
Недолив замолив,
Окрестив переплеск,
А окрест
Неизжитых болезней,
Подкожных страстей
Перелесок.
Вот малиновый раб в белилах
Возникает в дурацкой игре,
И лимонный налимий
Вокзал и курзал,
Мавзолеем забальзамированный,
Как бокал, как закал
Льдистой шпаги,
Рухнул, треснул, вонзил на арену
Ядовитый клинок!
Хлопок —
Руки плещут крылами плаща —
Ты один, рабий зрак,
Призрак в каплях росы,
Полночь полнится ночью...

Клоун приговорен,
Смех разодран, сожжен —
Копоть, оторопь, ропот
И слезы, как пот,
Мажут грим, лижут крем —
Эстафетой эмблем
Стала казнь,
Колом в колокол — клоунада.

Так было,
Так будет,
Так есть
И так надо:
Колом в колокол — клоунада.

Если шут —
Шути до крови,
Если раб — работай до пота!
Это страшно простая работа:
Кровь в слезах и слезы в крови.
Не проси,
Не моли,
Не зови —
Казнь сладка,
Замолчи и глотай:
Клоунада — твоя забота.
Цирк от Рима и до Надьма!
Шут надьбал,
На дыбе остынет...
А пока — не зевай,
Разевай
Рот,
Разодранный бритвой компота
Ананасового
Пред распятым!
Сказал, что спятым, —
Спятели!

Клоун думал,
Мол, шутка, забава —
Нет, забавник, пожалуй на кол!
Как укол, как прокол,
Как загон, как угон —
Сарафанная девка Любава.
Любва наша страстна,
Ставка наша страшна —
Пубавить,
Повидлом намазав?

Цирк в огне!
Там в окне
Блик поджаренной корки зари.
Не зови,
Не моли,
Не проси —
На узоре
Лишь лишайно-лиловые зори —
Они лишние —
Значит, наличными —
Надо рвом в надрыв клоунада —
Только лишнего нам и надо.

И палач под улыбки тонкие
Брякнул цепью —
Оцепенев,
Клоун дернулся на острие —
Малохольный малиновый шут —
Плут, порезанный бритвы лезвием.
Хорошо!
Хоровое хоральное шоу —
Девки возбуждены,
Плоть бунтует,
Кровь хлещет —
Плещет знаменем крик,
Блик лиловый
На гребне волны —
В крови.

Подойди — и добей,
Подползи и разбей
Чашу клоунского бокала:
Злом по золоту
Разорвав узор,
Так велит тебе клоунада.

А пока остывает клоун —
Бабой-бабочкой на игле —
Вспомни, разве
Не так на заре
Ха-ха века
По розовой вене
Кровь раззявила синюю пасть,
Разлилась полоумная рвань,
То есть прорва,
Проворная вонь —
То ли оземь упасть,
То ли в грех,
То ли в пропасть
И просто пропасть
Или власть пососать всласть.

Выбор пал на кровавый цирк —
Мы в него всей толпой зырк —
Кто раздавлен, а кто удушен,
Но в охотку,
В охапку,
В прихватку!
Клоун на кол сажён,
Подожжён и сожжён,
На арене гремит канонада.
Нам урок только впрок,
Правда, корм не в прокорм,
Но зато так нам всем и надо —
Кому эгалите,
Кому фратерните —
Нам подай либерте,
И да здравствует клоунада!

8. Несколько замечаний о чистой совести

После того как Саша Аргунов убедился в том, что о Иване Ильиче Пани ему ничего разыскать не удалось и время ушло безвозвратно, он погрузился в состояние глухой растерянности. Еще можно было бегать по архивам, звонить знающим людям и тормозить коллекционеров и собирателей, чтобы добыть хоть что-то, — нет, он тупо валялся на диване, созерцал потолок, заваривал чай и пил его, чередуя глотки с затяжками сигареты. То, что он чувствовал, было непонятно ему самому: тоска переходила в раздражительность, та сменялась неясной решимостью покончить все разом, одним махом (неведомо как), следом наступали приступы апатии и полуснанаяву. Подспудно он ощущал, как в нем точно разжимается сжатая пружина, порою его как будто бы начинала бить лихорадка, и он метался по квартире, чтобы вдруг снова в изнеможении свалиться на диван, прижимаясь прыгающим сердцем к пружинящему дну. Так шел день за днем, пока однажды, мучаясь бессонницей, он вдруг решительно поднялся, достал бумагу, перо и сел за стол. Все дальнейшее Саша проделал вполне машинально, автоматически и безучастно. Он твердо и четко вывел на бумаге имя автора: Иван Ильич Пани, заглавие: Казнь клоуна, подзаголовок: роман, тут же набросал его план, разумеется, приписав его вышеозначенному автору, а затем, не отрываясь от стола в течение нескольких часов, почти без помарок и правки, написал главу из этого романа, в которой, руководствуясь своими представлениями о духе и букве символистской прозы, изобразил фантазмагорическую сцену кровавой расправы над площадным шутком на арене цирка.

Еще дней десять ушло у Саши на то, чтобы создать дипломное сочинение об обнаруженном в усадьбе Загряжцевых наброске плана романа и главе из него. Тому и другому он посвятил краткий описательный анализ. Иван Ильич Пани обрел зыбкие, расплывающиеся очертания и подобие плоти и крови. Саша потащился в Университет.

Когда он на ватных ногах пришел на кафедру, профессор Киндер, выдержавший прием непрерывного шестичасового экзамена, вяло сдерживал напор филологинь, забывших, когда они в последний раз прочитали книгу из русской классики. Они видели, что профессор ослаб и держали зачетки наготове. Киндер сопротивлялся. Завидев Сашу, он бессильно развел руками и еще около

часа наводящими вопросами, спасительными анекдотами, примерами из жизни, мытьем и катаньем выуживал у хвостисток крохи учености и тернии познаний. Когда экзамен рассеялся, на профессора было больно смотреть: немолодой, весь день ничего не евший человек, как пахарь на злой каменистой почве, пожал плоды блестящих лекций, странным, причудливым и безобразным образом давших в умах неблагодарных слушателей тощие жесткие всходы. Саша приблизился, и профессор измученно улыбнулся. «Нашли?» — спросил он Аргунова. Тот раскрыл дипломную папку. Киндер пробежал глазами его сочинение, задержался на приписанной Пани главе, неопределенно хмыкнул, о чем-то задумался, потом махнул рукой, написал на титуле: «К защите. Профессор Киндер». Саша подхватил папку, выскользнувшую из вдруг ослабевших рук учителя.

Ночью, лежа в кровати, Саша долго не мог заснуть. Его мучило не беспокойство и не страх, а какое-то почти физическое неудобство. Он ворочался с боку на бок, ложился на спину и на живот — жесткое, острое и колющее ощущение находило его снова и снова. Пока надвигающийся рассвет, наполнивший комнату зябким туманом, не растворился в его голове, уничтожая неупокой, словно причиной всему была одна ночная непроницаемая мгла.

9. Защита

На защиту профессор Киндер, повинувшись какому-то неясному чувству, не пошел. Вместо этого он долго бродил по городу, пока не забрел в прохладный полуподвальчик, выпил там стакан светлого вина и, бросив продавщице пару свежих шуток и анекдот, отправился в шахматный садик. Здесь в тени и пятнах света сидели игроки, мгновенно передвигавшие фигуры и нажимавшие на кнопки часов. Здесь все — была игра, и лишь трава, деревья, небо оставались безучастны к тому, как метались по доске деревяшки, как клонился долу и падал ниц король и руки победно воздевались горе. Киндер перемигнулся с Андреем, своим постоянным партнером, и тот, наскоро поставив визави мат, пригласил профессора к борьбе. Они принялись метать фигуры.

Андрей стремительно разрушал комбинацию профессора, тот видел контригру и знал уже, как выиграть победный темп, когда за

спиной послышался пронзительный голос женщины, распекавшей какого-то Ваньку. Киндер на мгновение обернулся и увидел сидящего в трудной похмельной позе мужичка и старенькую бабушку напротив, внушавшую ему, что надо идти и получать отпускные.

«Это мама его, — объяснил Андрей. — Имеет право. Тем более, что он заслужил».

«Вы мама?» — спросил Киндер, ставя шах и одновременно оборачиваясь к бабушке.

«Я — мама. Не с Кавказа какого-нибудь. Не армянка! Не грузинка! Мама!»

«Сейчас надо быть немного стебанутым, — сказал Андрей задумчиво и двинул проходную пешку. — Чтобы выжить. Я тоже, может быть, хотел немцем родиться. И Ванька родителей не выбирал».

Профессор еще раз обернулся и пропустил решающий удар. Андрей собирал урожай. Киндер поставил одну ловушку, другую, Андрей отверг, и позиция профессора разлетелась в дым. Через несколько ходов все было кончено.

«Попался, как Иван Ильич», — констатировал Андрей разгром профессора.

«Что? — насторожился Киндер. — Какой Иван Ильич?»

«Ну не Иван — Петр или Семен. В России все немного Ильичи. В переулочек Ильича не ходи без кирпича. Опять же Илья Муромец, Илья-пророк. Лев Толстой тоже что-то накатал. Ну, не мне вам объяснять».

«Философ», — буркнул профессор. Они принялись расставлять фигуры, но Киндер внезапно расстроился, смешал диспозицию и сказал: «Вот что, Андрей. Бери-ка Ваньку и пойдем посетим питейное заведение». Спустя мгновение они втроем поспешали к заветной двери, Андрей болтал без умолка, а на лице обруганного мамой мужичка жило предчувствие простого человеческого счастья.

Аргунов шел четвертым. Завкафедрой, открывший заседание, поприветствовал собравшихся, напутствовал дипломантов, и защита потекла своим чередом.

Сначала юноша с яркими тревожными глазами рассказал о проблеме диалогизированного сознания в «Записках из подполья» Достоевского. Он говорил о глухом душевном подвале, сыром и темном, о луче света, нечаянно залетевшем туда, и о том,

что из всего этого имело место быть. Извивающаяся мысль героя «Записок», тускло петляющая по закоулкам мироздания, как змея, заползала в душу, публика тревожилась и смущалась, никла и опускала глаза, пока юноша не подытожил печально: «Нет истины там, где нет целомудрия и чистого сердца», и все воспряли, разом поняв, что сам юноша из подполья уже вышел и только чуть задержался на пороге, бросив еще один взгляд назад. По собравшимся пробежал ропот одобрения — здесь все принимали близко к сердцу. Оппоненты, выступившие тут же с разбором диплома, были удовлетворены.

Следом молодой повеса выступил с сочинением, посвященным историко-культурному подтексту поэмы Блока «Ночная фиалка». Быстро и ловко он раздел поэму, набросал кучу скрытых цитат и намеков, на которых, как выяснилось, было построено произведение, сгреб все в гору, как белье, — и бедная поэма, казалось, задрожала от холода и стыда. Всем стало немного не по себе, оппоненты, углубившиеся в разбор мифов и символов, были удовлетворены.

Затем мятежная девушка, похожая на Свободу с картины Делакруа, сердито топая маленькой ножкой, предложила воинственный разбор творчества Цветаевой, выполненный в духе атакующего феминизма. Это могло бы быть смешным, но девушка была так хороша, что все, включая чуть смущенных оппонентов, мысленно дружно пожелали ей доброго мужа.

Настал черед Аргунова. Ничтоже сумняшеся он выложил свои крапленые карты, рассказал о поездке в усадьбу Загряжцевых, о мнимой находке и принялся читать отрывки из вымышленной главы придуманного романа. Когда он закончил, воцарилась тишина. И тут произошло то, что должно было произойти. Оппонент уселся за стол, расставил локти, сплел пальцы и принялся разносить жалкое строение аргуновского диплома. Прежде всего он сказал, что Иван Ильич Пани не оставил после себя почти никаких документальных следов в истории литературы. Упоминания в дневнике Облонского остаются единственным точным свидетельством его существования. Все остальное принадлежит устным преданиям, легендам и анекдотам, почти уже стертym временем и фактами не подтверждающимися. Что касается усадьбы Загряжцева, то там нет и никогда не было архива Пани, если не считать рисунка, который ему приписывается. Изображенное на этом рисунке, очевидно, и дало пищу нешуточному воображению автора

дипломного сочинения. Что из всего этого следует заключить, оппонент не знает, не берется решать и оставляет это на усмотрение кафедры, учившей Аргунова. Оппонент же только считает своим долгом удостоверить коллег, что представленная к защите работа суть блеф и мишура.

Замолчал оппонент. Замолчала кафедра. Притихли студенты. Безмолвие опустилось на аудиторию, словно глухота. Время, которое всегда стучит своими шестеренками, замерло, и большие настенные часы сломались, остановились и никогда уже не вернулись из мастерской, куда их в конце концов отправили. Было совсем тихо. И тогда послышался кашель, сначала тихо, потом все громче, пока он не стал надрывным и требовательным, в кашле прорезались рыдания, всхлипы, а потом, разрывая стоны, зазвучал смех, вызывающий, яркий, повелительный и чуть зловещий. Все повернули головы и увидели странную персону — старушку с раскрашенным лицом, овеянным седыми буклями, в кокетливом лиловом платье, чем-то напоминающем тушику, белых чулках и серебристых туфельках на высоком каблуке. Покачивая бедрами, она вошла на кафедру.

«Милый мальчик, шалун, — сказала она, грозя Аргунову пальчиком, — я вижу, как ты прячешь колчан со стрелами за спиной. Неосторожный, ты ранил меня», — она произнесла это с неопределенной интонацией, не то спрашивая, не то утверждая. Изумленный и смятый Аргунов растерянно кивнул. Старушка рассмеялась и вдруг пропела что-то по-французски. Внезапно она помрачнела и, оборотясь к комиссии, раздельно, внятно и четко сказала: «Я прекрасно знала бедного Ивана Ильича Пани. Это был редкий, мучительно прекрасный человек. О, как я восхищалась им! Он писал изумительные стихи и прозу и считал неприличным предавать свои творения печати. Ничего не опубликовал, насколько мне известно. Наверное, все пропало. Иван Ильич не любил печатный станок. Но этот мальчик, этот милый мальчик, он угадал, он разыскал отрывок! Иван Ильич читал мне свой роман, сегодня я узнала что-то знакомое, может быть, это только набросок, один из вариантов, я не берусь судить, но я помню, там была эта ужасная, эта мучительная сцена: клоун, цирк, палач и — ревушая толпа. Иван Ильич всегда боялся толпы». Она замолчала, потом подошла к Аргунову, поцеловала его в лоб, погладила по щеке и, звонко рассмеявшись, развернулась и ушла танцующей походкой.

Она пролетела по набережной, которую уже заливала гневливая, страшная, взвихренная пучина Невы, она перенеслась через пустынный, дикий и хрупкий мост. Здесь все уже было разломом, разбродом и в развалинах дворца металась чьи-то тени и голоса. Площадь была безумно нагой, как простреливаемое пространство, под ногами хрустело стекло, рая брусчатку. Она скользнула под арку, споткнулась о выбитый сустав проспекта и двинулась к собору. Купол был мрачен, обескровлен, и рана дыры зияла в нем, как в пробитом виске. Зеленым пронзительным каналом она промелькнула в распадок города, заброшенный, как предгрозовая тайга, и только здесь, у арки, подножие которой выбрасывало вверх древние стволы деревьев, выгнутые, как луки, она нашла наконец покой.

Над городом, как из небытия, восстал и засиял в сгустившемся небесном сумраке золотой шпиль, все смолкло, замерло, и был он, как крест...

Когда студенты гурьбой покинули аудиторию и двери закрылись, комиссия принялась обсуждать результаты прошедшей защиты.

ПАРИЖ

Перед смертью она долго перебирала его детские вещи. Там и было-то всего: шапочка, вязаные башмачки, рубашонка. Едва ли она уже ясно понимала, что это; сознание ее давно мutilось, пресекалось, как дыхание, и приступы удушья судорожно когтили руку птичьей высушенной лапкой. Здесь был мост, и он был переброшен через нее, от головы до пят, а по нему, невесомому, воздушному, шли тяжелые грузовики, вагоны, танки, брели пленные и беженцы — скоро должны были убить много народу, — так что ее смерть была только тонким, как укус иглы, уколом, пронзавшим небесную твердь и выпускавшим из шарика газ. Потом хрип, колокольный удар сердца, сорванного с колков, шелест, свист, шорох.

На похороны он не явился. Мать умирает один раз, и вот он не пошел. Конечно, это вызвало у всех, кто узнал, гневный ропот, подчас брезгливость — некоторые просто сплевывали при его приближении на улице. Его твердая репутация мастера в узеньком кругу знатоков приобрела после сего известия нечистый багровый отсвет, как у закраины заветрившегося мяса. Однако дело было

сделано, а совесть, душа, чувства — испытанные, подавленные или ушедшие на возгонку — остались вещами сугубо неосязаемыми. У него был холст, на холсте — пуганица линий и разброд пятен, в руках кисть, которой он малевал, как неотесанный мастеровой. По утрам он ел, почти бесчувственно, набирался сил на долгий бездонный рабочий день, ел, как зверь, низко нагибаясь над столом, так что волосы свисали со лба прямо в еду, которую он не разбирал на вкус и на запах, думая только о том, хватит ли его, чтобы не упасть и выстоять, когда уже ломит хребет. Едва ли тут была хоть тень радости, радостью становилось то отчаяние, которое он испытывал при мысли, что выходит не так, от понимания того, что он еще чувствует, как это должно быть на самом деле. Так он отваливался от холста и добирался до кровати, чтобы сквозь забытые и удары пульса смотреть в глаза реальности, не хотевшей проступать из-под его рук.

Чем это кончилось, вполне известно, шедевр был создан, художник умер, и к нему пришли на похороны люди, считавшие это своим долгом, но подробности, сопровождавшие таинство, остались неясны. Между тем здесь важны подробности, и, может быть, только и именно они. Детали и нюансы были в том, что через кваргал от места, где мастеровой тягался и алкал, шла другая история, как и бывает в этом мире, где все происходит только одновременно.

Странной, почти несбывшейся затяжной весной в Париже случилось странное происшествие. То здесь, то там, по дворцам, особнякам, меблированным комнатам и трущобам, у парижан, безрассудно любивших своих женщин, стал возникать на губах цветков орхидей. Такие случаи были редки, но странность и соблазн этого дела быстро стали вняты толпе, и слухи облетели Париж. Репортер столичной газеты в заметке, последовавшей вскоре, описал инцидент в метро, где молодой человек со стебельком орхидей во рту был окружен взволнованными пассажирами, пристально разглядывавшими его. Ирония и жалость сограждан были отмечены журналистом с буквальной точностью.

Юный русский эмигрант, учившийся в Сорбонне, был человеком далеким от модных парижских сплетен. Прежде всего он был чужим, затем — голодным, наконец, он был слишком занят собой. Там, откуда он приехал, было зияние, еще хранившее для него быстрый сполох света; клубилась воронка, указывавшая, как велик и причудлив был корабль, казалось, так незыблемо утвержденный над толщей вод. Те-

перь там была даже не пустота, а вакуум, жесткий игольчатый студ. В колбе, откуда высосали воздух, лежали гипсовые пейзажи, наколотые бабочки и засохшие древесные листья между папиросной бумагой. Когда он брел к себе домой, шатаясь от слабости и время от времени останавливаясь, чтобы присесть на корточки и перевести дух, ему казалось, что даже внутренности у него вынули еще там, на родине, и что он так же пуст и обескровлен, как место, где родился и вырос.

Все это было вполне безысходно, когда бы юность, зеркало и уединенная комната не дарили немислимые сюрпризы, которые не знаешь, как взять в руки. Струп лихорадки, который нащупал на губах русский аутсайдер, оказался завязью цветка. Точился аромат, смятешие бередило естество. В окно струился безразличный сумрак Парижа. Юноша прилег на кровать и, отчуждаясь от происшедшего, замер. Эта отметина была не клеймом, а знаком, но смысл его вызывал страх. Вместо удара шпаги по плечу — ароматное жжение в уголке рта, нарыв и опухоль набухающего цветка... Спустившись по лестнице вниз, школяр вышел на улицу и долго бродил по городу, пока не очутился у дома, где жил отец.

В детстве, в России, был случай и стал шрамом, сначала нежно-розовым, потом багровым, а после белым. Отец потерял его в толпе, город валился с горы и увлекал под уклон, отец самоубийствовал, метался, а когда обрел, в глазах его была любовь, пронзавшая страх коротким гладиаторским мечом. Ожог зрачка кожа загладила не до конца: отец был Бог, Россия — Гефсиманский сад, Сын Человеческий не находил, где преклонить главу.

Отец жил в полном одиночестве, безвылазно, безропотно, безмолвно. Все, что случилось с Россией, он понимал как грех, но не чужой, а кровный. Он не ушел в монастырь — физически он находился в Париже, но был он не здесь, и листок бумаги, прикрепленный к двери его комнаты: «Не трудитесь стучать. Я дома, но не открою», — с телеграфной точностью отмечал его монашеское отсутствие в суетах мира сего. Школяр прошел длинным коридором, остановился у двери с отцовским предупреждением и долго стучал в дверь. Он просил, настаивал и сетовал, он говорил, что с ним произошла странная вещь и он нуждается в поддержке и совете. Невнятно и путано повторял он, что этот цветок, исчадие и прелесть, он вплетет в соцветие, в котором тот утонет, как капля в чаше. Потом он замолчал и просто стоял, напряженно вслушиваясь в мертвую тишину, которую не нарушил ни один вздох.

Под утро, когда Париж замирает, город тревожили лишь рукотворный дождь поливальных машин и танцующая поступь дворников-арабов, вершивших свой обряд над тленом и распадом мусора, усыпавшего улицы, как снег зимой. Прохладный утренний воздух, напрочь лишенный жесткости, пьянил арабов, как запрет, цветок, закушенный зубами, выпускал из стебля сок и щипал язык. Париж, эта упавшая с неба каменная звезда, казался просто красивым оазисом, и страстные крики клаксонов были подобны верблужьим. Город лежал в забвении, и вся его тайна, быть может, умещалась в ладони только что родившегося ребенка.

ДРУГОЙ ПО ИМЕНИ КОТ

Крашенная блондинка работает в школе
Для трудновоспитуемых детей,
Она выгнала нас с урока,
Предупредила родителей
И не пустила на любимый спектакль.
Примерные ученики из школы напротив
Рассказали нам, как много чудесного
Произошло, когда распахнулся занавес,
Расшитый золотом, луной и звездами.
Мы слушали и страдали.
И вырвали из дневника все страницы,
Окровавленные колами и двойками
За безобразное поведение.
Но блондинка оказалась шатенкой,
Оценки остались в журнале,
И куклы, что металась по сцене,
Улеглись в просторном ящике,
Ящик замкнули, как уста,
Спектакля больше не будет,
Мы курим на полустанке,
С воспоминаньями-волдырями —
Скоро наложенный бинт присохнет,
Мы отправимся в перевязочную,
Дальнейшее — тишина.

С самой той поры как жена Ивана Артуровича покинула его, отправившись на горящий огнями рождественской елки Запад, где для нее был накрыт стол, а для него — нет, он проживал в убогой своей квартирке холодного бетонного дома вместе с котом Антипом, существом, несомненно стойчившим той любви, которую брат Иван проливал на него, как будто из горлышка — сладостный, дразнящий, напоенный целебными травами, обжигающий самый воздух бенедиктин.

Иван Артурович и Антип составляли престранную пару: первый был неизмеримо худ, непомерно высок и вечно погружен в себя, так что двигался как бы во сне; второй был примечателен более того: черен настолько, что в этом чудилось что-то пламенное, объемлющее костерком угольки, с красивой утонченной мордой, забавно съезжавшей на затылок, когда он зевал: в этот миг обнажались великолепные белоснежные зубы и большое черное пятно на розовом небе; лапки Антипа были необыкновенно узкими, что создавало бы впечатление хрупкости, когда б не широкая грудь и мощный загривок. Но не это было самым примечательным в облике Антипа: глаза! глаза с черной смородиной расплавленного зрачка, мгновенно и жутко мерцавшие нездешним блеском, в котором вдруг обнажалось что-то металлическое и в то же время яркое и яростное, уходившее к самым корням бытия, тревожные глаза, опасные и зловещие — как пропасть, пожар, тайга в глухих, точно подводная бездна, распадках. Впрочем, воображение Ивана Артуровича было уже изрядно расстроено: он вел существование призрачное, ночное, из дома выходил редко — лишь только для того, чтобы добыть корма для себя и Антипа, а денег, чтобы прокормиться, брал, отправляясь в мастерскую, где ему платили — как раз за то, что воображение Ивана Артуровича плодоносило. Беда, однако, заключалась в том, что, будучи сочинителем, Иван Артурович имел душевный строй подвижный и хрупкий, доставлявший ему изрядные мучения, выражавшиеся как в причудливых снах, так и в не менее причудливых бдениях. Между тем сочинительство Ивана Артуровича должно было быть внятно читателю <...>¹ и Ивану надобно было сие обстоятельство учитывать, что и внушали ему немилосердные редакторы, тогда как единственным предметом, достойным сочинительства, уже давно представлялся ему только Антип, которого он силился понять, как будто это был

¹ В рукописи пропуск.

Блез Паскаль, Кьеркегор или Барух Спиноза. Странная вещь, непонятная вещь! невысказанное расстройство воображения

Антип представлялся Ивану Артуровичу загадкой — в этом обстоятельстве и заключалась самая суть отношения Ивана к объекту черным пламенем коту. Самым главным в поведении Антипа были игра и сон — между тем и другим протекало все его существование, самая его сердцевина, самая мякоть. И скоро жизнь Ивана Артуровича стала тем же самым образом биться из источника игры и впадать в устье сна, причем порой игра и сон были трудно различимы, поскольку и то и другое было по сути дела — одним, Фантазией, не более и не менее того. Днем Иван Артурович — в промежутках между сочинительством — играл с Антипом в клубок, в фантик (Антип ловил его, встав на задние лапки, и удивительно бывал похож на маленького медведюшку), в шахматы (кот с трудом сдерживал себя, дожидаясь, пока Иван расставит порядки, а потом разваливал их на обе стороны, особенно любил он греческие серебряные, мелкого литья фигурки, на которые нападал с разбега, затем гладил подушечки лапок о холодную мраморную шахматную доску). Антип любил играть и в прятки, когда он скрывался от Ивана Артуровича под диван, в чулан, наверх книжного шкафа, в опустевший буфет или за плиту. Он ждал, чтоб Иванушка разъяснил его местопребывание, и тогда с шумом выскакивал из укрытия, носился по комнатам и нападал на закадычного своего Артурыча, колотя его лапами по ногам. Еще пуще любил он, когда Иван мылся в ванне, ходить по ее гладкому неширокому краю, бить лапой воду, тревожно кричать и наконец ложиться на край, свесив лапы и распластавшись, точно меховой воротник. Так он дремал, сторожа Ивана Артуровича, предостерегая его от утопления и наслаждаясь теплом, поднимающимся в воздух от горячей воды. Сущим удовольствием было для Антипа бросаться на Ивана — сзади, как пантера — на загривок, сбоку — на плечо, спереди — на грудь. Тогда Антип издавал воинственный победительный крик и чуть обозначал укус, который, конечно же, согласно закону игры, был смертельным. Играть Антип не уставал никогда — это и означало для него жить, — и если Артурыч забывал о нем и увлекался литературными занятиями, кот скучал, тосковал, бродил по квартире, мяукая вопросительно, тревожно, настойчиво, требуя от дружка внимания и участия. Только наигравшись вволю, он засыпал — или на телевизоре, свесив хвост на экран, или прямо на столе Ивана

Артуровича в развале его рукописей и книг. Сочинитель особенно любил такое присутствие кота посреди творческого труда: когда кот бил хвостом по его бумагам, он, казалось, забывал обо всем на свете, и перо так вольно, так играючи бежало по бумаге, и тоска как будто разжимала холодные пальцы на его горле.

Да, Иван Артурович тосковал. Там, в сознании, была ранка, не хотевшая затягиваться, прямая рана, вскрытая скальпелем и перебинтованная туго. Вот ведь, казалось бы, был он всегда одиночкой и интуитивно стремился к одиночеству и поражению, пускай даже унижительному и позорному — только в этом состоянии заброшенности и вины он и мог сочинять, а сочинять означало для него все. Как воля к смерти, как любовный трепет была для него неудача во всем — он к ним шел, потому что хотел быть просто никем — для всех, кто его окружал. Быть таковым означало для него только крепче верить в себя, ведь на необитаемом острове (он грезил) и хижина становилась чертогом, протекающая крыша — звездным, залитым сиянием небом, а в груди точно распускался бутон в каплях росы, и душа тревожно давила на ребра грудной клетки, так что было больно и радостно вздохнуть. Вот это материальное присутствие души и тревожило Ивана Артуровича, и не давало духа перевести, пока он сочинял. Но слезы, но память о крошечной теплоте ладони, обо всем, что составляет любовь, нежность и жалость... Однако происшедшее было непоправимо. Иван Артурович не мог содержать семью, и поэтому его оставили в покое. Хуже всего было то, что именно этого, как бы Иван ни тосковал, ему и было нужно. Так был устроен свет, и так был задуман Иван Артурович, и это противоречие было устранено самым прямым и честным образом: отъездом и одиночеством. Иван Артурович опускал голову долу и прижимался лицом к теплому боку кота — тот вопросительно мурлыкал, пока сочинитель не приходил в себя и вновь не принимался за дело.

Он то писал давно заказанную работу о Достоевском, то принимался за детективные истории, за которые хоть что-то еще платили, то отбрасывал их в сторону и сочинял о коте Антипе.

По мере того как образ Антипа все ярче проступал на бумаге из-под пера Ивана Артуровича, с котом начала совершаться незаметная и сокровенная метаморфоза. Перемена эта совпала с еще одним — крайне неприятным и для Антипа, и для Ивана — обстоятельством: в квартире начался ремонт. Произошло это так: од-

нажды в дверь постучали два честных грубоватых мужичка, объяснивших, что им заказано женой Ивана Артуровича (еще до ее отъезда) сделать ремонт, работа оплачена вперед, и они хотели бы к ней немедленно приступить. Вялые протесты Ивана Артуровича были отвергнуты, и работа началась. Мебель посхала по квартире, книги были вывалены и свалены, старые обои ободраны, потолок размыт, пол осыпан известью и облит белилами, так что квартира враз была загажена и осквернена, и ее подлинный хозяин и домо-вой Антип почувствовал, что сходит с ума.

Да, Антип стал понимать, сначала медленно, неохотно, что он осознает себя, Ивана Артуровича, загаженный дом, негодяев-ремонтников — весь этот чудовищный беспорядок, в котором надо было как-то существовать. Почти сразу же Антип ощутил сильное негодование и стыд за ту перемену, что в нем произошла. Этот стыд заставил его всеми мыслимыми средствами скрывать то, что с ним творилось, от Ивана Артуровича, и, когда он тер морду лапой, Иван полагал, что он просто моется, а кот тем временем чувствовал, что щеки под шерстью у него горят. Он заболел, он выходил из себя, безумствовал и злился, он прятался посреди развалов и, обхватив голову лапами, ощущал сознание, как боль.

В голове у него — точно рифма к разрушенному дому — складывался такой же чудовищный беспорядок, там жужжало и жалило осиное гнездо, гудел пчелиный улей, били крылами птицы, и надо всем этим маячила то ледяная, то огненная палящая звезда, лучи ее ломались и вонзали острые обломки в мозг, маленький мозг, не выдерживавший напора и грозивший разорвать черепную коробку.

Тогда кот с тяжелым болезненным терпением, напоминавшим тяжкую работу, ждал, когда Иван Артурович заснет, сторожил его сон, выбирался на кухню, где еще было немного места, и принимался — танцевать. Здесь был огонь, сполохи молний, разломы грома, бешеная гроза, растоптанная табуном толпа и он — кот, сошедший с ума.

Танец свистел, как ветер в ушах, кот бил лапами в бубен, тряс его над головой, костер взметался и падал ниц, колокольчики грозили обернуться колоколами, и шерсть подымалась дыбом, на дыбе выворачивали лапы в суставах, он пылал от боли и просил еще ударов кнута, горел крест, дым уносило вдаль, внезапно тучи роняли мягкие крупные капли дождя, мгновенно укрощавшие

буйную пыль, дико и яростно куролесил бурьян, выли волки, и кружили над ними стрекозы, вдруг вспыхивавшие угрюмыми то-скливыми огоньками, с крыльев бабочек осыпалась пыльца, и таял прихотливый узор, тайга разбинтовывала раны, на запах крови, тяжело и яростно, напролом шел тигр, неотвратно рождался, буйствовал томимый жаждою мятеж, и шла война — злая, как мороз, война до последнего патрона, в любовной схватке гибли два существа, и нарождалось третье, мгновенно оборачивавшееся то компьютером, то роботом, то монстром, восстание кипело кипятком и надсаживалось рыданиями, кот всхлипывал и опускался на пол в изнеможении. Его обступала все та же кухня со свалкой, делавшей ее похожей на побоище, где вместо груды тел громоздились книги и рукописи с окровавленными буквами, — кот разбирал письма, и черносморородиновые глаза его горели расплавленным металлом. Наконец он забывался и прижимался мордой к полу, точно мечтал провалиться в небытие, пока не наступал рассвет, холодный и безучастный, не приходили мужички-рабочие, и Иван Артурович не присаживался ютиться на краешке стола, набрасывая сочинение о Достоевском.

Потом все усиливался и рос беспорядок в квартире, все длился и тянулся, пока не окончился, ремонт, потом куда-то вызвали Ивана Артуровича, и вернулся он донельзя грустным, потом они долго сидели в одиночестве, и Иван говорил бессвязно и жалобно и все гладил Антипа, а один раз даже поцеловал в лоб, потом...

А потом Ивана Артуровича забрали. На войну, в тюрьму или еще куда-нибудь — неизвестно, не сказывал, и следы потерялись. Только канул Иван Артурович, пропал.

Как же так, спросите вы, а автор-то, автор-то куда смотрел? Автор — стало быть, я. Извольте, объясню. Дело в том, что я — отнюдь не хозяин судьбы Ивана Артуровича. Судьба эта совершается совсем в других эмпиреях, там же, где и ваша, господин читатель, и наша, господа сочинители. Ивану Артуровичу теперь, может быть, виднее, где и как она задумывается и совершается. Я же, так называемый автор, только тронул, быть может, те тонкие паутинки, что протянуты были к Ивану Артуровичу прямиком из тех эмпирей. Я, конечно же, не хочу сказать, что Иван, которого я успел полюбить, был марионеткой, всего лишь марионеткой (хотя — почему всего лишь? о, эта наша обидчивость). Он был и жонглером, и кеглями, и куколкой, и кукловодом. Например, нелепо любил кота Антипа.

Но кто знает, может быть, так было устроено в тех самых тончайших сочетаниях, переливах, полутонах, которыми замечательно наше существование, и, может быть, любовь, доставшаяся Антипу, вовсе не была бездарно и безрадостно уворована у другого, более достойного существа, а просто была любовью живого, тянувшегося к живому. Многие полагают, что Иван Артурович мог употребить свои силы на что-то более разумное. Не знаю, ведь все-таки он сочинял, знал вдохновение — злые языки, естественно, скажут, что шло оно коту под хвост, но я должен заметить устало, что это просто грубость и напраслина (Ивана Артуровича читали просвещенные люди, и читали, как свидетельствуют воспоминания, до конца). Впрочем, к чему я об этом, зачем? Вероятно, следует только закончить тем, с чего я начал: жизненный путь Ивана Артуровича, оборвавшийся так внезапно, действительно ничем иным оборваться не мог, и закончить его историю, например, тем, как к Ивану вернулась жена, я не могу. Что же касается подробностей, то вам, дорогой читатель, они прекрасно известны, и вы — в отличие от меня — точно знаете: на войне, в тюрьме или еще где пропал Иван Артурович. Сам я предпочитаю оставаться в неведении. Тем более, что и о судьбе кота Антипа я знаю далеко не все.

Антип вглядывался в темноту, и глаза его, устроенные так, что даже маленькая толика света летела в зрачки, как на приманку, пронзали остриями шпаг непроницаемый занавес. Он видел маленький театр, театр для себя: не было зрителей, не было актеров, не было кукловода Ивана Артуровича, и Антип вдруг понял, что отныне он остался один и должен отыграть все роли за всех сам.

В полной темноте, мерцавшей только для него, в слепой — как слабая безветренная нежная метель — тишине, которую он мягко трогал лапами, Антип приблизился к столу Ивана Артуровича, беззвучно вспрыгнул наверх и взял ту рукопись, что Артурыч писал напоследок, ночи напролет. «Сквозь Достоевского» — прочитал он и принялся листать страницу за страницей.

Он читал и переводил — как с иностранного, и перевод был плохо понятен, и стиль не давался, и ускользал смысл. Порою он откладывал рукопись в сторону и ложился на спину, прикрывая морду лапой, а буквы кружились в голове, точно он ехал ребенком на красивой карусели, и головокружение было содержанием написанного. Он понимал только, что жил когда-то какой-то Достоевский и много наворотил, а Ивану пришлось разворошить это

по-своему. Артуруч писал о преступлении, о том, что ему, как правило, предшествует звенящая струною мечта, фантазия, что сосет сердце, как конфетку, своевольная греза, и это было для самого Достоевского сладким, страшным и запретным плодом — туман сгушался в морозный январский полдень, было марево, туман, знойная ледяная мреть, и Петербург грозил исчезновением, фантазм большой фантазии, выдуманная столица — таков был образ творчества этого самого Достоевского, и сам он лучше всех своих героев знал, чем грозит воображение, сон наяву, туман страстей. Искусство стало для него монастырем, где он укрылся со своей мечтой и спасся от нее, единственным прибежищем страстотерпца, монаха иллюзии, миражного послушника. Кот видел улицу, глухую, как стена, он шел и прятал под полою нож. Навстречу шла мышь, крупная тварь. Кот скалился, луна жгла небо холодком, было безлюдно, как во сне. Мышь приближалась, с расстояния клинка он бил ее насквозь, палачествовал, глумился, наслаждался. Он был не кот, а кат — в алой рубахе, новых скрипучих сапогах, с топориком, перед запруженной толпою площадью, где бесновалось простопародье. Развратно усмехаясь в напомаженные усы, он валил жертву на колени и поднимал топор...

«Это и есть мечта?» — спрашивал он.

«Нет, — отвечал Иван Артурович. — Мечта воплощается в творчестве: в статье, в записках — на бумаге. Мечта пронзает тело и мозг и судорогой льет чернила, как черную кровь. В ней есть что-то от любви».

Тогда Антип видел белую кошку, роскошную, изнеженную, с розовыми белками и синими зрачками, с густой и длинной шерстью.

Мгновенно и бешено он обжимал ее, вонзался в мякоть, дрожа и содрогаясь, утоляя пересохшей плотью жажду, хрипя от сладкой боли...

«Это?» — спрашивал он.

«Нет, — повторял Иван. — Греза ищет идей, это разврат не тела, а ума, пронзающего мясо до спинного мозга».

И Антип тянулся к перу, вымарывал бумагу и драл в клочки. Он тряс за дверцу шкафа, за которой был заперт Достоевский, он требовал подлинника, а не копии, он рвал когтями дверцу, но Достоевский был накрепко закрыт, и вместо него сверху свалился только рассказ, написанный Иваном когда-то, в котором Антип

без труда узнал Аргурыча и себя. Уже шатаясь от голода, кот дочитал рассказ и понял, что ни Достоевского, ни Ивана, ни еды ему не видать, как хрупкого бокала, разбившегося вдребезги, после того как все осколки подмели. Эта хрупкость...

ХРУПКИЙ РАССКАЗ

От Боба Кеннеди ушла жена. Кстати, действие происходит у нас, у героя — обычное имя, а Бобом Кеннеди его прозвали друзья, в память об одной песенке. Так вот, у Боба случилась история с женой, которая ему изменила. Потом было много совершенно ненужных слов, жестов, сцен, объяснений, завершившихся тем, что жена ушла и куда-то пропала, канула, хотя Боб ее не гнал, да и не имел права этого делать: квартира-то была жены, она, а не Боб, была ответственным квартиросъемщиком. Но так или иначе — жена ушла, и там, куда она ушла, ей, вероятно, было лучше. Так, по крайней мере, полагал Боб.

Он остался один в двухкомнатной квартире — повезло парню. Вернее, он остался вдвоем: с ним жил кот. У кота были мучительные страдальческие глаза, как у волчка из мультфильма, и Боб так и звал его — Волчок. Он был большой, черный, гладкий, не очень добрый и очень нервный (на сексуальной почве), так как предпочитал сидение дома побродяжничеству и кошек не знал. С котом было много неприятностей: он требовал еду, днем с грехом пополам спал, вечером ловил свой хвост или играл с Бобом, а ночью колобродил, драл обои, гладил лапки о стучавшую при этом дверцу шкафа, рвал обивку дивана — «и так далее», как говорил Хлебников, обрывая чтение своих стихов. Кстати, о Хлебникове: Боб был каким-никаким, а филологом и даже не был чужд изящной словесности, находила на него и «эта дрянь», как называл Пушкин вдохновение. Казалось бы, одиночество могло пойти ему на пользу. Однако душевная ранка плодоносить не хотела, и Боб чувствовал, что на душе у него не то синяк, не то царапина, не то ссадина. Вдаваться и проверять, что у него там, внутри, он не хотел и в этом плане был филологом нетипичным. Необычно (для филолога) было и то, что Боб не поехал рассказывать обо всем происшедшем друзьям, чтобы дойти с ними до самой сути, обнажить психологические пружины поведения жены и выявить его культурологиче-

ские истоки. У филологов, да будет вам известно, это принято. Но Боб манкировал, ушел в себя, лег на дно и часами лежал на диване, изодранном котом, укрывшись с головой одеялом. На работу он не ходил, потому что на одной работе был в творческом отпуске, после завершения которого надо было представить объемистый труд (под это дело Боб получил даже некие деньги, на которые еще некоторое время мог существовать), а на другой работе его нехорошо упрекнули в нежелании трудиться, и он не знал, с какими глазами туда теперь идти.

Совсем близких людей у Боба пожалуй что и не было: родные жили далеко, а с приятелями по причине общей неуравновешенности людей, прочитавших Достоевского в тринадцать лет, да еще, как правило, ночью, он часто ссорился, влюблялся в новых приятелей, дружба с которыми завершалась констатацией полной несовместимости, и, побегав так, как белка в колесе, возвращался в свое одиночество, которое было хорошо уже тем, что не было безысходным. Может быть, все это было даже и к лучшему (ср. «Евгений Онегин», глава четвертая, строфа XXII), думал Боб, вставал с дивана, брал на руки кота и объяснял ему, как он ко всему этому относится и как им теперь предстоит жить дальше. Кот вырывался и просил об одном: чтоб ему дали еды и оставили в покое. Тогда они шли на кухню, ели, играли в веревочку, иногда дрались, кот мстил и нападал сзади, а тем временем наступала ночь.

Ночь была всем хороша, когда бы не вторая комната, о которой Боб, когда не мог заснуть, предпочитал не думать. Он понимал, что все это глупость, плод расстроенного воображения, но ничего не мог с собой поделать: по ночам ему казалось, что он в доме не один. Это напоминало раздвоение сознания, когда человек и знает, что болен, и уже находится внутри болезни, предан ей. Боб прислушивался к шорохам и скрипам и осязал неясное присутствие чего-то, о чем он не мог себе сказать и чему противилось все его существо. Это повторялось из ночи в ночь, крещендо, плавным крещендом, и если поначалу Бобу удавалось гнать ощущение прочь и засыпать, то потом он стал забываться только под утро, совершенно измученный, пока, наконец, не наступила самая хрупкая, самая длинная, жесткая воробьиная ночь, полная томительного свечения луны...

...Когда Боб уже не мог пошевелиться от страха, проснулся Волчок. Кот поднял голову и напряженно вслушивался. Внезапно

он вскочил на лапы, выгнул спину и задрожал. Тишина звенела тонким водопроводным посвистом, водопровод был обыденностью и нервной системой, которая была разорвана и срасталась, как сломанная кость, со страстью и страданием. «Волчок», — пролепетал Боб. Кот, повинувшись некоему магниту, прыгнул с дивана. Прижимаясь к полу, он двигался к двери комнаты. Дверь была полуоткрыта. Кот обернулся, и глаза его блеснули. Сквозь марево Боб читал молитву или стихи — он не отдавал себе отчета, он холодел. Вдруг он увидел того, кого предвосхищал. В полурастворе двери мерцал пришелец, существо, тень. Это был зверь, размером и очертаниями с Волчка, фантом, возникший из омута ночи. Кот замер и сдавленно мяукнул. Прошли секунды, острые, как иголки, и каждая доставала до подноготной. Внезапно Боб рванул одеяло, вылетел из постели, бросился к стене и ударил ладонью по выключателю. Вспыхнул свет.

Боб увидел распахнувшуюся зеркальную дверцу платяного шкафа, стоявшего в прихожей. В зеркале отражался Волчок. Глаза у него были мучительные и страдальческие, шерсть стояла дыбом. Волчок подошел к Бобу и прижался к ноге.

Боб хохотал, крестился и грозил кулаком. Потом он сел на диван и долго сидел, засунув руки под мышки. Все-таки было холодно.

Жена ночевала у подруги. Они пили чай на кухне и говорили о том, какой Боб беспомощный, шалый и, в сущности, никчемный человек. Однако как с ним поступить, они решить так и не смогли: Боба было жалко, и с этим надо было что-то делать.

...Антип провел бессильными когтями по бумаге и завалился набок.

— Иван Артурович, сердечный, где ты, куда запропал, корму бы принес крошечку... Артурыч, деточка, мне кусочек только, вот этот... Ваня...

Кот страшно оскалился, и череп дико проступил на морде, и глаза запали в глазницы — судорога железом сковала тело, вдоль хребта, и боль взяла за горло острыми огненно-ледяными пальцами. Спустя вечность он забился в агонии, как будто в истерике, — рыдающая баба на мгновение померещилась ему, но это он увидел уже извне, со стороны, с высоты полета, дарившего бесстрастное освобождение.

«P. S. Дорогой Валерка! Напоследок не могу не передать тебе замечательного впечатления. Я посетил церковь и, когда стоял в

очереди за свечкой, стал свидетелем неблагоприятной' сцены: ничего не пускали в храм, он был зол, возможно, пьян и, конечно, неприличен. Я было расстроился: и здесь то же самое, свара, скандал. И вдруг понял: да ведь это я сам, я и то, что у меня на душе. Это только всего лишь я. А выходя на улицу, встретил милого Ивана Артуровича, сочинителя. Помнишь? Мы перемолвились, и я рад был узнать, что жизнь его переменялась. К нему наконец-то вернулись жена и сын, семья воссоединилась, и сам он очень изменился, и дела его. Стал он яснее, светлее и тверже, а одно время ведь был совсем плох. Стало быть, так повернулась к лучшему судьба, и человек встал на ноги и пошел. Кстати — чудак он! — вспомнил и kota своего Антипа, с которым собирался век коротать. Антип этот совсем старый, еле ходит, а Иван сказал, что кабы не кот, не дождался бы ему перемены в жизни. Узнаешь Ивана Артуровича? Сочинитель!»

НА НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ БЛИЖЕ К БОГУ...

Витя Ополченцев был актером финала: он выходил на сцену в пятом акте, под занавес, в алом плаще, взбирался по высокой лестнице — и гибкая отравленная сталь, певучая, как струна, легла ему в грудь — соскальзывая с лестницы, ветвьась люшом, крылатый плащ срывался вниз и — все бывало кончено, если лишь Витя не кружился в пятне света еще секунды, мгновенья, миги, промельки...

Нет, никогда он не был актером этой судороги, которой только и жив пятый акт, никогда не пробегала по нему волной кулиса, гася удар рукоплесканий, и вспыхивающая люстра не слепила глаза, ведь он не поднимал лицо к галерке, и галерки не было, и театра не было, как не было еще и самого Вити: он не родился, отсутствовал, не предстоял, лишь целлулоид, который отлично горит, случайно и напрасно, по странному стечению случайностей запечатлел его бывание в мире, где тени ловят в луч кинопроектора и мечут на экран.

Свою первую, главную и единственную роль Витя сыграл в 21. Очко вылетело из колоды, раскололось на тройку, семерку и туза:

костюмчик-тройка, это — в Каннах, где ходят в смокингах, — семь тысяч премиальных и бубновый туз чуть позже, но не ему, а той, кто прикончит его земную околесицу. Пушкин не мог подложить ему под туз черную даму с дергающимся глазом, рукою Пушкина водило вдохновение и написано было, как сказано, а Слово было в начале, и Слово было Бог...

Вероятно, Витя и был только марионеткой на тонких, воспаривших в поднебесье нитях, божьим жонглером, рыцарем шутовства и всяческого непотребства, зажженной рюмкой спирта, виноградной косточкой, горчившей на устах, игроком в игре, которая шла впереди закона, как музыка всегда опережает ноты и скрипичные ключи.

Несчетное количество раз Виктор ложился на траву, беззаботно подложив руку под голову, задремывал, и снова и снова друг с профилем, тонким, как лезвие, безжалостно будил, совал в руки автомат, и Витя сбегал с холма на дорогу под звук приближающегося авто — машина вылетала, Витя расстреливал ее, пули вылетали веером, и все шло прахом: двое наповал, а третий, тоже подстреленный, бежал к часовне, к той Двери, которую не могла открыть девочка с букетом, и здесь Витя с другом доставали его еще раз очередью, так, что пиджак горел под пулями — о чудо! о проклятие существования! — Дверь открывалась и впускала душу навсегда. Витя смывался вместе с другом, и Время было пушено, как трава, в кровь.

Все это напоминало танец, и Виктор был в джинсах и куртке, будто собирался на танцульки, и не было закона в его поступках — все это придет позднее, пока он пел и танцевал. Он ждал любви — неразделенная страсть к Родине толкала его на безрассудства, и он готов был зарыть свое чувство в колени девушке-блондинке, он подсовывал ей измятую железную кружку под струйку водки и пил, как воду, ведь он был убийцей, то есть сумасшедшим, место ему было уже не в круге живых, но в круге первом, где тоска есть счастье, и награда, и избавление от боли. С пугающей легкостью Витя лишал жизни и самоубийствовал, он был так молод, жизнь вроде еще не началась, шла игра, и карта перла, как рыба в нерест, против течения, брюхом по камням. Казалось, это никогда не кончится — и в общем это стало правдой, фильм идет до сих пор, смущая умы и правя чувство, как бритву на ремне нравственности, и Витя убивает снова и снова и самоубийствует без счета — все для того, чтобы мы,

быть может, призадумались над жизнью... но ему-то каково? Он бежит с автоматом и прячет пистолет под ремень на голом животе.

...Искусство должно быть грубым, жестоким и — спонтанным! — говорил Ильин, глотая дым, словно огонь и шпаги. Но как же, что же ты, Ильин, страдание — единственная реальность, и красота спасет, так как граничит со свободой, ведь только чистота и прелесть добра может вызвать любовь, а не дикарский восторг невольника, который вызывает чудо, тайна и авторитет. А вечно беременная Лизавета, маляр Миколка, а суд присяжных, а пожар, на котором Родя спас ребенка... Ильин, Ильин! Но — мимо, мимо об этом! Искусство должно быть грубым, жестоким и спонтанным, и Ополченцев должен быть заложником жестокости, поскольку он беззащитен и импульсивен, а стало быть, и жертва, и мучитель одновременно — и подлая черномазая садомазожистка существования находит шанс вдруг проявиться на экране, мелькнуть секундой, чтобы мы поняли вдруг, что там плывет и мажет краски перед близоруким Витиным взором, что мы там видим в наших снах... Ведь нет преступления, которого я бы не совершил, и время прощать не наступает прежде, чем успеешь это понять. Ильин был дока, он вписался и в контекст, и в интертекстуальность, он видел сон, вставал и делал предварительную запись: вспомнить о Сольвейг! — он знал, кто такая даже Сольвейг, а Витя не имел понятия, он просыпался с Сольвейг, он катался с ней на лыжах... Ильин свой сон напяливал на болван искусства, и шил кафтан, и предлагал Вите носить, а что к кафтану, шитому золотыми галунами, прилагался дурацкий колпак с бубенцами и красные рукавицы палача — ему не было дела, быть может, так ребенку предлагают сигареты и алкоголь, так как яблоко все равно будет съедено, не все ли равно, сейчас или потом и — ананасный компот перед распятием уже мерцает золотистой лужицей... Ильин, Ильин!

Так думал Аргунов, и он был виноват больше Ильина, потому что не было преступления, которого Аргунов не совершил. Именно Аргунов написал историю, которая легла в основу того фильма, он все придумал и вдохновил, Ильин же рассчитал, и накатила на объектив, и вдохнул в целлулоид жизнь.

В сущности, в той истории — так думал Аргунов! — все было правдой, она была случайной и единственной — да, так бывает в юности, когда рассудок спит и чувства ходят ходуном, — она была слепой, безобразной и жестокой, но кто мог знать, что звезды,

вылетая из ракетницы и осыпая небосклон сияньем, проявят на киноплёнке не только объятия убийцы и убитого, не только жертвенник под каблучком девичьей туфельки, не только полонез, в котором Новая Польша выходит в круговерть истории, не только спирт, горящий синими вспархивающими огоньками, но и трупы под покрывалом, слетавшим театральным занавесом, чтоб оборвать историю и распахнуть всего лишь... вечность. И это бы ничего, — так думал Аргунов! — но вот что плохо, ответственность легла на плечи Вити, да нет, даже не ответственность, Витя был безответен, как дитя, невежественный мальчик, актер с лицом близорукого Ангела, воителя любви и мятежа — да, близорукого, ведь взгляд его вечно туманился, как это бывает в минуту физической близости, когда зрачки плавятся и меркнут, опрокидываясь внутрь себя... На плечи Вити легла вина воплощения, греха соития с героем, с образом, даже не вина, а миф вины — что страшнее мифа? какое чудище разевает зев там, в его жерле, где за разгадку Сфинкса надо платить соитием с матерью и убийством отца? — да, Витя смешал кровь и смежил веки, хлебнул горячего, и яд ушел под кожу, и, в сущности, все было кончено, поскольку за все надо платить, и Муза отдалась ему не даром, опрокинувшись в его зрачках, расплавив близорукий взгляд... И вот что подло, — думал Аргунов, — мы его подставили: я и Ильин, пустили на продажу, спрятались за его лицом, писатель и режиссер — потому что нам ли не знать, познавшим и контекст и интертекстуальность, что мифы не играют, в них прорастают — аще зерно падши в землю не умрет, то едино пребудет... — нельзя быть мифом об убийце и самоубийце и остаться целым. О, тут закон и наказание, и главное — прямая плата, до гроша. Ведь сколько их уже было, поэтов и художников, игравших самих себя и — проигравших душу. Актер невежествен и безмятежен, но у Бога шутов много, и в каждой игрушке своя погремушка, неисповедимы пути, но око-лесица оборвется рано или поздно и навсегда. Подлость была и в том, — так думал Аргунов, — что теоретически он знал, прекрасно знал, на пальцах знал, что против всех этих ядов, этих многих тонких, сладких, сложных, многосоставных, смачных ядов есть Противоядие, Противоядие, против которого они не стоили ничего, все эти яды, они распадались, обращались в тлен, в ничто, в фу-фу, чего и стоят все эти выкрутасы дьявола — если Противоядие это было пушено в ход, сам миф становился прост и ясен, как Житие, и Божий шут становился Божьим ратником, и фокус оборачивался

чудом, и подношения превращались в Дары, камни в хлебы, вода в вино, и проститутка становилась святой, и смоковница плодоносила, таким простым и явственным было Противоядие, как поцелуй той девочки с букетом, который она хотела поднести Божьей Матери от всего своего детского сердца, но Дверь была заперта, и взломали они ее — открытую! — автоматной очередью. О проклятие существования, о бедный Витя, о подлость высокоумия и контекста и интертекстуальности... Но Аргунов, — так думал Аргунов, — знал и то, что не след ему было заговаривать с Витей об этом, ибо не тот он был человек, он был ведь доктором, но — наук, то есть никого не лечил, и слава Богу, что Витя не вкусил хоть от его премудрости, ибо он был простодушен, а значит, быть может, прощен... Вот за это Аргунов и молил Бога на высокоумном своем наречии, но от души: ведь Витя не ведал, что творил, его надумили, поманили конфеткой, как ребенка, а потом опоганили и бросили — Аргунов вытирал пот — он все-таки не мог без аллюзий и реминисценций, и все чаще Витя мерещился ему не крепким парнем в джинсах и куртке, а девочкой в заалевшем платъице, и тут ему становилось совсем плохо, ибо он знал, чем кончил гражданин кантона Ури... Впрочем, — так думал Аргунов, — а чего не родится в мозгу, где трихины культуры роятся без царя — ни в голове, ни в сердце.

Ильин был проще. «Мы не можем не играть — то в жалость, то в покаяние, и делаем это хотя и слегка засаленными картами, но испуленно», — читал он в книге из начала века, водил по строчкам толстым пальцем и задумывался, но не как Аргунов, не извивающимися мыслями и не выморочно. Конечно, мы заигрались с Витей, думал он порой, да, заигрались слегка, быть может, Аргунов и прав, но что же делать — ведь на то актер. И кроме — есть вещи, которые сыграть нельзя. Когда играешь поколение, потерянное поколение, нельзя не взять грех на душу, чтоб отыграть — так ловят мяч, так ловят роль, но что же делать? Здесь нет системы Станиславского, здесь кончается искусство и загорается тот неяркий, пурпурово-серый, н-да, заигрались — но что за роль — мальчишка, у которого не родилась еще душа, под стать ребенку во чреве матери, самоубийствует, о Боже — кто это все придумал? Но в этом была соль, и кто-то должен был сыграть, а разыграть было ничего нельзя, можно было только воплощать и, значит, входить в круг тех сил, где дышит магия и звезды встают в свой круг. Но сам Ильин не верил в мистику: он все же был склонен

полагать, что фильм есть фильм, а жизнь есть жизнь, и ничего не надо путать. В судьбе же Вити Ильин был склонен полагать распущенность, увы, в среде актеров безысходную, неразборчивость в связях, тем более извинительную — Ильин уж не был моралистом, — что популярность Вити после выхода фильма была действительно сумасшедшей. Правда, призрак Дориана Грея витал над Витей — с собою Ильин тоже поделаться ничего не мог, ведь он был тоже умником, — но материализовывать сей призрак Ильин склоняться не хотел. Скорее, он жалел, что не перемонтировал пару кусков, что осветители не так поставили свет и чудом все не испортили, что девушка-блондинка оттеняла Витю слишком рельефно — нет, он не мог избавиться от мысли, что шедевр можно было усилить, и этого ему было жаль едва ли не больше, чем самого Витю. Но, словно Заратустра, Ильин повторял: «Братия! Разве я жесток? Разве я жесток? Я хочу лишь, чтобы мужество стало наконец тонким, одухотворенным, мужество с орлиными крыльями и мудростью змен...» Так рассуждал Ильин.

А Витя, что Витя? Витя тем временем ехал на плаху, не в первый раз, зато в последний и — бесповоротно. Он взял билет в той странной кассе, на площади, где трамваи делают кольцо и торчат, кажется, часами, сбиваясь в круг, как потерявшее вожака стадо, в той странной кассе, где вечно нет очереди и всегда есть билеты, хотя в двух шагах шумит Проспект, великий и единственный, где демонстрируют усы и поднимают ножку с округлой матовой икрой, раковинной колена и мягкой млечностью бедра — ах, как любил все это Витя, хоть и не мог живописать, — так вот, хоть в двух шагах ломаются за билетами, как будто разорвало все АЭС, но в этой странной кассе не надо показывать похоронной телеграммы, билетов всегда навалом и — не поверите — там благодарят за то, что вы взяли билет... Кассирша посмотрела на него дико, как на живого покойника — он привык, что на него так смотрят, таково влияние киноэкрана, выписала ему билет в один конец, а он и не просил назад, и тут же забронировала ему место в гостинице, тут Витя схулиганил и, хоть мест в гостинице было полно, взял номер люкс, пускай киностудия платит. Летел он в южный город, столицу тепла и зелени, где уже была весна, а тут мела поземка, кепка, знаменитая Витина кепка, с козырьком, надвинутым на самые глаза, нелепо прикипела к голове, и волосы вились за головой косой. Потом Витя схилял в один полузакрытый ресторан,

непроницаемый, почти валютный, налил там 200, подумал, взял еще 150 и, потеплев душою, стал вспоминать ту ахинею, что предстояло ему куролесить в престольном южном городе. Из всей картины ему нравилось одно лишь место — дело было в банке, без пауков, но все же с паутиной, — где Витя должен был раздеться, сбросить джинсы и куртку, накрыть все это знаменитой своею кепкой — Дверь открывалась и — впускала его: млечность, там был пар, бряканье шаек, голоса, падение воды — Дверь закрывалась, звуки гасли, лишь маленький обмылок выплывал из-за порога и медленно кружился в мыльной пене. Таков финал. Что эта ахинея значит — Витя не знал и не хотел знать никогда.

Аэропорта хрупкое строенье встречало Витю тонким звоном вечернего бокала — да, Витя летел в ночь и ночью прилетал, но таксисты и частники снуют повсюду, Витю не пугало ничто! Стюардесса посмотрела на Витю дико, как на восставшего из могилы вампира, но он только подмигнул ей слегка, и она просияла, и принесла Вите минералки, и сбегала к пилотам посоветоваться, и скоро Витя уже сидел в кабине, слегка податый, в меру веселый, и рассказывал, как он сбегал с автоматом по склону холма и пули шли веером, двое наповал, третий, подстреленный, бежал к часовне, ну и так далее. Пилоты понимающе кивали. Они налили Вите спирта, им было нельзя, и Витя налил вторую рюмку и поджег. Она горела синим вспархивающим огоньком, не теплым светом свечи, а нервным и резким, как бы неоновым сияньем. Витя сказал, что он едет играть последнюю свою кинороль, отныне и бесповоротно он уходит в театр, в храм искусства. Пилоты понимали и принимали, фильмы эфемерны, искусство же театра вечно и нетленно, ибо он есть предстоянье перед Бытием. Часы полета пролетели незаметно, под разговор о театре, где есть кулисы, задник, занавес, галерка, балкон и ложи, и колосники, и люстра, гаснущая так внезапно и так тихо, — а кинематограф есть только срам и больше ничего. Но вот посадка, прощанье, лобызанья, автографы и больше ничего...

Витя летел в такси — на плаху прямиком, шутил с таксистом, думал о скоромном, о эти мне отели, о горничные в шелковых скользких чулках, предательская тихость коридоров, устланных коврами, и бары, где так приятно потом встречать рассвет. Вот он оформил номер, вот взял ключ и крепко сжал в ладони. Вот номер и дипломат, заброшенный на койку. Но предательская тихость коридоров, шуршание ковров уже вошли под кожу, кроме того, что

делать в номере, Витя не знал — ну не читать же, он не Аргунов. Прошла минута, и Витя спустился в бар. Когда-то в детстве вот так же он попал в гостиничный бар, и мишурное великолепие стойки, весь этот блеск и полутьма, и швейцар, величественный в своей капитанской форме с золотом и галунами, пронзили его навек. Что делать, Витя был впечатлителен и юн.

В сущности, тем он и жил — детским восторгом перед бутылками с разноцветными наклейками, перед женщинами, прекрасными и недоступными — для Вити они всегда оставались недоступными, как бы близки они ему ни были. Он каким-то последним кончиком нервов хранил тот детский страх перед женщиной, который, в сущности, только и привлекал его к ней, ибо он не был ни развратником, ни даже эротоманом — нет, он видел в каждой женщине тайну, до которой страшно дотронуться и без которой жить он никогда не мог, жгучую тайну, к которой ребенок тянет руку, чтобы коснуться руки, взять ее в руку и увидеть страшный запретный сон... Да, Витя ждал любимой, если бы можно было просто зарыть ей в колени свою неразделенную страсть к Родине, как прячут лицо в платке к матери — он совсем не ждал от любви результата, он так любил плоть, что совсем не видел ее близоруким своим взглядом, может быть, он хотел побыть так близко только затем, чтобы родиться еще раз — в женской глубине, и начать все сначала, и никогда уж не сбегать с холма, чтобы не видеть потом на экране, как двое наповал, а тот, третий, подстреленный, бежит к часовне... Но между тем все это называлось снять женщину — и Витя, скрепя сердце, понимал, что это так и есть, а то, что сам он чувствовал при этом совсем другое, было его заветное, и объяснить это он не мог никому, даже себе...

Он увидел ее сразу. На него смотрело точно точеное лицо, смотрело не дико, как все или почти все женщины, которые знали Витю как убийцу из того фильма, — но твердо, пристально, с непонятым притягивающим взглядом, под которым Витя невольно поежился. Однако это было потрясающе, это была самая жгучая тайна, которой он когда-либо касался рукой. И он захотел взять ее в свой сон. Он подошел, они закурили, выпили понемногу, еще и еще. Витя любил ее, он не знал, откуда это взялось, он просто боготворил ее, он видел ее всю, вполне, и форма ее стопы, зажатая где-то там в узенькой туфле, была так явственна для него, будто сударушка поставила ножку ему на ладонь. Она ничего не гово-

рила с ним о кино, и это было так прекрасно. Витя не чувствовал себя больше лицедеем, предателем своего лица. Он был самым собой, необразованным простым парнем. Ему не надо было объяснять тонкости актерства и всей этой беготни с холма, он говорил о своем детстве и о том, как худо учился в школе. Он рассказывал ей прочие глупости, одну другой глупее, и с блаженством замечал, как то светлели, то темнели ее непроницаемые глаза. И ее рука уже лежала в его руке. Между тем шли часы, и время летело незаметно, но он вдруг заметил, как она помрачнела, и понял, что соловья баснями не кормят. Тогда он заторопился, стал неловко приглашать ее в номер, она с какой-то злобой и как будто огрызнувшись сразу и резко согласилась. Они пошли тихими, уже подутренними вкрадчивыми коридорами.

Когда он раздел ее, неловко пугаясь в белье, и осторожно привлек к себе, она вдруг попросила его повременить секунду, бесшумно поднялась, достала что-то из сумочки и приказала ему лечь. Витя опешил от звука ее голоса, но послушно лег на спину, увидел теплую тень наготы над собой и тут же ощутил холодное прикосновение металла под левым соском. Разом рванул Гром, и Витя почувствовал, как его сдернуло куда-то рывком, несильно, всего на несколько сантиметров, и огромное лицо Бога вдруг выросло перед его глазами...

Когда Ильин и Аргунов прощались на похоронах, они, не стовариваясь, сказали друг другу, что никогда и нигде такого актера, как Виктор Ополченцев, больше не будет. И мимо об этом...

Классическая музыка из оперетт (Этюд времен перестройки)

Впервые: Новый журнал. 1994. № 1. С. 3–35.

Печатается по тексту «Нового журнала».

С. 17. *...профессор Чалый...* – Имеется в виду доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Ленинградского ун-та Григорий Абрамович Бялый (1905–1987), крупный специалист по литературе XIX века, лекции которого слушал С.Ю. Ясенский.

...Достоевский страдал болезнью ментальности... – Здесь автор, возможно, имел в виду образ мыслей и душевный склад писателя, а также его подсознательную сферу, так называемые ментальные причины болезней. Ср. в статье Иннокентия Анненского «Юмор Лермонтова», вошедшей во «Вторую книгу отражений»: «Достоевский болел, и много болел, и притом не столько мукой, сколько именно проблемой творчества».

...добавить лысого, как Голгофа, Серафимовича... – Серафимович Александр Серафимович (1863–1949) – советский писатель.

С. 18. *«Как хорошо стоят эти облака, совсем не так, как бежали эти неразумные юноши...»* – Перефразировка в ироническом ключе фрагмента из «Войны и мира» Л.Н. Толстого (эпизод ранения Болконского на Аустерлицком поле); ср.: «“Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались... <...> совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу”» (Т. 1, гл. XVI).

Так я познакомился с главным научным сотрудником Института свободы и воли... – Подразумевается Институт

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, сотрудником которого был С.Ю. Ясенский. Одним из прототипов Волина является академик Александр Михайлович Панченко (1937–2002).

С. 19. *«Наша свобода – только из прошлого бьющий свет...»* – Парафраз строк из стих. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай»: «Понял теперь я: наша свобода // Только оттуда бьющий свет».

С. 20. *Они выпускали в свет книгу за книгой...* – Названия книг вымышлены автором.

... *«Федор Достоевский. Оправдание свободы и эксцессы воли»*... – Примечательно, что одна из статей С.Ю. Ясенского имела название «Проблематика свободы воли в новеллистике Брюсова и Андреева» (Русская литература. 1997. № 1. С. 66–77).

...*«Непротivление свободы добру: воля и догмат в творчестве Льва Толстого»*... – Аллюзия на принцип (догмат) Л.Н. Толстого «непротivление злу насилieм», почерпнутый в христианской религии.

«Сверхчеловеческое и фатальное. Лермонтов: уединение в перекрестье прицела»... – Ср. название статьи Д.С. Мережковского «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1908–1909), а также повесть «Фаталист» из «Героя нашего времени» Лермонтова.

«Тайная свобода Пушкина»... – Намек на строки Пушкина из стихотворения «К Н.Я. Плюсковой» («На лире скромной, благородной...»): «Любовь и тайная свобода // Внушили сердцу гимн простой». Эти строки привел Блок в статье «О назначении поэта» (1921); см.: *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л, 1962. Т. 6. С. 166.

«Свобода в чеховском сумраке»... – Ср. название сборника рассказов А.П. Чехова «В сумерках» (1887).

«Любовь, смерть и свобода. Тургенев и французские каблучки...» – Намек на историю любви И.С. Тургенева к французской певице Полине Виардо. Возможна также переключка с метафорическим образом из стихотворения Блока «Унижение» («В черных сучьях дерев обнаженных...», 1911): «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, // В сердце – острый французский каблук» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч.: В 20-ти т. М., 1997. Т. 3. С. 19, 601; коммент. С.Ю. Ясенского).

С. 21. *...сей привал комедиантов...* – Следует отметить, что в Петрограде в 1916–1919 гг. существовало литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов».

...инъекции сульфозина... – Сульфозин (сульфазин) – сильнодействующий препарат на основе серы, применявшийся, среди прочего, как психотропное средство (при лечении различных форм шизофрении).

«Красота, гармония, свобода, воля – и помрачение рассудка у Батюшкова и до наших дней». – Поэт Константин Батюшков страдал наследственной душевной болезнью, манией преследования.

...в психушке Владимирского централа... – Владимирский централ – центральная тюрьма для особо опасных преступников во Владимире; в ней, среди прочих, содержали политических заключенных, в том числе и анархистов.

Всё началось с того, что в шестьдесят восьмом году, под Прагой, ∞ немедленно убраться домой. – Имеются в виду августовские события 1968 г., когда в Чехословакию, где попытались построить «социализм с человеческим лицом», были введены более 300 тыс. военнослужащих и около 7 тыс. танков стран Варшавского договора (кроме Румынии).

С. 23. *...в Институте, что стоит в Татарском переулке неподалеку от пожарной каланчи...* – Татарский переулок проходит в Петроградском районе от Кронверкского проспекта (с 1932 по 1991 пр. М. Горького) до Съезжинской ул. Однако ранее (с. 19) автор указывал, что Дом Анархии располагался в особняке на набережной (отметим, что Институт русской литературы находится на наб. Макарова, д. 4).

...то драного мужика с чудовищной бородой, над которой горели жуткие огненные глаза... – Возможно, подразумевается Григорий Распутин (Новых; 1869–1916).

С. 24. *Вообразите довольно крупного дядю, свирепого и лобастого ∞ пахавшего землю.* – Речь идет о Л.Н. Толстом.

Чуть поодаль какой-то добрый толстяк ∞ и дядю этого за рукав дергают. – Имеются в виду герои романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов и Андрей Болконский.

Или еще – французистый такой господин ∞ да не всех принимает. – Подразумевается А.С. Пушкин.

И тут же в статуарной задумчивости, в сумраке, офицер с пожелтевшим ∞ из глубокого погребца. – Речь идет о М.Ю. Лермонтове и главном персонаже его романа «Герой нашего времени» Печорине.

Здесь же что-то жевал остроносый ∞ крестился и жаловался. – Подразумевается Н.В. Гоголь.

Коляска оказалась неукладистая... – Намек на повесть Н.В. Гоголя «Коляска» (1835).

...или щенки – беспородные... – Намек на эпизод из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: «Аммос Федорович. <...> Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками» (действие первое, явл. I).

Был в Институте еще очень воспитанный симпатичный гость, ∞ А пока надо работать». – Имеется в виду А.П. Чехов. Ср. в финале пьесы Чехова «Дядя Ваня» (монолог Сони): «...будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя <...> мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем». Ср. также в пьесе «Три сестры» в монологе Вершинина: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной» (действие первое).

С. 25. ...лекарский комитет. (ср. также ниже на с. 27: ...анархисты никогда не мирились с решениями врачей...) – Вероятно, имеются в виду «лекаря-социалисты» Достоевского. Ср. в «Дневнике писателя» (1877) по поводу романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: «...зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты. <...> ни в каком устройстве общества не избегнете зла».

И среди них, немислимых, была одна, несравненная. – Можно предположить, что подразумевается Маргарита, героиня романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

С. 29. ...человек – это не фортепьянная клавиша. – Восходит к повести Достоевского «Записки из подполья» (1863–1864); ср.: «...что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале?» (гл. VII); «Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе под-

твердить <...> что люди всё еще люди, а не фортепьянные клавиши...» (гл. VIII).

...какое-то дикое стремление к карнавалу... <...> длинно и утомительно пишет о ложно понятом диалоге... – Видимо, подразумеваются книги М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965), «Проблемы творчества Достоевского» (1929), «Проблемы поэтики Достоевского» (1963).

С. 30. *...встал сутулый несветский человек. ∞ Человек этот на глазах преобразился и стал похож на пророка. – Имеется в виду Ф.М. Достоевский.*

С. 32. *«В одном черном-черном городе ∞ черный-черный человек...» – Один из вариантов так называемой «детской страшилки».*

Так я стоял на Фуриятской, у кирхи, где нынче смотрят старые боевики... – Имеется в виду церковь святой Анны на Кирочной улице, д. 8; ранее в ней находился кинотеатр «Спартак».

...фотография молодого Алена Делона... – Ален Делон (род. 1935) – французский актер и режиссер.

... Лукино Висконти... – Лукино Висконти ди Модроне (1906–1976) – итальянский режиссер кино и оперного театра.

С. 34. *...помчимся на «Виллу Родэ»... – «Вилла Родэ» – ресторан на углу Новодеревенской наб. (ныне – Приморский пр.) и Строгановской ул. (ныне – ул. Академика Крылова); был открыт в 1908 г. в павильоне «Кристалл».*

...юноша с античным локоном ∞ «И этот влюблен». – Имеются в виду А. Блок и его стихотворение «В ресторане» («Никогда не забуду (он был или не был)...»), 1910); см.: Блок А.А. Полн. собр. соч. в 20-ти т. Т. 3. С. 596–597; коммент. С.Ю. Ясенского.

С. 36. *«Сётнли, мэдэм, сётнли»... – «Непременно, сударыня, непременно» (англ.).*

С. 37. *...Ван-Дейка... – Ван Дейк (1599–1641) – фламандский живописец и график.*

...Рубенса... – Рубенс Питер Пауль (1577–1640) – фламандский живописец.

...это тоска, великая передрассветная тоска... – Одно из ранних стихотворений А. Блока «Каждый вечер, лишь

только погаснет заря...» (1899) в некоторых источниках имело название «*Dolor ingens ante Lucem*» («Великая предрассветная тоска» – лат.); см.: Блок А.А. Полн. собр. соч.: В 20-ти т. Т. 1. С. 27, 210 (коммент. В.Н. Быстрова).

...когда оттуда ринутся лучи... – Цитата из стихотворения А. Блока «Всё на земле умрет – и мать, и младость...» (1909):

И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда *оттуда* ринутся лучи.

С. 39. ...*pardonné* муа... – *Pardonnez moi* (франц.) – извините меня.

...точно он ночевал с Мармеладовым на барках. – Ср. в романе Достоевского «Преступление и наказание»: «...изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?»

– Нет, не случилось, – отвечал Раскольников. – Это что такое?

– Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с...» (Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти т. Л., 1989. Т. 5. С. 15).

С. 45. ...*храм на Пантелеймоновской*... – Имеется в виду Пантелеймоновская церковь на ул. Пестеля (бывшая Пантелеймоновская ул.).

...нашел клумбу с землей, встал на нее на колени и трижды приложился. – Трижды целовал землю на Сенной площади герой романа Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников.

С. 46. ...*доктор Гааз*... – Гааз Федор Петрович (1780–1853) – русский доктор немецкого происхождения, филантроп, главный врач московских тюрем, известен как «святой доктор».

...*нестесненный в журнальных замыслах*. – Реми-нисценция из стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти» (1836): «И мало горя мне, свободно ли печать // Морочит олухов, иль чуткая цензура // В журнальных замыслах стесняет балагура».

С. 50. – *Вы «Лолиту» читали?* – Имеется в виду роман Владимира Набокова, повествующий о связи немолодого мужчины с девочкой 12–14 лет.

С. 53. ...Пушкин смолоду был молод и вовремя созрел... – Перифраз пушкинских строк из «Евгения Онегина»: «Блажен, кто смолоду был молод, // Блажен, кто вовремя созрел...».

...живущих по закону: «Я так хочу». – А. Блок в статье «О лирике» (1907), в частности, писал: «Так я хочу. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, – он перестанет быть лириком. Этот лозунг – его проклятие – непорочное и светлое» (Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. 1962. Т. 5. С. 133; курсив Блока).

С. 54. Упавший в пролет лестницы страдал душевной болезнью... – Подразумевается писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888). В момент обострения душевной болезни он покончил с собой, бросившись в пролет лестницы.

С. 56. ...заглянул в Древлехранилище и в XVIII век... – В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) существуют Древлехранилище им. В.И. Малышева (заведующий – В.П. Бударгин), где собраны древнерусские рукописи и старопечатные книги, и Сектор по изучению русской литературы XVIII века.

С. 61. ...окопные солдаты, вздувшиеся трупы... – Вероятно, подразумеваются рассказы о войне В.М. Гаршина «Четыре дня» (1877) и «Трус» (1879).

...растрепанный романчик «Белый вождь». – Имеется в виду приключенческий роман английского писателя Майн Рида (1818–1883) «Белый вождь» (1855, рус. пер. 1867).

Он наносил визит генерал-губернатору и силился внушить: помилование выгодно властям... – Речь идет о В.М. Гаршине, который в 1880 году после покушения И.О. Млодецкого обратился к М.Т. Лорис-Меликову с просьбой помиловать преступника.

С. 62. ...Тем временем проституированные женщины известного процента неприхотливо отправляли общественную надобность. – Возможно, подразумевается, в частности, рассказ В.М. Гаршина «Происшествие» (1878), героиня которого была проституткой.

Что толку протестовать – ведь тут процент и биология?.. – Отзвук размышлений Родиона Раскольников в романе «Преступление и наказание»: «Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные.

Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1973. Т. 6. С. 43).

...возникнул студент в разодранной рубашке. – Подразумевается Раскольников.

С. 63. ...старые книги *ин кварто и фоллио*... – От лат. *in quarto* и *in folio*. Формат изданий, в которых размер страницы равен $\frac{1}{4}$ бумажного листа и $\frac{1}{2}$ листа.

...*Лор Дешанель*... – Возможно, имеется в виду американская актриса Мэри Джо Дешанель (род. 1945).

...*Доминик Санда*... – Французская актриса (род. 1948).

Роман, написанный от руки

Впервые: Новый журнал. 1995. № 2. С. 3–65.

Печатается по тексту «Нового журнала».

Написано предположительно в начале 1990-х годов.

С. 65. ...*существо – загадочный <...> Андрогин* – возникало над городом... – Андрогин – То же, что гермафродит, существо, сочетающее в себе женское и мужское начала.

С. 66. *Место под солнцем!* – Так называется сборник рассказов прозаика Владимира Маканина (М., 1984).

Либерте, фратерните, эгалите... – Свобода, братство, равенство – лозунги Великой Французской революции.

С. 67. *Константин Висконти* происходил из старинного итальянского княжеского рода ∞ и оставили славный след в русской истории и культуре. – *Visconte* означает вице-граф. Представители рода Висконти в Италии полтора века были правителями Милана. Один из них, Висконти Джан-Галеаццо (1347–1402), был герцогом Милана и области Ломбардия, стремился соединить Северную и Среднюю Италию. Из потомков рода, оказавшихся в России, известен Джулио Ренато Литта-Висконти-Арезе (Юлий Помпеевич Литта) (1763–1839); он был военным на морской службе. Н. Лесков упоминал некую графиню Висконти в рассказе «О кувельном мужике».

...*полюбить жизнь прежде ее смысла*... – Восходит к диалогу Ивана и Алеши Карамазовых в романе Достоевского «Братья Карамазовы»:

«— Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму» (Книга пятая. III. Братья знакомятся; *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 15 т. Л., 1991. Т. 9. С. 259).

...на премьере «Короля Лира»... — Имеется в виду трагедия В. Шекспира (1605).

С. 69. *Кристофера Марло мучил холод.* — *Кристофер Марло* (1564–1593) — английский поэт и драматург; ровесник Шекспира. Учился в Кембридже.

С. 70. *Звезды звали Энтони, он был черен, дик, плох и упрям.* — По поверьям времен Шекспира и Марло, под обликом черных котов скрывались бесы.

...назвал черного кота христианским именем. — Имеется в виду, вероятно, имя святого Антония.

С. 71. ...*священник не терял надежды вернуть его на путь истинный, тернистый и тесный.* — Ср. в Евангелии о пути праведной жизни, ведущей в Царствие Божие: «Входите тесными вратами... <...> Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят его» (Мф. 7, 13–14).

С. 75. ...*отправился на Львиный мостик снимать комнату...* — *Львиный мостик* — В Петербурге подвесной пешеходный мост через канал Грибоедова, куда традиционно приходили те, кто хотел сдать или снять жилье.

С. 77. ...*служил Маммоне и Ваалу...* — *Маммона* — арамейское слово, означающее земные блага, богатства, деньги. Христос пользуется этим словом в Своей Нагорной проповеди, говоря о невозможности одновременного служения Богу и маммоне. *Ваал* — языческое божество, господин, владыка, властелин. Поклонение Ваалу было главным грехом древних евреев.

С. 78. ...*старинные латинские инкунабулы.* — *Инкунабула* (от лат. *incunabula* — колыбель, начало) — раритетные книги, изданные в Европе с начала книгопечатания (середина XV в.) до XVI в.

...*Бедлам и Вифлеем* — *Бедлам* — дом для умалишенных в Лондоне. *Вифлеем* — город в Палестине, на Западном бере-

гу реки Иордан; над Вифлеемом, по религиозному преданию, возшла звезда, когда родился Христос.

С. 79. – *Если же у кого из вас недостает мудрости... ∞ - Да хвалится брат униженный высотой своею.* – См. в Священном Писании: Иак. 1, 5–9.

С. 80. – *Ибо, кто слушает слово и не исполняет... ∞ у того пустое благочестие.* – Там же: Иак. 1, 23–26.

– *Ты веруешь, что Бог един... ∞ вера без дел мертва?* – Там же: Иак. 2, 19–20.

– *Откуда у вас вражды и распри? ∞ до ревности любит дух, живущий в нас.* – Там же: Иак. 4, 1–3, 5.

– *Болен ли кто из вас ∞ и покроем множество грехов.* – Там же: Иак. 5, 14–16, 19–20.

С. 81. – *Скажите, – кинулся он к ним. – Я действительно продал душу дьяволу?* – Возможно, имеется в виду доктор Фауст. См. ниже коммент. на с. 91.

С. 83 *...пока его мысли в этом направлении не столкнулись с разбега с мыслью одного из любимых его философов начала века о том, что религиозного искусства нет и быть не может.* – Ср. в книге Н.А. Бердяева «Смысл творчества»: «Художественное творчество не может быть и не должно быть специфически и намеренно религиозным» (Бердяев Н.А. Собр. соч.: Т. 2. Смысл творчества. Paris, 1985. С. 284).

...что скажет толпа, а что – Сальери... – Сальери Антонио (1750–1825) – итальянский композитор и дирижер. Имя его стало нарицательным в связи с легендой о том, что он якобы из чувства зависти отравил Моцарта, обладавшего, в отличие от него, божественным даром творца гармоничного искусства. Этой репутации композитора способствовала, в частности, «маленькая трагедия» Пушкина «Моцарт и Сальери» (1831).

С. 85 *...поэзия должна быть глуповата... – Из письма Пушкина к П. Вяземскому (1824): «А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».*

С. 85 *...люди похожи на дикобразов на морозе... – Афоризм немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788–1860).*

С. 86 *...то, что уму представляется позором, для сердца сплошь красота и наслаждение.* – Несколько измененная цитата из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (Кн. 3, гл. III).

С. 87 *Жизнь это трагедия...* – Ср. афоризм французского писателя Лабрюйера (1645–1696): «Жизнь – трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит». Ср. также высказывание американского писателя Э. Хемингуэя (1899–1961): «Жизнь – это трагедия, исход которой предreshен».

Спектакль назывался «Сомнамбула»... – *Сомнамбулизм* – бессознательное хождение во сне, лунатизм. *Сомнамбула* – тот, кто страдает лунатизмом, обладает способностью впасть в гипнотическое состояние. Существует опера в двух актах итальянского композитора Винченцо Беллини «Сомнамбула» (либретто Феличе Романи), а также одноактный балет Витторио Рieti на музыку В. Беллини; сюжет их, однако, иной.

...не меч Тристана... – *Тристан* – персонаж французского рыцарского романа XII века. Этот средневековый сюжет немецкий композитор Рихард Вагнер (1813–1883) использовал в своей музыкальной драме «Тристан и Изольда» (1859).

С. 89 *...сие энигма.* – *Энигма* – загадка, тайна, нечто непонятное.

С. 89 *...Семен Бабаевский. Кавалер золотой звезды.* – *Бабаевский Семен Петрович* (1909–2000) – советский писатель. В романе «Кавалер Золотой Звезды» (1947–1948) с энтузиазмом, в традициях социалистического реализма изображено восстановление разрушенного войной колхоза.

С. 91 *...доктор Фауст...* – *Доктор Фауст* – герой немецкой средневековой легенды, который заключил договор с дьяволом, чтобы обрести сверхзнание и могущество. Одним из возможных прообразов был некий чернокнижник Иоганн Фауст, занимавшийся алхимией и астрологией. Кристофер Марло сочинил пьесу «Трагическая история доктора Фауста» (1592).

...Тамерлан... – *Тамерлан* (Тимур) (1336–1405) – полководец, один из мировых завоевателей. Кристоферу Марло принадлежит пьеса в десяти актах «Тамерлан Великий» (1587–1588).

...Гамлет... – *Гамлет* – сын Шекспира (1585–1596). Возможно, имеется в виду и герой трагедии Шекспира «Гамлет».

Мертвый пастух? Это стоит запомнить. – В комедии Шекспира «Как вам это понравится» (1599) пастушка Феба говорит: «Мертвый пастух, теперь я понимаю мощное твое изре-

чение – тот, кто любил, всегда любил с первого взгляда». «Мертвым пастухом» Шекспир называл Кристофера Марло.

С. 92. *Никогда не разговаривайте с неизвестными* – Так называется первая глава романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

«*Страх высоты*» – Пьеса с таким заглавием нам неизвестна. Известны фильмы с таким названием режиссеров Александра Сурина (1975) и Мела Брукса (1977).

С. 94. *...нет ни Новой Земли, ни Нового Неба...* – Ср. во втором послании апостола Петра: «...мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (3, 13). Ср. также в Откровении Иоанна Богослова: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» (21, 1).

...Мистерии мы еще не заслужили. – *Мистерия* (от греч. *mysterion* – «тайнство») – В античности особые тайные ритуальные действия для посвященных, которым гарантировалось нравственное и духовное возрождение и блаженство в загробной жизни. В Европе 14–16 вв. – жанр религиозного театра; содержание его составляли сюжеты Ветхого и Нового Завета. В контексте «Романа...» речь идет, вероятно, о мистерии Преображения мира, о которой мечтали, к примеру, русские художники-символисты конца XIX – нач. XX вв.

С. 94. *...и наступит Страшный Суд.* – *Страшный Суд* – Согласно христианским верованиям, Судный день, когда все предстанут перед судом Бога и будут выявлены праведники и грешники, которым воздастся по их делам и словам.

...этот петух, который не пропел, пока Петр трижды не предал Христа. – Евангельский сюжет, повествующий о том, как ученик Христа Петр трижды отрекся от него (Мф. 26, 69–75).

С. 99. *Голый человек на голой земле – вот во что надо верить...* – Восходит к высказыванию римского писателя Плиния Старшего (23 или 24–79): «Природа швырнула голого человека на голую землю – виноватого лишь в том, что он родился на свет». Это, в сущности, – мысль об исконном экзистенциальном равенстве людей на земле. Король Лир в одноименной трагедии Шекспира ощущает себя «бедным голым двуногим» существом, когда оказывается в буре в степи (действие III, сц. 4).

С. 101. *«Недавно закупили ткани – рубиновой, пурпурной, алой, бычьей крови, гвоздичной, винной, цвета палача и далее...»* – Короли и королевы Англии, образы которых нередко возникают в трагедиях Шекспира, в одежде предпочитали разные оттенки красного цвета. Так, Эдуард VI любил «цвет крови», Мария Тюдор – «рубиновый», Елизавета I – «цвет гвоздики» и т.д. Рубиновый, пурпурный, «гвоздичный», «винный» считались цветами власти. Огненный «цвет Кэтрин Пир» в просторечии назывался «честная шляха».

С. 102. *...в Оде к Радости.* – Имеется в виду ода немецкого поэта Фридриха Шиллера «К радости» (1785), положенная на музыку Бетховеном (вошла в состав 9-й симфонии).

С. 107. *Испепеленный юноша с застывшим ликом и античным локоном, сказавший как-то, что Русь – жена его...* – Речь идет о поэте Александре Блоке, который писал в стихотворении «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (1908) из цикла «На поле Куликовом»: «О, Русь моя! Жена моя!».

Голубоглазый друг с высоким лбом и детским ртом ∞ жестикулировал и танцевал неподалеку. – Имеется в виду поэт Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934), отличавшийся способностью произносить длинные монологически-экспромты, а также экзальтированным, экспрессивным поведением.

Крючник и грузчик в рубахе... – Подразумевается писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков; 1868–1936). В молодости он был грузчиком, разнорабочим, батраком и т.д.

...орловского оперного брютета ∞ попытки самоубийства руке. – Имеется в виду друг Горького писатель Леонид Николаевич Андреев (1871–1919), родившийся в Орле. Л.Н. Андреев неоднократно покушался на самоубийство.

Георгиевский кавалер под руку с дамой, рюмочно тонкой в талии... – Подразумеваются поэт Николай Степанович Гумилев (1886–1921), удостоенный в годы первой мировой войны двух Георгиевских крестов, и его жена поэтесса Анна Андреевна Ахматова (1889–1966).

С. 110. *Все люди равны* – Одна из заповедей Христа.

С. 114. *...хорошо было известно, какое значение придавал Блок этим четырём точкам.* – Готовя в 1921 году сборник «От-

роческие стихи», Блок, в частности, отметил: «В многоточии важны *четыре* точки, а не обычные три» (Лит. наследство. Т. 27–28. С. 572; курсив Блока). Об этом же он писал Н.А. Нолле-Коган: «Если Вы сама продержите корректуру, соблюдая в многоточиях *четыре* точки вместо обычных трех и Т большое и малое, буду очень Вам благодарен» (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 350; курсив Блока).

С. 119. *«Воистину, кого Бог захочет наказать, того лишает разума»*... – Латинский вариант изречения неизвестного древнегреческого драматурга: «Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума».

...представлялось ему Франкенштейном, гомункулусом, выращенным в гигантской колбе... – Чудовище Франкенштейна – один из персонажей романа Мэри Шелли (1797–1851) «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818), уродливое существо, созданное из неживой материи. *Гомункулус* – В представлении средневековых алхимиков, человекоподобное существо, которое можно взрастить искусственным способом.

...как появился в этом мире – не знаемый и не ведомый никем... – Реминисценция из Пролога драмы Леонида Андреева «Жизнь Человека»; ср. реплику, которую произносит о Человеке Некто в сером: «Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека <...> Доселе не бывший <...> не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем...»

С. 124. *...Вестминстер, Тауэр...* – *Вестминстер (Уэстминстер)* – административный округ и исторический район Лондона; *Тауэр* – крепость на берегу реки Темза, исторический центр Лондона, резиденция королей.

С. 127. *«Я пришел дать вам волю»* – Название исторического киноромана Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) о Степане Разине (1971).

«Ай эм э стрейндж рашен дримэр» – В переводе на русский язык: «Я странный русский мечтатель».

С. 130. *Убийство Полония – Полоний* – персонаж трагедии Шекспира «Гамлет»; приближенный короля Клавдия, отец Офелии. Гамлет заколол Полония, думая, что убивает короля.

С. 131. *И тело, девичье тело – только заклад ∞ обиженные смешны и жалки.* – Наставления циничного Полония своей дочери Офелии.

И молодой одутловатый человек, борясь с одышкой, хватался за шпагу с криком: «Крыса? – пронзал и радовался: – Мертва!» – Сцена убийства Гамлетом Полония (акт III, сц. 4).

Цветок благоухал безумием. – Имеется в виду сумасшествие Офелии после того, как она узнала о смерти отца от руки Гамлета.

С. 136. *Старый отец Джон – Отец Джон – Отец Вильяма Шекспира Джон Шекспир, ремесленник и ростовщик; избирался мэром городка Стратфорд-на-Эйвоне, в котором родился драматург. Умер в 1601 году.*

С. 137. *Клюквенный сок оборачивался кровью...* – Реминисценция из пьесы А. Блока «Балаганчик» (1906); ср. возглас Паяца: «Помогите! Истекаю клюквенным соком!» (*Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 19*).

С. 138. *Театр для себя <...> ...то, что сейчас называют сеансом театральной психотерапии.* – Определение и сама концепция, воплощенная в сюжете и образах «Романа, написанного от руки», почерпнуты из статьи русского режиссера и теоретика театра Николая Николаевича Евреинова (1879–1953) «Театротерапия», опубликованной в журнале «Жизнь искусства» в 1920 году. По мнению Н.Н. Евреинова, актерство, лицедейство может обладать терапевтическим эффектом путем самовыражения и самовнушения человека.

... маленький театр, театр для себя ∞ раскрепощение душ. – Возможно, подразумевается крепостной (домашний) театр в особняке князя Н.Б. Юсупова (бывший дворец графа А.П. Шувалова) на наб. Мойки (д. 94) в Петербурге.

С. 139. *...покой и волю и – счастье, господа.* – Перефразировка пушкинской строки: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» («Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 1834).

...гурии слетятся на ваш зов... – *Гурии* – В Коране – красавицы с черными глазами, которые улаживают праведников и правоверных в Раю, .

С. 141. *...повинуясь неясному капризу, прихоти... <...> Человеческая природа прежде всего капризна. Прихоть – своего рода психологический закон...* – Возможный отзвук размышлений героя повести Достоевского «Записки из подполья» (1864): «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная

иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода... <...> Человеку надо – одного только *самостоятельного* хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела» (*Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти т. Л., 1989. Т. 4. С. 469–470; курсив Достоевского*).

С. 145. ...у тебя была какая-то странная теория о том, что, чтобы создать произведение искусства, необходимо *перейти через черту*. – О том, что при создании произведения искусства нужно «перейти через черту», в «Романе...» рассуждали не только Лебяжьев, сочинивший цикл новелл о Шекспире и Кристофере Марло, но и Костя Висконти и Иван Ильин.

С. 146. *Забава наша кончена. Актеры, ∞ Сон окружает...* – Из монолога Просперо в пьесе Шекспира «Буря» (1610–1611) (акт IV, сц. 1; пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник).

Репетиция

Из журнала Энтони Тапмэна

Впервые: Глава «Иван Ильин»: *Ясенский С.Ю., Носов С.Н.* Кресты: Рассказы, стихи. Л., 1991. С. 7–19; глава «Репетиция»: Там же. С. 20–26; глава «На несколько сантиметров ближе к Богу»: Там же. С. 27–34. Полный текст: *Новый журнал*. 1996. № 4. С. 57–115. С предисловием С. Носова.

Печатается по тексту «Нового журнала».

Написано предположительно в начале 1990-х гг.

С. 148. *Энтони Тапмэн* – Некий джентльмен Энтони был упомянут в завещании Шекспира. Примечательно, что именем Энтони звали кота Кристофера Марло в «Романе, написанном от руки».

...*Иван Архипович Лебяжьев...* – В «Романе, написанном от руки» Лебяжьев именовался Александром Сергеевичем.

...*Волшебный Фонарь...* – Магический фонарь, фантаскоп, проекционный аппарат, состоящий из деревянного или металлического корпуса с отверстием и/или объективом. Является значимым этапом в истории развития кинематографа.

...*Магическое Зеркало*... – Использовалось магами, верившими, что с помощью зеркала (или зеркал) можно проникнуть в иное измерение, другой мир, угадать будущее.

С. 150. ...*одни коллеги сочли их интеллигибельными*... – Т.е. постигаемыми лишь разумом.

...*профессор Гварнери*... – *Гварнери* – семья известных итальянских мастеров смычковых инструментов. Типологически можно, вероятно, сопоставить с именем композитора Берлиоза, которое носил герой романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Видение на Неве – Так в литературе о Достоевском условно называется видение героя в финале его повести «Слабое сердце» (1847). См. об этом в статье С.Ю. Ясенского «Проблема фантазии в творчестве Ф.М. Достоевского» (Т. 2 наст. изд.).

С. 151. ...*фата-моргана сама и выткала*... – *Фата-моргана* – призрачное видение, мираж.

Ты хочешь переиродить Ирода... – *Ирод I Великий* – иудейский царь, отличавшийся необычайной жестокостью. «Переиродить Ирода» – значит сделать нечто сверх всякой меры. Ср. в трагедии Шекспира «Гамлет» реплику принца, предостерегавшего актеров от чрезмерной экспрессивности на сцене: «...они готовы Ирода переиродить» (Акт III, сц. 2).

С. 154. ...*мир, что лежит во зле*... – Ср. в 1-м послании апостола Иоанна: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (5, 19). А. Блок, задумывая поэму «Возмездие», записал в дневнике 3 декабря 1911 года: «Мир во зле лежит. Всем, что в мире, играет судьба, случай; всё, что встало выше мира, достойно управления Богом» (*Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 99*).

...*пауза, каданс*. – *Каданс* – остановка, в музыке – мера звука.

С. 156. ...*птицы радости и печали били крылами*. – Одно из ранних стихотворений А. Блока называется «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали» («Густых кудрей откинув волны...», 1899). *Сирин* – В средневековой мифологии райская птица-дева, птица радости; образ восходит к древнегреческим сиренам. *Алконост* – В византийских и русских средневековых легендах райская птица печали. См.: *Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В*

20-ти т. М.; СПб, 1999. Т. 4. С. 72, 454–455 (коммент. С.Ю. Ясенского).

...кликала Дева-Обида злые небесные клики. – Дева-Обида – Образ из «Слова о полку Игореве», олицетворяющий беды русской земли. Этот же образ возникает в стихотворении Вл. Соловьева «Две сестры» («Плещет Обида крылами...», 1899). Заглавие «Дева-Обида» имело в первой публикации стихотворение А. Блока «Вот она – в налетевшей волне...» (1902).

С. 156. *...отец казнил сына...* – Подразумевается Петр I, участвовавший в пытках сына Алексея Петровича, согласившийся со смертным приговором ему за якобы измену.

...он восходил на все вершины... – Почти дословно процитирована начальная строка стихотворения А. Блока «Я восходил на все вершины...» (1904).

...возвращался на распутья. – Третий раздел первого тома «лирической трилогии» А. Блока называется «Распустья (1902–1904)». Ср. в стих. «Я был весь в пестрых лоскутьях...» (1903): «Хохотал и кривлялся на распустьях, // И рассказывал шуточные сказки».

...в огромное студенческое общежитие на набережной. – Имеется в виду общежитие Ленинградского государственного ун-та на Мытнинской наб., 5/2.

С. 158. *...Нолин, Волин...* – Под фамилией Волин фигурирует и другой персонаж – сотрудник Института свободы и воли в повести «Классическая музыка из оперетт».

«Бывают странные сближения», заметил однажды Пушкин. <...> 14 декабря, день в день, Пушкин закончил своего «Графа Нулина» <...> Тем временем рванул динамит, и на поверхность всплыли приятели Пушкина. ∞ Смеялся Лидин, смеялся заразительно. – Осенью 1830 года в Болдине Пушкин записал, вспоминая историю создания в Михайловском повести в стихах «Граф Нулин»: «В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая “Лукрецию”, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. <...> Мысль пародировать

историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения...». 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов, вышедших на Сенатскую площадь. Пушкин упоминает поэму В. Шекспира «Лукреция» (1594), в которой повествуется о том, как сын римского царя Тарквиний, угрожая оружием, изнасиловал Лукрецию, а она закололась на глазах у своего мужа.

...гнал скиталец в Михайловском... – С августа 1824 года Пушкин, уволенный со службы, находился в ссылке в псковском имении Михайловское.

С. 159. *...патрицианского толка...* – Зд. в смысле принадлежности к привилегированной части общества.

Потом включили классическую музыку из оперетт. – «Классическая музыка из оперетт» – название «Этюда времен перестройки» (см. с. 17 наст. изд.). В музыкальных программах советского радио было две рубрики: «Классическая музыка» и «Музыка из оперетт». С.Ю. Ясенский их объединил.

С. 160. *«Я манты сварганила»...* – Манты – блюдо, состоящее из мелко нарезанного мяса в тонко раскатанном тесте и приготовленное на пару.

Сам-друг (устар.) – Вдвоем с кем-либо.

...конструктор кораблей Ренатов... – Ср. героя с той же фамилией в «Романе, написанном от руки».

...шампанское блазнилось замерзшей рыбой... – Блазниться – чудиться, мерещиться, казаться.

С. 161. *...Он церемонно представился: Разецкий...* – В «Романе, написанном от руки...» герой-проходимец с такой же фамилией – приятель Ренатова.

Истина должна быть простой, ходячей. – Реми-нисценция из стихотворения А. Блока «Балаган» («Над черной слякотью дороги...», 1906); ср.: «Чтобы от истины ходячей // Всем было больно и светло».

С. 163. *...и петергофском десанте.* – Оперативный десант Балтийского флота в составе пяти рот по приказу Г.К. Жукова высадился в ходе Стрельнинско-Петергофской операции 5 октября 1941 года, чтобы выбить немцев из Петергофа. К 7 октября весь десант погиб.

Секретом Полишинеля называл он мечту... – Секрет Полишинеля – секрет, который всем известен. Полишинель – персонаж итальянского и французского народного театра масок, шут и болтун.

С. 166. *Поезд наваливался всей раскаленной тяжелой тьмой, ∞ выписывая замысловатые вензеля.* – Эпизод гибели бросившейся под поезд Анны Карениной в финале седьмой части одноименного романа Л.Н. Толстого.

С. 166. *Огромный деревянный конь приближался к нему во всей своей нелепой красе. Из брюха коня ползла длинная шеренга.* – Имеется в виду «Троянский конь» – в древнегреческой мифологии гигантский деревянный конь, внутри которого спрятались греческие воины при осаде Трои во время Троянской войны между данайцами и троянцами.

С. 169. *Однажды мы решили ставить «Макбета».* – Речь идет о трагедии В. Шекспира, созданной в 1606 году. Исторический прототип героя – король Шотландии, правивший с 1040 по 1057 гг.

...и капля беды бежит по его венам, острая, как иголка. Капля трепещет, вытягивает жало... – Возможная аллюзия на слова Гекаты из трагедии Шекспира «Макбет»; ср.: «Висит на острие луны // Густая капля. Каплю ту // Схватить мне надо на лету» (Акт III, сц. 5; пер. М. Лозинского).

...на нас во весь опор мчится медный царь... – Имеется в виду Медный всадник, памятник Петру I на Сенатской площади.

...впадали в руки Неведомого Бога... – Ср. раннее стих. А. Блока «Неведомому Богу» («Не ты ли душу оживишь...», 1899).

...пока светильник разума, отринутый, неотвратимо угасал. – Перифраз строки из стих. Некрасова «Памяти Добролюбова» (1864): «Какой светильник разума угас!»

С. 170. *...изображение бога Виссу...* – Виссу – Возможно, подразумевается Вишну – один из верховных богов в индуизме.

...Вечная Женственность... – Одно из возвышенных наименований героини в мистических стихах Вл. Соловьева и А. Блока.

Осанна! – Молитвенный возглас: Спаси!

С. 171. *Гробы вспарывались неведомым ножом <...> и с шипением и треском прах, вылетавший из них, вставал и одевался плотью.* – Вероятно, навеяно словами из монолога Макбета, которому мерещится призрак убитого им Дункана: «Когда гробницы извергают прочь // Тех, кто зарыт...» (Акт. III, сц. 4; пер. М. Лозинского).

С.171. *...Времени определенно не было.* – Ср. в Откровении Иоанна Богослова: «...времени уже не будет» (10, 6).

...в Город, Танцующий на Болоте. – Имеется в виду С.-Петербург.

С. 172. *...кружился Седьмой вальс Шопена...* – Вальс № 7 До-диез минор (ор. 64 № 2) – самый известный из вальсов польского композитора Фредерика Шопена (1810–1849).

...билась бетховенская «Ода к радости» – См. выше коммент. на с. 102.

...торжествовало со стоном «Боже, храни Королеву!» – Имеется в виду национальный гимн Великобритании.

На престол взошел Иаков I, сын отверженной и убиенной Марии Стюарт... – Яков (Иаков) VI Шотландский, он же Иаков I Английский (1566–1625), сын Марии Стюарт (1542–1587), королевы Шотландии. В 1567 году Мария Стюарт отрелась от шотландского престола в пользу сына. В 1587 году она была казнена. Королем Англии Иаков I был провозглашен в 1603 году.

Надо было учесть разное. ∞ надежную прибавку к жалованью и новый реквизит. – Эти сведения почерпнуты, в частности, из статьи А.А. Аникста «Макбет», представляющей собой обобщенный комментарий.

С. 174. *...сидел его двойник (или он сам?)...* – Ср. заключительные строки стихотворения А. Блока «Двойник» («Однажды в октябрьском тумане...», 1909): «Знаком этот образ печальный, <...> Быть может себя самого // Я встретил на глади зеркальной» (Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20-ти т. Т. 3. С. 10, 589; коммент. С.Ю. Ясенского).

Три женские фигуры ластились друг к другу, одна вся в черном, две нагие – по бокам. – Вероятно, имеются в виду три вещи ведьмы из «Макбета».

Посмеиваясь над поверженным законом, <...> расторопно прорицали о непобедном зле. – Ср. заклинание трех

ведьм: «Зло станет правдой, правда – злом» (Акт I, сц. 1; пер. М. Лозинского); «Зло есть добро, добро есть зло» (пер. Б. Пастернака).

С. 175. *...гиацинтоокие нимфы становятся зеленоглазыми наядами...* – *Нимфы* – В пер. с греч. – «невесты». В греч. мифологии – волшебные существа, обитавшие в горах, лесах, водоемах. *Наяды* – нимфы морей, рек, ручьев, родников. Ср. в стихотворении А. Блока «З. Гиппиус» («Женщина, безумная горячка!..», 1918): «Вам – зеленоглазую наядой // Петь, плескаться у ирландских скал».

Имя замечательного поэта Андрея Облонского... – Подразумевается поэт Александр Блок. В имени и фамилии героя использованы, возможно, имя и фамилия героев Л.Н. Толстого: Андрея Болконского из «Войны и мира» и Стивы Облонского из романа «Анна Каренина».

С. 176. *Полюбите нас черненькими!..* – Выражение, восходящее к Библии, встречается во втором томе «Мертвых душ» Гоголя в сцене беседы Чичикова с генералом: «Нет, *ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит*» (гл. 2; курсив Гоголя). Оно есть также у Достоевского.

С. 177. *...вот описание его встречи с проституткой...* – К примеру, 25 января 1909 г. Блок писал о своей встрече с проституткой: «Третий час ночи. Второй раз. Зовут ее Мартой. У нее две большие каштановые косы, зелено-черные глаза, лицо в оспе, остальное – уродливо, кроме божественного и страстного тела. <...> Моя система – превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует. Всё это так таинственно» (Блок Александр. Записные книжки. М., 1965. С. 129).

...мимолетное увлечение акробаткой. – О встрече с акробаткой Блок записал в дневнике 10 ноября 1911 года; см.: Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 85.

«Нет, еще Польша не погибла». – Первая строка национального гимна Польши.

...сюжета его известной поэмы... – Подразумевается, по-видимому, неоконченная поэма А. Блока «Возмездие».

...связь с Ханной Петражицкой... – Ср. героиню «Романа, написанного от руки» Таню с аналогичной фамилией (см. с. 65 наст. изд.).

С. 179. *Ты – бог и сам того не знаешь...* – Почти дословная цитата из «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери»; ср.: «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь».

С. 180. *...Группы по изданию Полного собрания сочинений и писем Облонского...* – Группа по изданию академического Полного собрания сочинений и писем А. Блока работает в С.-Петербурге в Институте русской литературы (Пушкинский Дом); одним из ее сотрудников в 1982–1996 годах был С.Ю. Ясенский.

С. 182. *Знаменитый профессор, читавший курс лекций о Достоевском, был мал и хрупок, как ребенок.* – Подразумевается профессор Г.А. Бялый (см. о нем выше в коммент. на с. 17).

...перелома, произошедшего с ним на каторге... – После разгрома революционного кружка «петрашевцев», членом которого являлся Достоевский, он провел четыре года (с января 1850 по январь 1854) в Омском остроге, после чего мировоззрение его радикально изменилось.

С. 194. *...Лев Толстой тоже что-то наката.* – Имеется в виду повесть Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886).

С. 195. *...с сочинением, посвященным историко-культурному подтексту поэмы Блока «Ночная фиалка».* – Текстологический, историко-литературный и реальный комментарий к поэме А. Блока «Ночная Фиалка» (1906) для академического собрания сочинений был написан С.Ю. Ясенским; см.: Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20-ти т. М., 1997. Т. 2. С. 581–591. С.Ю. Ясенскому принадлежит также статья «Роль и значение реминисценций и аллюзий в поэме “Ночная Фиалка”» (Александр Блок. Материалы и исследования. Л., 1991. С. 70–78).

...девушка, похожая на Свободу с картины Делакруа... – Имеется в виду картина французского живописца Эжена Делакруа (1798–1863) «Свобода, ведущая народ» (1830).

...разбор творчества Цветаевой... – Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – русская поэтесса.

Ирония и жалость сограждан... – «Ирония и жалость» – так называется статья С.Ю. Ясенского и В.Н. Быстрова о прозе известного современного писателя Владимира Маканина (см. т. 2 наст. изд).

...молодой человек со стебельком орхидеи во рту... – Орхидеи – яркие цветы, являющиеся традиционным эротическим

символом соблазна. Так, один из известных видов орхидей носит название «Венерин башмачок».

Юный русский эмигрант, учившийся в Сорбонне, был человеком, далеким от модных парижских сплетен. Прежде всего он был чужим, затем – голодным, наконец, он был слишком занят собой. – Имеется в виду митрополит Сурожский Антоний (Блюм) (1914–2003). В своем автобиографическом рассказе «Без записок» (1973), впервые опубликованном в «Новом мире» (1991. № 1), он, в частности, вспоминал о годах парижской жизни: «...началось с того, что я пошел на естественный факультет (Сорбонны), потом на медицинский – был очень трудный период, когда надо было выбирать или книгу, или еду; и в этот год я дошел, в общем, до изрядного истощения; я мог пройти какие-нибудь пятьдесят шагов по улице (мне было тогда лет девятнадцать), затем садился на край тротуара, отсиживался, потом шел до следующего угла. Но, в общем, выжил...» (*Митрополит Сурожский Антоний. Человек перед Богом. Изд. 2-е, доп. М., 2001. С. 366*).

С. 199. *...Россия – Гефсиманский сад... – Гефсиманский сад* – Масличный сад к востоку от Иерусалима; почитается как место «моления о чаше» Иисуса Христа перед предательством Иуды и заключением под стражу (см. в Евангелии: Мф. 26, 36–57; Мк. 14, 32–53).

...Сын Человеческий не находил, где преклонить главу. – Восходит к евангельскому тексту: «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20). Ср. заключительные строки в стихотворении А. Блока «Ты отошла, и я в пустыне...» (1907): «Сын Человеческий не знает, // Где приклонить ему главу». Ср. также в статье А. Блока «О лирике» (1907): «...нищий, ничем не прикрытый, не ведающий, где приклонить голову. Этот человек – падший Ангел-Демон – первый лирик» (*Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 131; курсив Блока*).

...Отец жил в полном одиночестве, безвылазно, безропотно, безмолвно. Всё, что случилось с Россией, он понимал как грех, но не чужой, а кровный. ∞ «Не трудитесь стучать. Я дома, но не открою»... – Фрагмент также связан с автобиографическим рассказом о годах жизни в Париже митрополита Сурожского Антония «Без записок». Ср. из воспоминаний об отце, бывшем русском дипломате: «...когда мы оказались в эмигра-

ции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за всё, что случилось в России... <...> И он жил один, в крайнем убожестве, молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатуха наверху высокого дома, и на двери у него была записка: “Не трудитесь стучать: я дома, но не открою”. Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я!.. Нет, не открыл» (*Митрополит Су-рожский Антоний. Человек перед Богом. С. 361*).

С. 201. *Иван Артурович и Антин составляли престранную пару... <...> должно было быть внятно читателю... –* Здесь, вероятно, воспроизведены некоторые автобиографические черты, детали и житейские обстоятельства С.Ю. Ясенского.

...черен настолько, что в этом чудилось что-то пламенное... – Ср. с описанием черного кота Кристофера Марло Энтони в «Романе, написанном от руки».

С. 202. *...как будто это был Блез Паскаль, Кьеркегор или Барух Спиноза. – Блез Паскаль (1623–1662) – французский физик, математик, религиозный мыслитель, философ; Сёрен Кьеркегор (1813–1855) – датский философ и религиозный мыслитель; Бенедикт Спиноза (рожд. Барух Спиноза) (1632–1677) – нидерландский философ.*

Странная вещь, непонятная вещь! – Это восклицание трижды фигурирует в письме Пушкина к П.А. Плетневу от 7 января 1831 года; ср., к примеру: «Пишут мне, что “Борис” <“Борис Годунов” – В.Б.> мой имеет большой успех: Странная вещь, непонятная вещь!». С.Ю. Ясенскому была известна также повесть о Пушкине современного московского писателя Николая Исаева «Странная вещь! Непонятная вещь! Или Александр на островах» (Литературная учеба. 1985. № 5. С. 22–79).

С. 203. *...давно заказанную работу о Достоевском... –* Следует отметить, что С.Ю. Ясенским были написаны статьи «Искусство психологического анализа в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Андреева» (Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 156–187), «О некоторых особенностях литературного и культурологического контекста романа “Преступление и наказание”» (Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15. С. 372–381), «Проблема фантазии в творчестве Ф.М. Достоевского» (см. т. 2 наст. изд.).

С. 207. *Артурыч писал о преступлении, о том, что ему, как правило, предшествует звенящая струною мечта, фантазия, что сосет сердце, как конфетку, своевольная греза...* – Ср. слова следователя Порфирия Петровича Раскольникову в романе Достоевского «Преступление и наказание»: «А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи! <...> Дым, туман, струна звенит в тумане» (Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. Л., 1989. Т. 5. С. 427). Ср. также в «Записках сумасшедшего» Н.В. Гоголя: «...сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане».

...туман сгущался в морозный январский полдень, было марево, туман, знойная ледяная мреть, и Петербург грозил исчезновением, фантазм больной фантазии, выдуманная столица... – Подразумевается так называемое «видение на Неве» героя повести Достоевского «Слабое сердце». См. об этом в статье С.Ю. Ясенского «Проблема фантазии в творчестве Ф.М. Достоевского» (Т. 2 наст. изд.)

...не кот, а кат... – Кат (устар.) – Палач.

С. 208. *...«и так далее», как говорил Хлебников, обрывая чтение своих стихов.* – Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885–1922) – русский поэт и прозаик, один из основоположников русского футуризма. Современники, в частности, В.В. Маяковский, свидетельствовали, что Велимир Хлебников порой, читая свои стихи, обрывал на полуслове и говорил: «Ну и так далее».

С. 208. *От Боба Кеннеди ушла жена. ∞ в память об одной песенке.* – Боб (Роберт) Кеннеди (род. 1920) – американский актер. «Песня про Боба Кеннеди» звучит в советском приключенческом фильме «Последний дюйм» (1958) (муз. Моисея Вайнберга, слова Марка Соболя).

С. 209. *...чтобы дойти с ними до самой сути...* – Ср. в стихотворении Б. Пастернака: «Во всем мне хочется дойти // До самой сути...» (1956).

...(ср. «Евгений Онегин», глава четвертая, строфа XXII)... – Ср. указанную строфу в романе Пушкина:

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?

Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель.
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

Призрака суетный искатель... – Т. е. человек, стремящийся к чему-то эфемерному, недостижимому.

Боб прислушивался к шорохам и скрипам и осязал неясное присутствие чего-то... – Ср. тревожные ночные ощущения лирического героя А. Блока в стихотворении «Я просыпался и всходил...» (1902): «И слушал шорохи и стуки. // И в полночь вздрагивал не раз...».

...крещендо, плавным крещендо... – В музыке – постепенное усиление звучания.

С. 211. *Тройка, семерка, туз* – В повести Пушкина «Пиковая дама» (1833) эти карты, подсказанные старой графиней в видении Германна, должны были принести ему большой выигрыш в карточной игре. Однако вместо туза выпала пиковая дама.

...а Слово было в начале, и Слово было Бог... – Первая строка Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

С. 212. *...но в круге первом, где тоска есть счастье...* – Речь идет о первом круге ада Данте (всего их девять) из его «Божественной комедии». В нем, по представлениям Данте, обитают души тех, кто не смог познать Бога, добродетельные язычники. Наказание для них – скорбь без боли. Ср. в записной книжке А. Блока (май 1906): «В первом круге Дантова ада нет боли, а только *тоска*. И это считается “милостью неба”. А мы ищем боли, чтобы избежать тоски. Да еще тоска у Данта светлая, “воздух тих и нем” – что ужаснее для нас?» (*Блок Александр*. Записные книжки. М., 1965. С. 75).

А вечно беременная Лизавета, маляр Миколка, а суд присяжных, а пожар, на котором Родя спас ребенка... – Персонажи и эпизоды романа Достоевского «Преступление и наказание». Лизавета Ивановна, сестра старухи-процентщицы, убитая

Раскольниковым, была беременна. Старообрядец Миколка взял на себя вину за убийство процентщицы Алены Ивановны. На суде присяжных, о котором повествуется в Эпиллоге, свидетели подтверждали, что Родион Раскольников «во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей...».

Но – мимо, мимо об этом! – Ср. в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» в одном из авторских размышлений: «Но мимо, мимо! зачем говорить об этом?» (Глава третья).

...черномазая садомазорожа... – Неологизм, значение которого вытекает, вероятно, из слов «садист», «мазохист» и «рожа».

Ведь нет преступления, которого я бы не совершил... – Ср. в «Исповеди» (1879–1882) Л.Н. Толстого о годах молодости: «Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили...».

...втисался и в контекст, и в интертекстуальность... – *Контекст* – (от лат. contextus – соединение, связь) – в литературе в широком значении – смысловое пространство какого-либо текста. *Интертекстуальность* – диалог, взаимосвязь между различными текстами.

...вспомнить о Сольвейг! ∞ он катался с ней на лыжах... – *Сольвейг* – в пер. с норвежского «Солнечная дорожка». Героиня драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1866). Ср. стихотворения А. Блока, навеянные этой драмой Г. Ибсена: «Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!...» (1906), «Сольвейг» («Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне...» (1906), с эпиграфом из III действия «Пер Гюнта»: «Сольвейг прибегает на лыжах».

С. 214. *...не только полонез, в котором Новая Польша выходит в круговерть истории, ∞ и распахнуть всего лишь... вечность.* – Возможно, подразумевается фильм польского кинорежиссера Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (1958).

...за разгадку Сфинкса... – *Сфинкс* – мифическое существо с головой женщины, телом льва и крыльями орла. Известно загадкой, которую оно загадало царю Эдипу: «Кто имеет четыре ноги утром, две днем, три вечером...». Ответ: человек. Ср. в стихотворении А. Блока «Скифы» (1918): «Остановись,

премудрый, как Эдип, // Пред Сфинксом с древнею загадкой! // Россия – Сфинкс».

...аще зерно падши в землю не умрет, то едино пребудет... – Ср. в Евангелии: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно» (Ин. 12, 24).

...у Бога шутов много... – Возможный парафраз русской поговорки: «У Бога всего много».

...в каждой игрушке своя погремушка... – Ср. с русской пословицей: «В каждой избушке свои погремушки».

...и подношения превращались в Дары, ∞ таким простым и явственным было Противоядие... – Подразумеваются, видимо, деяния и учение Христа, явленные в Евангелии.

...не мог без аллюзий и реминисценций... – Аллюзия – элемент текста, указывающий на связь с другими текстами, намек на что-либо или кого-либо. *Реминисценция* (от лат. *reminiscentia*) – «воспоминание», «припоминание»; элемент текста, наводящий на припоминание других, близких по смыслу, текстов. Нередко реминисценции в художественных произведениях – результат сознательного или невольного заимствования автором чужих образов, мотивов, выражений и т.д.

...чем кончил гражданин кантона Ури... – Ури – один из кантонов в центральной части Швейцарии, который был знаком Достоевскому. Под «гражданином кантона» подразумевается герой романа Достоевского «Бесы» Николай Ставрогин, который покончил с собой. Ср. в его предсмертном письме к Дарье Павловне: «Прошлого года я, как Герцен, записался в гражданине кантона Ури...» (Часть третья. Глава восьмая; *Достоевский Ф.М. Собр. соч.*: В 15-ти т. Л., 1990. Т. 7. С. 628). Ср. также о смерти Ставрогина: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: “Никого не винить, я сам”» (Там же. С. 631–632). Ср. также о смерти «гражданина кантона Ури» в рецензии Блока на «Собрание стихотворений» Л. Семенова: «Его настигло самоубийство – марево, мнимая смерть» (*Блок Александр. Собр. соч.*: В 8 т. Т. 5. С. 590).

...трихины культуры роятся без царя... – Ср. в Эпilogue романа Достоевского «Преступление и наказание»: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи,

одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» (*Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти т. Т. 5. С. 516*).

«Мы не можем не играть – то в жалость, то в покаяние, и делаем это хотя и слегка засаленными картами, но исступленно», – читал он в книге из начала века... – Извлечено из статьи Иннокентия Анненского «Юмор Лермонтова» («Вторая книга отражений»), в которой он, в частности, писал о жизни: «...мы то и дело должны играть с нею или в Покаяние, или в Жалость. И надо отдать нам справедливость, хотя мы и делаем это иногда несколько засаленными картами, но исступленно».

Здесь нет системы Станиславского... – Система Станиславского – теория сценического искусства и методов актерской игры, разработанная русским режиссером, актером, театрологом театра Константином Сергеевичем Станиславским (1863–1938) в период с 1900 по 1910 гг. При создании на сцене живых, подлинных, достоверных образов она предполагала творчество по законам «искусства переживания».

...здесь кончается искусство... – Реминисценция из стихотворения Бориса Пастернака (1890–1960) «О, знал бы я, что так бывает...» (1932); ср.: «Когда строку диктует чувство, // Оно на сцену шлет раба. // И тут кончается искусство, // И дышат почва и судьба».

*...и загорается тот неяркий, пурпурово-серый... – Реминисценция из стихотворения А. Блока «К Музе» («Есть в напевах твоих сокровенных...», 1912); ср.: «И когда ты смеешься над верой, // Над тобой загорается вдруг // Тот неяркий, пурпурово-серый // И когда-то мной виденный круг». Комментарии к этому тексту были написаны С.Ю. Ясенским (*Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20-ти т. Т. 3. С. 585–586*).*

С. 216. *...призрак Дориана Грея... – Имеется в виду герой романа ирландского прозаика и поэта Оскара Уайльда (1854–1900) «Портрет Дориана Грея» (1890). Сюжет романа основан на мотиве сделки с дьяволом героя, жаждавшего наслаждений и превратившегося в преступника.*

Но, словно Заратустра, Ильин повторял: «Братья! Разве я жесток? ∞ мужество с орлиными крыльями и мудростью змеи»... – Заратустра – проповедник, герой книги немецкого философа Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Ср.

из поучений Заратустры: «О братья мои, разве жесток я? Но я говорю так: падающее – подтолкни!» («О старых и новых скрижалях»); «Мужество, ставшее наконец тонким, духовным, одухотворенным, человеческое мужество с орлиными крыльями и змеиною мудростью, это мужество, думается мне, зовется теперь...

– Заратустрой! – вскричали все собравшиеся в один голос...» («О науке»).

...шумит проспект, великий и единственный... –

Речь идет о Невском проспекте в С.-Петербурге.

...дело было в баньке, без науков... – Аллюзия на сниженный образ вечности в романе Достоевского «Преступление и наказание», выраженный Свидригайловым; ср.: «– Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (Ч. IV, гл. 1; *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 15-ти т. Т. 5. С. 272). Этот же образ возникает в статье А. Блока «Безвременье» (см.: *Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 67).

В.Н. Быстров

**О Серёге Ясенском,
моем университетском
и пушкинодомском «подельнике»**

Мне повезло. Мои товарищем в течение двадцати лет моей питерской жизни был Сергей Ясенский, один из интереснейших петербургских прозаиков 1980 – 1990-х годов.¹

Впервые я встретил его осенью 1974 года на русском отделении филфака ЛГУ (нынешний Санкт-Петербургский государственный университет), куда мы поступили одновременно. Помню, была встреча-знакомство новоиспеченных студентов с кафедрой русской литературы. И какой-то долговязый парень, представляясь преподавателям и студентам, сидевшим за скромными столами с бутербродами и пирожными, сказал, что поступил неожиданно легко, написав сочинение на «отлично» (С.Я. окончил школу с золотой медалью). А потом месяц, как он выразился, «болтался по городу».

Это было «его слово». Он вообще ощущал себя бродягой, «гулякой праздным», хотя умел и сосредоточенно, запоём работать.

В семидесятые годы каждый второй студент мечтал стать писателем. Что же говорить о филфаковцах, да еще русистах? На нашем курсе быстро сложилась компания «маракующих»: Валерий Котов, Людмила Ильюнина, Ольга Николаева, Светлана Гаврилина, и, конечно же, С.Я. Помню, они как-то составили машинописный журнал, в который я дал статью с критикой их продукции. Статья называлась «Степень художественности», а эпитафия был взят из «Поэтического искусства» Н.Буало и гласил:

Не станет никогда поэтом стихоплет!

И статья, и эпитафия больше соответствовали, однако, присущему возрасту рецензента максимализму, чем качеству писаний. Все было как положено: какие-то «мытари» и «страдальцы», масса подражательности обеим страстно почитаемым и почти не-

¹ См. о нем: Литературный Санкт-Петербург. XX век. Прозаики, поэты, драматурги, переводчики. Энциклопедический словарь: В 2 т. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. С. 598-600.

печатаемым в то время поэтическим «кумиркам», но для первого-второго курса вполне сносно. Не помню даже, было ли что в этом журнале, коего и вышел, кажется, только один номер, самого С.Я. Но так или иначе, сам он всегда что-то писал, и определенное «лицейское братство», конечно, с поправкой на время, у нас существовало.

В «универе» было интересно. Мы еще застали в живых мифических теперь и вымерших вскоре после нас «зубров»: Мануйлова, Дмитрия Максимова, Ямпольского, Бялого, Холшевникова, Макогоненко. Читали запоем и, когда не хватало филфаковской читалки, отправлялись в «Публичку» на Краснопутиловской, где сидели до упора.

Сергея всегда очень зависел от своего настроения. Помню, однажды я спросил его, как он позанимался (накануне «Серж») собиравшись нагрянуть в Публичку). И он ответил:

– Не пошло!..

Годы летели, как станции в окне скорого поезда. Время было благословенное. Чашка кофе в университетских кофейнях стоила семь копеек, а потом «подорожала» до 13. Бутылка шампанского в мороженице обходилась в пятерку. Город был наш. Свободное время и деньги мы оставляли в дешевых общественных местах, из которых излюбленными у нас были мороженица возле Академии художеств, описанный С.Я. в «Классической музыке из оперетт» «Сфинкс» и кофейня на Зверинской.

Жили мы общими для всех нормальных людей в то время увлечениями. Гастроли Таганки, Гамлет-Высоцкий, «Зеркало» Тарковского, барды. Случайно С.Я. и В.Котов познакомились на улице (тогда такое было возможно) с балетной звездой тогдашнего Большого Владимиром Васильевым и потом сподобились попасть на все его гастрольные балеты в Питере. В течение нескольких лет мы ездили в располагавшийся в ДК Кирова, что на Васильевском острове, «Кинематограф» на циклы Феллини, Антониони, Бергмана. Тогда их фильмы едва ли не во всем Питере только там и можно было посмотреть. Так, «Три шага в бреду» я смотрел, сидя по соседству с М.Боярским.

Сергея никогда не отличался особой организованностью, зато симпатию к себе вызывал у многих. Помню, он написал отличный «диплом» о «Леониде Андрееве и Достоевском», кото-

рый, однако, не успевал переписать к защите начисто, и ему помогали в этом несколько его сокурсниц.

После университета мы вместе попали в заочную аспирантуру ИРЛИ (Института русской литературы, больше известного под названием «Пушкинский Дом»). Оба были «приезжими». После пяти лет в Питере даже мысль о возвращении в его Красноярск или мой Волгоград была нестерпима. Заветной ленинградской прописки ни у него, ни у меня не было, и мы старались удержаться в городе, как могли. Мне повезло больше, я занимался классикой. В Пушкинскую группу ИРЛИ как раз понадобился секретарь, и меня взяли на работу в «Тихое Убежище», как прозрачно зашифровал «ПушДом» Константин Вагинов в своей «Козлиной песни». С.Я. же пришлось отрубить несколько лет, пытаясь втолковать что-то из русской словесности пэтэушникам.

Когда необучаемость последних приняла окончательно пронзительные формы, он ушел и одно лето работал билетером на пристани экскурсионных трамвайчиков на Мойке. Я часто подваливал туда после работы. В котлетной бывшего «Дома искусств» можно было за рубль заправиться на всю катушку, а дальше: «Гуляй, рванина!». Наконец, билетерство для него кончилось, и он вслед за мной обрел службу по адресу последнего блоковского стихотворения.

С.Я. и работал там как раз в Блоковской группе, где «по долгу службы», но также и вполне по зову души занимался подготовкой текстов и комментариев к новому академическому изданию «Полного собрания сочинений» А.А.Блока. Блок, Леонид Андреев и Достоевский всегда оставались главными актерами в его литературоведческой труппе, а Пушкин, почти не играя сам, каким-то образом все время участвовал в режиссуре.

Долгое время С.Я. почти не печатался, продолжая писать новые и переписывая старые вещи. Когда вместе с «ПерестрЕЛкой» на Питер накатила волна книгопечатной лихорадки, вместе с поэтом и историком Сергеем Носовым (не путать с автором романа об «улетевших грачах») в одном из только что возникших кооперативных фантомов он попытался издать *на свои* небольшую книжку, в которую вошли несколько его рассказов. К несчастью, пока дело тянулось, цены на все так выросли, что коопера-

тив потребовал от них доплатить, а у них натурально не было чем. В результате весь тираж так и остался на складе.²

Первые публикации Сергея Ясенского оказались, таким образом, одновременно публикациями самых крупных и главных его вещей, которые он писал много лет. Появились они, однако, уже незадолго до его смерти. В тесно связанном с Пушкинским Домом петербургском литературно-критическом «Новом журнале» – тогда самом новом из всех новых журналов – появились его «Классическая музыка из оперетт» (1994. № 2) и «Роман, написанный от руки» (1995. № 2). Вместе с вышедшей позднее в том же журнале «Репетицией» (1996. № 1) эти вещи составили своеобразную трилогию. Сюжетной связи между произведениями никакой нет, но в них действует ряд сквозных персонажей, а за разноименными главными героями угадывается единый автобиографический образ.

«Классическая музыка из оперетт» интересна не только в художественном отношении, но и как ряд зарисовок из жизни академической интеллигенции 1970-1980-х годов. Она имеет ярко выраженный автобиографический характер: в символической форме в ней отображены годы учебы С.Я. в аспирантуре ПушДома. В образе академика Волина без труда угадываются некоторые черты академика А.М. Панченко³. Разумеется, между Волиным и Панченко, как между всяким образом и прототипом, имеются существенные различия, с учетом которых и следует воспринимать этот яркий и своеобразный печатный дебют Сергея Ясенского-писателя.

«Роман, написанный от руки» – произведение уже вполне «романное». Написанный в довольно прозрачной классической манере (и в самом деле от руки), он незамысловато сочетает два разных плана изображения: современный, в котором героиня, «новая русская», изображена в окружении других шести героев, представляющих университетскую, театральную и криминально-деловую среду, и средневековый, в центре которого дружба драматурга Кристофера Марло с Шекспиром. Роман этот отличается

² Носов С., Ясенский С. Кресты. Л., 1991.

³ См.: Ясенский С. Классическая музыка из оперетт (Этюд времен перестройки).

Фрагмент // А.М.Панченко и русская культура. Исследования и материалы. Отв. ред. С.А.Кибальник, А.А.Панченко. СПб., 2008. С. 402–408.

роскошной метафорикой и мощной культурологической разработкой на современном материале проблематики Достоевского и русских модернистов.

В то же время он автобиографичен и в известной мере служит прологом к самоубийству писателя, составляя вместе с его кровавой ванной своего рода художественно-жизнестроительное единство. При внимательном чтении это можно разглядеть уже на первой странице: «Судьба исполнилась, оглобли развернули. Он умер. Она разбогатела. Россия вышла из берегов и не вернулась в них».

Последняя часть трилогии – «Репетиция» – состоит из серии новелл: «Видение на Неве», «Иван Ильин», «Репетиция», «Подлинная история Ивана Ильича Пани», «Париж», «Хрупкий рассказ», «На несколько сантиметров ближе к Богу...». Так, например, в рожденной филфаковско-пушкинодомской грезой новелле «Подлинная история Ивана Ильича Пани» переосмысливается и переоценивается художественный опыт Серебряного века. Позаимствовав сюжет из устного университетского фольклора, автор сумел извлечь настоящую поэзию из лежавшего кучкой у всех нас под ногами культурологического сора и ярко изобразить своих героев на фоне строгих академических нравов советских времен.

Сплетенная одним монологом с неопубликованной при жизни С.Я. пьесой «Оркестровая яма», «Подлинная история...» открывает свой смысл через эту связь по касательной с рассказом одного из героев пьесы Джана о студенте, написавшем произведение за исследуемого автора, от которого ничего не сохранилось: «...натура-то творческая – взял и написал за него произведение сам, вроде от его имени. И сначала даже имел большой успех. Затем, однако, вышла неприятность, облом. Вскрылась эта история, дали ему по шапке. В общем диплома он не получил. А я вот думаю: почему? Все признают: литературные достоинства налицо. Более того, написал-то он в стиле эпохи, так это ещё и какое мастерство надо иметь. Нет, говорят, подлог. Чтобы близко к Университету не подходил. Не понимаю я что-то. Или это музей, в котором ничего нельзя трогать, или уж можно сделать что-то по-своему, своим умишком потряхнуть?». Однако в новелле этот сюжет получает мистическое претворение, вырастающее из сакраментальной воландовской ремарки.

Работу над пьесой «Оркестровая яма» С.Я. начал еще с университетских времен вместе со своим филфаковским другом, по-этом Валерием Котовым. Окончательный вариант скорее всего имеет немного общего с первоначальным замыслом, так что имя соавтора, который после окончания университета жил на Севере и редко показывался в Питере, оставлено скорее как дань памяти стародавнему замыслу. В этой последней редакции пьеса имеет столь явно автобиографический характер, что ее по праву можно рассматривать как пьесу-пролог к собственному добровольному уходу С.Я. из жизни.

Главный герой ее, профессор и хозяин усадьбы «Оркестровая яма», написал книгу об Эдгаре По, а его литературный секретарь Иван Ильин (один из сквозных героев творчества Ясенского) ее редактирует. Пьеса представляет собой спор-размышление о судьбе Эдгара По, а, в сущности, об особом типе художника, который живет «на черте» и сгорает в пламени творчества. В то же время это, очевидно, и размышление автора о собственной судьбе.

Объясняя свой интерес к Эдгару По, Иван Ильин говорит: «Мне нужно сочинить образ художника, которого мучили демоны, или инстинкты, или дурная наследственность, или просто несложившиеся обстоятельства – художника, создавшего особый творческий мир по законам отчаяния и игры. <...> Мне необходимо зеркало, чтобы увидеть собственную ситуацию, свое одиночество <...> Может быть, то, что я хочу сделать из жизни и творчества По, – это лишь попытка овладеть некоторыми чертами его личности, чтобы самому обладать ими или напротив – отделаться от них навсегда». В пьесе есть и другие «двойники» автора. Это, конечно же, также сквозной для творчества писателя Джан, только упоминаемый в пьесе переселенец из «Романа, написанного от руки» Лебяжьев и в конечном итоге сам Эдгар По. Из текста пьесы явствует, что С.Я. верил в расхожую легенду о том, что По «очутился в Петербурге, слоняясь по кабакам и живя как бродяга и нищий», и это, по-видимому, стало одной из причин его обращения к личности американского романтика.

Близкие к авторскому взгляду парадигмы истолкования судьбы Эдгара По, прозрачно проецируемые и на самого С.Я., представлены в «Оркестровой яме» Мариной: «ускользнул от своего меркантильного времени», «слишком близко знал зло и

пытался преодолеть это в пьянстве и творчестве», «выстроил свой замок, объявил костюмированный праздник, сам надел маску и скрылся среди гостей. Самое странное, что, возможно, он полагал, что исполняет волю Провидения». Реплики других персонажей вносят иные мотивировки, которые, впрочем, как обычно в большой литературе, успешно уживаются с выше приведенными. Такова, например, версия судьбы По, предложенная Актером: «... зарабатывал деньги. Платили плохо. Он страдал, пил, чем беднее становился, тем пил больше и злее. Всегда так бывает. Несчастный человек, замученный неудачами. Вдобавок плохое здоровье и беда в семье. Всё».

По принципу дополнительности, а не отмены сказанного примыкают ко всему и ремарки Ильина: «был патологической личностью и алкоголиком», «он был болен. <...> он был не такой, как все, вне нормы, вне границ и за пределами. Художник, одержимый маниями величия и преследования». На протяжении пьесы, проникнутой мистической атмосферой и отмеченной чертами филологической прозы, в усадьбе «Оркестровая яма», герои которой ведут оживленные дискуссии о личности Эдгара По, то и дело проходят тени его героев, промелькивают образы его произведений. С темой трагической судьбы Эдгара По перекликаются в пьесе истории актера Никольского и художника-эмигранта, смертельно влюбленного в свою жену Марину, в которых без труда угадываются некоторые контуры судьбы Олега Даля и Владимира Высоцкого.⁴

Для самого С.Я. пьеса была отчасти, как это всегда бывает в творчестве настоящего писателя, скрытой исповедью и оказалась его своего рода завещанием. В рукописи указана дата «16 февраля 1996 года». После окончания работы над пьесой он прожил всего лишь несколько месяцев, не дожив пары лет, как и по-

⁴ Впервые: *Котов В., Ясенский С.* Оркестровая яма. Представление в 2-х действиях. Предисловие и публикация С.А.Кибальника // Эдгар Аллан По. Новые материалы и исследования. Ред.-сост. В.И.Чердниченко. Краснодар, 2011.С. 221 – 259.

лагалось раньше художнику, до одиозного в романтическом понимании сороковника.⁵

Самоубийство С.Я., безусловно, было связано с трудностью выживания гуманитария в те нелегкие годы. Он был и остался настоящим «семидесяхнутым» и в эпоху нагрывших «девяностососов» вполне закономерно, как и многие из нас, выпал из седла. Заработать не удавалось, семья распалась – ее место заступила душевная болезнь. Он несколько раз ложился в клиники, ведя там существование, наверное, напоминавшее ему жизнь обитателей «палаты № 6».

Впрочем, про́пасть и без того всегда влекла его к себе. Думаю, то, что С.Я. попал в Русско-Высоцкое – дальний пригород Питера, в котором он вместе с женой Викой, переводчицей с английского, и сыном Александром проживал с конца 1980-х годов – сам он также воспринял, как перст судьбы. И считал, что должен сгореть, как многие кумиры нашей молодости. С.Я. и стал одним из последних писателей, которые замкнули собой предыдущую большую эпоху. Он расстался с жизнью на Пасху – как собирался умереть Кристофер Марло из его «Романа...».

В одном из своих последних звонков в редакцию «Нового журнала» в ответ на пожелание сократить «Репетицию», исключив из нее несколько рассказов, он решительно отказался в ультимативной форме: «Или все, или ничего!». Он до конца и в поведении, и в творчестве так и остался максималистом. А, впрочем, остается ли место для чего-то иного там, где поселились болезнь и одиночество?..

Глубоко переживавшему отсутствие хоть какого-то резонанса его творчества и разочаровавшемуся во всем остальном, ему, вероятно, виделась одна надежда – на то, что финальная точка в его жизни как-то привлечет внимание к его творчеству. Кто знает, быть может, оно, конечно, еще прозвучит, причем так, как не могло бы прозвучать без этого внетекстового дополнения. Однако скорее оно прозвучало бы мощнее, если бы у С.Я. хватило сил на то, чтобы жить и писать дальше. Так что уроками этой

⁵ Некролог С.Я. был опубликован в петербургском «Новом журнале». См.: *Носов С.Н.* «Единственное, что всегда владело мной безраздельно, была фантазия» // *Новый журнал.* 1996. № 4. С. 56.

непоправимой утраты и этого художественно-жизнестроительного эксперимента должно, наверное, стать и окончательное осознание опасности того отравленного хлеба, которым обитатели наиболее темных углов декадентского подполья питались сами и которым они кормят своих читателей...

С.А.Кибальник

СОДЕРЖАНИЕ

В.Н. Быстров. Между фантазией и трагедией (О Сергее Ясенском и его прозе)	3
Классическая музыка из оперетт (Этюд времен перестройки)	17
Роман, написанный от руки	65
Жесткий рассвет	65
Прохожий и прихожанин	70
«Плохое квартто»	73
Бедлам и Вифлеем	78
Буря	82
Нерв и чрево	90
Никогда не разговаривайте с неизвестными	92
Встреча, которой не было	99
Будьте дружелюбны с незнакомцами	102
Двойник	107
Все люди равны	110
Человек, которого звали просто Каприз	116
Никто никому не равен	119
Счастливые усилия любви	123
Дальнобойщик Коля	125
Убийство Полония	130

Смерть сталкера	132
Старый отец Джон	136
Театр для себя	138
Дверь открывается	141
Репетиция	148
Из журнала Энтони Талмэна	
От автора	148
От издателя	149
Видение на Неве	151
Иван Ильин	155
Репетиция	169
Подлинная история Ивана Ильича Пани	176
Хрупкий рассказ	208
На несколько сантиметров ближе к Богу	211
Комментарии	220
С.А. Кибальник. О Серёге Ясенском, моем университетском и пушкинодомском «подельнике»	251

Сергей Юрьевич ЯСЕНСКИЙ
ИЗБРАННОЕ

Составитель: Аверин Борис Валентинович

Вступительная статья, комментарии: Вячеслав Николаевич Быстров

Послесловие: Сергей Акимович Кибальник

Корректор Муратова Ангелина

Верстальщик Барболина М. А.

Дизайн обложки Данилова Е. Г.

Подписано в печать 14.12.2012. Сдано в печать 18.12.2012.

Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman.

Усл.печ. л. 16,3. Тираж 1000 экз. Зак. 177.

ООО Издательский дом «Петрополис»
197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16,
офис-центр 1, 2 эт., пом. 22, тел.: 336-50-34.

E-mail: info@petropolis-ph.ru

www.petropolis-ph.ru

Отпечатано в типографии «Град Петров»

ООО ИД «Петрополис»
197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16.



ПЕТРОПОЛИС
издательский дом